Михаил

ЗОЩЕНКО

Огни большого города



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Огни большого города
Михаил Михайлович Зощенко

Аннотация
Михаил Зощенко. Огни большого города
Сентиментальные повести
- Аполлон и Тамара
- Люди
- Страшная ночь
- О чем пел соловей
- Веселое приключение
- Сирень цветет
- Мудрость
- Коза

Рассказы и фельетоны
- Огни большого города
- Загадочное происшествие
- Сердца трех
- Вынужденная посадка
- Электрификация
- Об овощах и прочем
- Веселые вечера
- Легкая наука
- Герои
- Крепкая женщина

Маломыслящие
Неприятная психология
Спичка
Самодеятели
Бедный Тыркин
№ 1028
Скверный анекдот (Марью-то Петровну)
Скверный анекдот (Дело такое)
Гибель строителей
Юбилей
Дорвались
Химики
Птичье молоко
Дефективные люди
Тараканы
О вреде грамотности
Белиберда
Насчет этики
Кузнеца обидели
Еще касаемо того же!
Опасная пьеска
Комики
Сельская идиллия
Что за шум, а драки нету?
Дамские штучки
Герой

Практикант
Товарищ Гоголь
Дешевая распродажа
Редкий случай
Волокита
Игрушка
Каторга
Непредвиденное обстоятельство
Скупой рыцарь
Поэт и лошадь
Старая история
Подождем, над нами не каплет
Неприятность
Красота!
Пора вставать
Тяга к чтению
Непорядки на земном шаре
Пустое дело
Клад
Не забавно
Все в порядке
Не дают развернуться
Бессонница
Лошадиная история
Дни нашей жизни
Один день

На заводе. (Из записной книжки)
Лошадиное средство
Артисты приехали
Об уважении к людям
Порицание Крыму
Сказка жизни
Горе от ума
Много шума из ничего
Прощай, карьера
Еще о борьбе с шумом
Творчество и действительность
Нетактично поступили
В пушкинские дни
Дома и люди
Федот, да не тот
Бедный дядя
Была без радости любовь
О вывесках
Клинический случай
Новые времена
С Новым годом
Ночное происшествие
Опасный поворот
Однажды ночью
Хороший день
Внимание – люди!

Аннотация

Михаил Зощенко – русский и советский классик, мастер тонкой иронии и проникновенной сатиры. В книге «Огни большого города» центральное место занимают «Сентиментальные повести», в которых автор, с присущим ему лукавым юмором и легкой меланхолией, исследует человеческие характеры и высмеивает пороки общества.

Дополняют сборник рассказы и фельетоны, созданные в первые десятилетия существования Советского Союза. В них находит отражение сумбурность городской жизни в молодом государстве, бытовые трудности и неурядицы, с которыми сталкиваются обычные люди.

Михаил Зощенко
Огни большого города

© Зощенко М.М., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Сентиментальные повести

Аполлон и Тамара

1

Жил в одном городе на Большой Проломной улице свободный художник — тапер Аполлон Семенович, по фамилии Перепенчук.

Фамилия эта — Перепенчук — встречается в России не часто, так что читатели могут даже подумать, что речь сейчас идет о Федоре Перепенчуке, о фельдшере из городского приемного покоя, тем более что оба они жили в одно время и на одной и той же улице, и по характеру не то чтобы были схожи, но в некотором скептическом отношении к жизни и в образе своих мыслей ихние характеры как-то перекликались.

Но только фельдшер Федор Перепенчук помер значительно пораньше, да и, вернее, не сам помер, не своей то есть смертью, а он удавился. И случилось это незадолго до IV конгресса.

Об этом газеты своевременно трубили: покончил, дескать, с собой, при исполнении служебного долга, фельдшер из городского приемного покоя, Федор Перепенчук, причина — разочарование в жизни…

Этакую, правда, нелепость могут досужие репортеришки написать. Разочарование в жизни… Федор Перепенчук и разочарование в жизни… Ах, какие это пустяки. Какая несусветная околесица!

Это правда: поверхностно размышляя, точно, жил, жил человек, задумывался о бессмысленном человеческом существовании и руки на себя наложил. Точно, на первый взгляд — разочарование. Но тот, кто поближе знал Федора Перепенчука, не сказал бы таких пустяков.

Это к Аполлону Перепенчуку, таперу и музыканту, могло бы подойти это слово — разочарование. Жил потому что человек, бездумно наслаждался прелестью своего бытия, а после, от причин исключительно материальных и физических, и от всяких катастроф и коллизий, — ослаб и к жизни, так сказать, потерял вкус. Но не будем забегать вперед, о нем, об Аполлоне Перепенчуке и будет наше повествование.

А вот Федор Перепенчук… Вся сила его личности была в том, что не от бедности, не от катастроф и коллизий он пришел к своим мыслям, нет, мысли его родились путем зрелого, логического размышления значительного человека. О нем не только что рассказ написать, о нем целые тома сочинений написать можно было бы. Но

только не каждый писатель взялся бы исполнить труд этот. Не каждый бы мог быть биографом и, так сказать, жизнеописателем дел и мыслей этого выдающегося человека. Тут потребовался бы сочинитель величайшего ума и огромной эрудиции, а также и знание мельчайших вещей и вещичек — и о происхождении человека, и о зарождении вселенной, и всякие философские воззрения, теория относительности и другие там разные теории, и где какая звезда расположена, и даже хронология исторических событий — все это потребовалось бы для изучения личности Федора Перепенчука.

И в этом отношении Аполлону Перепенчуку ни в какой мере с ним не сравняться.

Аполлон Перепенчук был, прямо-таки, перед ним пустяковый человек, дрянцо даже… Не в обиду будет сказано его родственникам. А, впрочем, родственников по прямой линии у него и не осталось, разве что тетка его по отцу, Аделаида Перепенчук. Ну, да и та в изящной словесности, пожалуй, что ничего не понимает. Пущай обижается.

Приятелей у него тоже не осталось. Да у таких людей, как Федор и Аполлон Перепенчуки, и не могло быть приятелей. У Федора никогда не было,

а Аполлон растерял их, как впал в нищету.

И какой это мог быть приятель у Федора Перепенчука, ежели людей он не любил, презирал, вернее, образ своей жизни вел замкнутый, строгий даже, и с людьми если и разговаривал, то для того, чтобы механически высказать накопившиеся воззрения, а не затем, чтобы услышать возгласы одобрения и критику.

Да и кто, какой человек величайшего ума смог бы ответить на его гордые мысли:

— Для чего существует человек? Есть ли в жизни у него назначение, и если нет, то не является ли жизнь, вообще говоря, отчасти бессмысленной?

Конечно, какой-нибудь приват-доцент или профессор на государственном золотом обеспечении сказал бы с неприятной легкостью, что человек существует для дальнейшей культуры и для счастья вселенной. Но все это туманно и неясно, и для простого человека даже омерзительно. И тогда и всплывают разные удивительные вещи: для чего, скажем, существует жук или кукушка, которые явно никому никакой пользы не приносят, а тем более для дальнейшей культуры, и в какой мере жизнь человека важнее жизни кукушки, птицы, которая могла бы и не жить, и

мир от этого бы не изменился.

Но тут нужно гениальное перо и огромные знания, чтобы хоть отчасти отразить величественные замыслы Федора Перепенчука.

И, может, и не следовало бы тревожить тень замечательного человека, если б в свое время отчасти не дошел бы до этих мыслей ученик по духу и дальний его родственник — Аполлон Семенович Перепенчук, тапер, музыкант и свободный художник, проживавший на Большой Проломной улице.

Он проживал на этой улице за несколько лет до войны и революции.

2

Слово это — тапер — ничуть для человека не унизительно. Правда, некоторые люди, и в том числе сам Аполлон Семенович Перепенчук, до некоторой степени стеснялись произносить это слово на людях, а в особенности в дамском обществе, превратно полагая, что дамы от этого конфузятся. И если Аполлон Семенович и называл себя тапером, то непременно с прибавлением — артист, свободный художник, или еще как-нибудь по-иному.

Но это несправедливо.

Тапер — это значит музыкант, пианист, но пианист, стесненный в материальных обстоятельствах и вынужденный оттого искусством своим забавлять веселящихся людей.

Профессия эта не столь ценна, как, скажем, театр или живопись, однако и это есть подлинное искусство.

Конечно, существует в этой профессии множество слепых старичков и глухонемых старушек, которые снижают искусство это до обыкновенного ремесла, бессмысленно ударяя по клавишам пальцами, наигрывая разные там польки, полечки и мажоры.

Но под этот разряд ни в какой мере нельзя было отнести Аполлона Семеновича Перепенчука. Истинное призвание, темперамент артиста, лиризм и вдохновение его — все шло вразрез с обычным пониманием ремесла тапера.

Был при этом Аполлон Семенович Перепенчук в достаточной мере красив и даже изыскан. От лица его веяло вдохновением и необыкновенным благородством. И всегда гордо закушенная нижняя губа и надменный профиль артиста — делали фигуру его похожей на изваяние.

Даже кадык, простой, обыкновенный кадык или, как он еще иначе называется — адамово яб-

локо, то, что у других людей было омерзительно и вызывало насмешки, у него, у Аполлона Перепенчука, при постоянно гордо закинутой голове — выглядело благородно и даже напоминало что-то греческое.

А ниспадающие волосы! А бархатная блуза! А темно-зеленый до пояса галстук! Собственно говоря, необыкновеннейшей красотой наделен был человек.

А те моменты, когда он появлялся на балу своей стремительной походкой и статуей замирал в дверях, как бы окидывая все общество надменным взглядом… Да, неотразимейший был человек. Не одна женщина лила по нем обильные слезы. А как сердито сторонились его мужчины! Как прятали от него жен под предлогом, что неловко, дескать, жене государственного, скажем, чиновника трепаться с каким-то таперишкой.

А то незабываемое событие, когда старший делопроизводитель Казенной палаты получил анонимное письмо с объяснением, что жена его состоит в нежных отношениях и в предосудительной связи с Аполлоном Перепенчуком!.. Та уморительная сцена, когда делопроизводитель этот два часа караулил на улице Аполлона Семеновича, чтобы помять ему бока, и по ошибке,

введенный в заблуждение длинными волосами, избил секретаря городской управы…

Ах, смешные были дела! И что всего смешнее, что все скандалы, записочки и дамские слезы не имели под собой никакой почвы. Имея счастливую внешность ловеласа, романтика и разорителя чужих семей, Аполлон Семенович Перепенчук был, напротив того, необыкновенно робкий и тихий человек.

Он даже чуждался женщин, сторонился их, считая, что настоящий, истинный артист не должен связывать ничем своей жизни…

Правда, женщины писали ему записки и письма, где назначали ему тайные свидания и называли его ласкательными и уменьшительными именами, но он был непоколебим.

Записочки и письма он бережно хранил в шкатулке, в свободное время разбирая их, нумеруя и связывая по пачкам. Но жил уединенно и даже замкнуто. И всем знакомым своим при случае любил сказать:

— Искусство — это выше всего.

А в искусстве он был не последним. Конечно, существуют такие виртуозы, которые на одних лишь черных клавишах могут исполнить разные мотивы, до этого Аполлону Перепенчуку было

далеко, однако он имел-таки собственную композицию-вальс «Нахлынувшие на меня мечты»…

Вальс этот он весьма успешно исполнял, при огромном стечении публики, в стенах Купеческого собрания.

Это было в тот год, о котором пойдет речь, год наибольшей его славы и известности. К этому счастливому времени относится и другое его сочинение, неоконченная «Фантази реаль», написанная в мажорных тонах, что не исключало в ней очаровательной лирики. Эта «Фантази реаль» посвящалась некоей Тамаре Омельченко, той самой девице, что сыграла такую решающую и роковую роль в жизни Аполлона Семеновича Перепенчука.

3

Но тут автор должен объясниться с читателями. Автор уверяет дорогих читателей, что он ни в какой мере не будет извращать событий. Напротив, он будет их восстанавливать именно так, как они и проистекали, сохраняя при этом самые мельчайшие подробности, как например: внешность героев, образ их мыслей, или даже сентиментальные мотивы, которые так не по душе самому автору.

Автор заверяет дорогих читателей, что с необыкновенным прискорбием и даже с болезненным напряжением он вспоминает кое-какие сентиментальные сцены, о которых он должен рассказать, те сцены, когда, например, героиня плачет над портретом, или когда та же героиня зашивает порванную гимнастерку Аполлону Перепенчуку, или когда, наконец, тетушка Аделаида Перепенчук объявляет о распродаже гардероба Аполлона Семеновича.

Эти описания пойдут, так сказать, вразрез со вкусом автора, но все это будет сделано ради истины. Ради истины автор сохраняет даже подлинные имена героев. Пусть читатель не думает, что автор из эстетических соображений назвал своих героев столь редкими, исключительными именами — Тамара и Аполлон. Нет, именно так они и прозывались. И это, впрочем, ничуть не удивительно. Автору доподлинно известно, что все девицы в семнадцать и в восемнадцать лет на Большой Проломной улице прозывались именно Тамарами или Иринами.

А произошло такое исключительное событие по причинам достаточно уважительным. Семнадцать лет назад стоял здесь полк каких-то гусар. И такой это был замечательный полк, такие

красавцы все были эти гусары и так они воздействовали на горожан с эстетической стороны, что все младенцы женского пола, родившиеся в то время, названы были, с легкой руки супруги начальника губернии, Тамарами или Иринами.

Так вот, в тот счастливый, полный головокружительного успеха год Аполлон Семенович Перепенчук встретил впервые и нежно полюбил девицу Тамару Омельченко.

Было ей тогда неполных восемнадцать лет. Была она не то чтобы красавица, а была она лучше красавицы — такая у ней была во всем благородная закругленность форм, такая плывущая поступь и такое очарование нежной юности. Все мужчины, проходящие мимо, будь то на улице, или даже в обществе, называли ее — булочкой, пончиком или пампушечкой. И при этом глядели на нее с большим вниманием и удовольствием.

В тот год она тоже полюбила Аполлона Семеновича Перепенчука.

Они встретились на балу в стенах клуба Купеческого собрания. Это было в начале европейской всемирной войны. Ее поразил вид его, необыкновенно благородный, с гордо закушенной нижней губой. Он был восхищен ее нетронутой свежестью.

В тот вечер он был в особенном ударе. Он бил по роялю со всей силой своего вдохновения так, что дежурный старшина пришел попросить его играть потише, оправдываясь тем, что действительные члены клуба обижаются.

В этот момент Аполлон Перепенчук понял, какой он, в сущности, незначительный еще и мизерный человек. Он, в силу своей профессии прикрепленный к музыкальному инструменту, не сможет даже подойти к любимой девушке. И, раздумывая так, он выражал звуками всю свою тоску и отчаяние несвободного человека.

Она кружилась в вальсах и мазурках со многими представительными мужчинами, но глаза ее все время останавливались на вдохновенном лице Аполлона Перепенчука.

И в конце вечера, преодолевая девичий стыд, она сама подошла к нему, попросив сыграть что-нибудь из его любимых мотивов. Он сыграл вальс «Нахлынувшие на меня мечты».

Этот вальс решил дело. Она, охваченная трепетом первого чувства, взяла его руку и прижала к своим губам.

Злобная молва о новом марьяже Аполлона Перепенчука тотчас охватила все здание Купеческого клуба. Никто не старался скрыть своего

любопытства. Мимо них фланировали люди, подсмеиваясь и хихикая. Даже те, кто одевался уже внизу, сбросили свои шубы и снова поднялись наверх, чтобы самим воочию убедиться в правильности пикантных слухов.

Так началась эта любовь.

Аполлон Перепенчук и Тамара стали встречаться по праздникам на углу Проломной и Кирпичного и, гуляя до вечера, говорили о своей любви и о том замечательном, незабываемом вечере, когда они встретились впервые, вспоминая при этом каждую мелочь, прикрашивая все и восторгаясь друг другом.

Это длилось до осени.

А в тот день, когда Аполлон Семенович Перепенчук, одетый в жакет, с букетом олеандров и с коробкой постного сахара, пришел просить руки Тамары, она, с рассудочностью зрелой женщины, знающей себе цену, отказала ему, невзирая на просьбы своей матери и домочадцев.

— Мамаша, — сказала она, — да, я люблю Аполлона со всей страстью девичьего чувства, но замуж за него сейчас я не пойду. Когда он будет знаменитым музыкантом, когда слава будет у его ног, я сама приду к нему. И я верю, что это будет скоро. Я верю, что он будет известным,

знаменитым человеком, умеющим обеспечить свою жену.

Во время ее реплики Аполлон Перепенчук стоял тут же, впервые низко опустив свою голову.

Весь вечер он плакал у ее ног и с невыразимой страстью и тоской целовал ее колени. Но она была настойчива. Она не хотела рисковать, она боялась бедности и необеспеченной жизни, той жизни, которую влачат почти все люди.

Аполлон Перепенчук бросился к себе. Он жил несколько дней в каком-то тумане, в остервенении каком-то, стараясь придумать способ стать знаменитым, прославленным музыкантом. Но то, что раньше казалось ему легким и простым, теперь представлялось необыкновенной трудностью, даже невозможным.

В его уме мелькали разные планы: уехать в другой город, бросить музыку, бросить искусство и искать счастья и славы в другой профессии, на другом поприще, стать, например, отважным авиатором, делающим мертвые петли над родным городом, над кровлей любимой девушки, или, наконец, стать изобретателем, путешественником, хирургом… Но это были все только планы. Аполлон Перепенчук тут же разрушал их, смеясь над своей фантазией.

Он послал в Петербург сочинение свое — вальс «Нахлынувшие на меня мечты», но неизвестно, что сталось с рукописью: затерялась ли она на почте, или какой-нибудь человек присвоил ее себе, впоследствии выдавая ее за свою композицию, — неизвестно. В свет она так и не вышла.

Нынче даже мотив ее позабыт. Разве что тетушка Аделаида Перепенчук сохранила его в своей памяти. Ах, она так любила напевать этот вальс!

К этому времени относится и другое сочинение Аполлона Перепенчука — неоконченная «Фантази реаль», неоконченная не в силу творческой беспомощности. Она была не кончена, ибо новый удар сразил нашего бедного героя.

Аполлон Семенович был призван в ряды армии как ратник второго разряда, могущий нести службу в тылу действующих войск.

То, что в фантазиях своих он думал: уехать, искать счастья на стороне, теперь исполнилось.

В декабре шестнадцатого года Аполлон Перепенчук пришел проститься с любимой девушкой.

Даже самые циничные люди, самые зачерствелые сердца плакали, глядя на их нежное расставание.

Прощаясь, Аполлон Перепенчук торжественно

сказал, что он или совсем не вернется, или вернется прославленным, знаменитым человеком. Он сказал, что ни война, ни что другое не остановит его стремления к этому.

И девушка, благодарно смеясь, сквозь слезы сказала, что она вполне ему верит и что она непременно будет его женой, когда он вернется таким, как она это хочет, ради их взаимного счастья.

4

И вот прошло несколько лет. Четыре с лишком года прошло с тех пор, как Аполлон Семенович Перепенчук уехал в действующую армию.

Огромные изменения произошли за это время. Социальные идеи в значительной мере покачнули и ниспровергли прежний быт. Много прекрасных людей отошло к праотцам в вечность. Так, например, скончался от сыпняка Кузьма Львович Горюшкин, бывший попечитель учебного округа, добродушнейший и культурный человек. Помер Семен Семенович Петухов, отличнейший тоже человек и не дурак выпить. Смерть фельдшера Федора Перепенчука относится к тому же времени.

Жизнь в городе чрезвычайно изменилась.

Наступившая революция стала создавать новый быт. Но жить было нелегко. И люди боролись за право свое прожить.

И никто за это время не вспомнил Аполлона Семеновича Перепенчука. Разве что Тамара Омельченко да еще тетушка его, Аделаида Перепенчук. Конечно, может быть, и еще какая-нибудь девица подумала о нем, но подумала как о романтическом герое, а не как о тапере и музыканте. Как о тапере о нем никто не вспоминал и не пожалел. В городе таперов не было, да они были и не нужны. С условиями нового быта многие профессии стали ненужными, среди них профессия тапера была вымирающей.

На всех вечерах подвизался теперь маэстро Соломон Беленький с двумя первыми скрипками, контрабасом и виолончелью. На всех вечерах, благотворительных балах, на свадьбах и на крестинах работал с успехом, несомненно, головокружительным, этот неизвестно откуда появившийся человек. Его все полюбили. И верно: никто так, как он, не смог бы вертеть скрипку в руках, переворачивая ее и в паузе ударяя по деке смычком. Мало того, он играл попурри из любимейших мотивов, мог исполнять разнообразнейшие танцы и заатлантические танцы,

как-то «тремутар» или «медведь». При этом не сходящая с его лица улыбка и даже некоторое добродушное подмигиванье танцующим окончательно сделали его любимцем веселящейся публики. Он был, так сказать, артист современности. И он вытеснил из памяти горожан и в прах растоптал Аполлона Семеновича Перепенчука.

А в тот год, когда Аполлона Перепенчука стала забывать Тамара, и даже тетушка Аделаида Перепенчук, считая племянника своего без вести погибшим, вывесила на воротах записку, объявляющую гражданам о распродаже гардероба Аполлона Перепенчука, как-то: двух пар мало ношенных брюк, бархатной тужурки с темно-зеленым галстуком, пикейного жилета и еще кое-каких вещей, — в тот год он вернулся в родной город.

Он ехал в теплушке с солдатами и, подложив под голову мешок, лежал на нарах всю дорогу. Он казался больным. Он страшно переменился. Солдатская шинель, рваная, прожженная на спине, армейские ботинки, штаны широкие, цвета защитной материи, хриплый голос — делали его неузнаваемым. Казалось, что это был другой человек.

Даже губа, его гордо закушенная губа, была

вытянута в ленточку от постоянного общения с кларнетом.

Никто никогда не узнал, какая катастрофа разразилась над ним. И была ли катастрофа? Вернее всего, что ее не было, а была жизнь, простая и обыкновенная, от которой только два человека из тысячи становятся на ноги, остальные живут, чтобы прожить.

Никогда никому он не рассказывал, как жил эти пять лет и что делал, чтобы вернуться в славе и с почестями.

Единственная вещь — кларнет, который он привез, дала повод людям заподозрить его в том, что славы он искал по-прежнему в искусстве. По-видимому, он был музыкантом в каком-нибудь полковом оркестре. Но ничего не известно доподлинно. Он писем никому не писал, не желая, вероятно, сообщать о незначительных фактах своей жизни.

В общем неизвестно.

Известно только, что вернулся он не только не знаменитым, — вернулся он больным, голодным даже — иным человеком — с морщинами на лбу, с удлиненным носом, с побелевшими глазами и низко опущенной головой.

Он, как вор, вернулся в дом своей тетушки, как

вор, бежал по улицам от вокзала, стараясь, чтоб никто его не увидел. Но его если и видели, то не узнавали. Ничего не оставалось в нем старого. Был это другой Аполлон Перепенчук.

Самое возвращение его было ужасно. Новый удар, едва перешагнул он порог, обрушился на его голову. Вещи, его прекрасные вещи: бархатная тужурка, штаны, жилет — погибли безвозвратно. Тетушка, Аделаида Перепенчук, все распродала, вплоть до безопасной бритвы.

С некоторым даже равнодушием и брезгливостью выслушал Аполлон Семенович тетушкины рыдания и, не упрекнув ее, только переспросив еще раз о бархатной тужурке, бросился к Тамаре.

Он бежал к ней, задыхаясь и ни о чем не думая, по Большой Проломной. Все псы выбегали ему навстречу и лаяли, пытаясь схватить его за ободранные штаны.

Наконец, еще усилие — ее дом, Тамарин дом… И Аполлон Перепенчук стучит кулаком в дверь.

Она, Тамара, встретила его испуганно, стараясь тотчас, сию минуту, понять, что с ним случилось. И, глядя на его рваную блузу, на изможденное лицо — поняла.

Он смотрел пристально, пронзительно в ее глаза, пытаясь проникнуть в ее думы, понять. Но

ничего не понял.

Так они долго стояли друг перед другом, не проронив слова. Потом он стал перед ней на колени и, не зная, о чем сказать, тихо заплакал. Она тоже плакала над ним, по-детски всхлипывая и часто сморкаясь.

Наконец она села в кресло, а Аполлон, опустившись перед ней, бессмысленно лепетал какие-то пустяки. Тамара смотрела на него, но ничего не понимала и ничего не видела, она видела лишь загрязненное его лицо, свалявшиеся волосы и рваную гимнастерку. Ее сердечко, сердечко благоразумной женщины, сжималось. Она принесла нитки и ножницы и, попросив его, не сосчитав за труд, вдеть нитку в иглу, принялась зашивать ему гимнастерку, время от времени укоризненно покачивая головой.

Но тут автор должен сказать, что он не мальчик продолжать описание этой сентиментальной сцены. И, хотя осталось немного, автор переходит к психологии героя, нарочно опустив две-три сентиментальных и интимных подробности, как, например: она расчесывает своим гребнем свалявшиеся его волосы, она обтирает его изможденное лицо полотенцем и прыскает на него «Персидской сиренью»… Автор заявляет, что ему

нет дела до этих подробностей, его интересует психология.

Так вот, благодаря этому нежному вниманию со стороны Тамары, Аполлон Перепенчук подумал, что все идет по-прежнему, что по-прежнему она его любит, и с криком восторга он бросился к ней, пытаясь заключить ее в свои объятия.

Но она сказала, нахмурившись:

— Любезный Аполлон Семенович, я, кажется, когда-то наговорила вам много лишнего… Надеюсь, вы не приняли мой невинный девичий лепет за чистую монету.

Он не поднимался с колен, с трудом понимая ее слова. Она встала, прошла по комнате и с сердцем промолвила:

— Может быть, я и виновата перед вами, но вашей женой я не буду.

Аполлон Перепенчук вернулся домой и дома вдруг понял, что ничто теперь не в состоянии вернуть ему прежней жизни и что прежняя жизнь смешна и наивна. И смешно и наивно было его желание стать великим музыкантом и знаменитым прославленным человеком. И еще понял: всю свою жизнь он жил не так, как нужно, не то делал и не то говорил… Но как было нужно, он и теперь не знал.

И, ложась спать, он усмехнулся с горечью, как некогда усмехался фельдшер Федор Перепенчук, стараясь, наконец, понять, проникнуть в сущность явлений.

5

В короткое время Аполлон Семенович Перепенчук страшно обеднел. Больше того: это была бедность, даже нищета, человека, потерявшего всякие надежды на улучшение. Правда, он и приехал без ничего, однако первое время он не хотел и не смел признаться в своей ужасающей бедности.

Теперь он с недоброй усмешкой говорил об этом тетушке своей Аделаиде Перепенчук:

— Я, тетушка, беден, как испанский нищий.

Тетушка, чувствуя свою вину перед ним, старалась его успокоить, утешить, ободрить, говоря, что еще не все окончательно потеряно, что его жизнь еще вся впереди, что вместо проданного темно-зеленого галстука она сделает ему очаровательный лиловый из корсажа вечернего своего туалета и что, наконец, бархатную тужурку за недорого взялся бы сделать знакомый ей дамский портной Рипкин.

Но Аполлон Перепенчук только усмехался.

Он не сделал ни одного шага, ни одной попытки как-нибудь изменить, поставить на прежний лад свою городскую жизнь. Это, впрочем, произошло с тех пор, как он узнал, что в городе на всех вечерах подвизается теперь маэстро Соломон Беленький. До этого какие-то неясные мечты, ускользающие планы теснились в его возбужденном мозгу.

Маэстро Соломон Беленький и исчезновение бархатной куртки сделали Аполлона Перепенчука безвольным созерцателем.

Он целыми днями лежал теперь в постели, выходя на улицу для того, чтобы найти оброненный окурок папиросы или попросить у прохожего на одну завертку щепоточку махорки. Тетушка Аделаида его кормила.

Иногда он вставал с постели, вынимал из матерчатого футляра завязанный им кларнет и играл на нем. Но в его музыке нельзя было проследить ни мотива, ни даже отдельных музыкальных нот — это был какой-то ужасающий, бесовский рев животного.

И всякий раз, когда он начинал играть, тетушка Аделаида Перепенчук менялась в лице, вынимала из шкафика различные банки и баночки со всякими препаратами и нюхательными солями и ложилась в постель, глухо стоная.

Аполлон Семенович бросал кларнет и снова искал успокоения в кровати.

Он лежал и проницательно думал, и мысли приходили к нему те же, что некогда тревожили Федора Перепенчука. Иные мысли, по силе и глубине, ничуть не уступали мыслям его значительного однофамильца. Он думал о человеческом существовании, о том, что человек так же нелепо и ненужно существует, как жук или кукушка, и о том, что человечество, весь мир, должны изменить свою жизнь для того, чтоб найти покой и счастье, и для того, чтоб не подвергаться таким страданиям, как произошло с ним. Ему однажды показалось, что наконец-то он узнал и понял, как надо жить человеку. Какая-то мысль коснулась его мозга и снова исчезла неоформленная.

Это началось с малого. Аполлон Перепенчук как-то спросил тетушку Аделаиду:

— Как вы полагаете, тетушка, есть ли у человека душа?

— Есть, — сказала тетушка, — непременно есть.

— Ну, а вот обезьяна, скажем… Обезьяна человекоподобна… Она ничуть не хуже человека. Есть ли, тетушка, у обезьяны душа, как вы полагаете?

— Я думаю, — сказала тетушка, — что у обезья-

ны тоже есть, раз она похожа на человека.

Аполлон Перепенчук вдруг взволновался. Какая-то смелая мысль поразила его.

— Позвольте, тетушка, — сказал он. — Ежели есть душа у обезьяны, то и у собаки, несомненно, есть. Собака ничем не хуже обезьяны. А ежели у собаки есть душа, то и у кошки есть, и у крысы, и у мухи, и у червяка даже…

— Перестань, — сказала тетушка. — Не богохульствуй.

— Я не богохульствую, — сказал Аполлон Семенович. — Я, тетушка, ничуть даже не богохульствую. Я только факты констатирую… Значит, у червяка тоже есть душа… А что вы теперь скажете? Возьму-ка я, тетушка, и разрежу червяка надвое, напополам… И каждая половина, представьте себе, тетушка, живет в отдельности. Так? Это что же? Это, по-вашему, тетушка, душа раздвоилась? Это что же за такая душа?

— Отстань, — сказала тетушка и испуганно посмотрела на Аполлона Семеновича.

— Позвольте, — закричал Перепенчук. — Нету, значит, никакой души. И у человека нету. Человек — это кости и мясо… Он и помирает, как последняя тварь, и рождается, как тварь. Только что живет по-выдуманному. А ему нужно по-дру-

гому жить…

Но как нужно было жить, Аполлон Семенович не мог объяснить своей тетушке — он не знал. Тем не менее мыслями своими Аполлон Семенович был потрясен. Ему казалось, что он начал понимать что-то. Но потом в голове его снова все мешалось и путалось. И он признавался себе, что он не знает, как, в сущности, надо было бы жить, чтоб не испытывать того, что он сейчас чувствует. А он чувствует, что его игра проиграна и что жизнь спокойно продолжается без него.

Он несколько дней кряду ходил по комнате в страшном волнении. А в тот день, когда волнение достигло наивысшего напряжения, тетушка Аделаида принесла письмо на имя Аполлона Семеновича Перепенчука. Это письмо было от Тамары.

Она, с жеманностью кокетливой женщины, писала в грустном лирическом тоне о том, что нынче она выходит замуж за некоего иностранного коммерсанта Глоба и что, делая этот шаг, она не хочет оставить о себе дурных воспоминаний в памяти Аполлона Перепенчука. Она, дескать, просит его всепокорнейше извинить за все то, что она с ним сделала, она прощенья просит, ибо знает, какой смертельный удар ему нанесла.

Тихо смеялся Аполлон Перепенчук, читая это письмо. Однако ее непоколебимая уверенность в том, что он, Аполлон Перепенчук, погибает из-за нее, ошеломила его. И, думая об этом, он вдруг отчетливо понял, что ему ничего не нужно, даже не нужна та, из-за которой он погибает. И еще ясно, окончательно понял, что он погибает, в сущности, не из-за нее, а погибает оттого, что он не так жил, как нужно. И тут снова все в голове его мешалось и путалось.

И он хотел тотчас пойти к ней и сказать, что не она виновата, а он сам виноват, что он сам совершил ошибку в своей жизни.

Но не пошел, потому что он не знал, в чем заключалась его ошибка.

6

Аполлон Семенович Перепенчук пошел к Тамаре спустя неделю. Это произошло неожиданно. Однажды вечером он тихо оделся и, сказав тетушке Аделаиде, что у него болит голова и что он хочет поэтому пройтись по городу, вышел. Он долго и бесцельно бродил по улицам, не думая о том, что пойдет к Тамаре. Необыкновенные думы о бессмысленном существовании не давали ему покоя. Он, сняв фуражку, бродил по улицам,

останавливаясь у темных деревянных домов, заглядывая в освещенные окна, стараясь, наконец, понять, проникнуть, узнать, как живут люди и в чем их существование. В освещенных окнах он видел за столом мужчин в подтяжках, женщин за самоваром, детей… Иные мужчины играли в карты, иные сидели, не двигаясь, бессмысленно смотря на огонь, женщины мыли чашки или шили и почти все — ели, широко и беззвучно открывая рты. И, за двумя рядами стекол, Аполлону Перепенчуку казалось, что он слышит их чавканье.

От дома к дому переходил Аполлон Семенович и вдруг очутился у дома Тамары.

Аполлон Перепенчук прильнул к окну ее комнаты. Тамара лежала на диване и казалась спящей. Вдруг Аполлон Семенович, неожиданно для самого себя, постучал по стеклу пальцами.

Тамара вздрогнула, вскочила, прислушиваясь. Потом подошла к окну, стараясь в темноте узнать, кто стучал. Но не узнала и крикнула: «Кто?»

Аполлон Семенович молчал.

Она выбежала на улицу и, узнав его, повела в комнаты. Она стала сердито говорить, что не для чего ему приходить к ней, что все, наконец, кончено, что неужели ему не достаточно ее пись-

менных извинений…

Аполлон Перепенчук смотрел на ее красивое лицо и думал, что незачем ей говорить о том, что не она виновата, а он виноват, что он не так жил, как нужно, — она не поймет и не захочет понять, оттого что в этом у ней была какая-то радость и, может быть, гордость.

И он хотел уж уходить, но вдруг что-то остановило его. Он долго стоял посреди комнаты, напряженно думая, странное успокоение пришло к нему. И он, оглядев комнату Тамары, бессмысленно улыбаясь, вышел.

Он вышел на улицу, прошел два квартала, надел фуражку. Остановился.

— Что такое?

В тот момент, когда он стоял в ее комнате, какая-то счастливая мысль мелькнула в его уме. Он забыл ее… Какая-то мысль, исход какой-то, от которого на мгновение стало ясно и спокойно.

Аполлон Перепенчук стал вспоминать каждую мелочь, каждое слово. Не уехать ли? Нет… Не поступить ли в письмоводители? Нет… Он забыл.

Тогда он бросился опять к ее дому. Да, конечно, он должен сейчас, сию минуту, проникнуть в ее дом, в комнату ее и там, придя на старое место, вспомнить эту проклятую мысль.

Он подошел к двери. Хотел постучать. Но вдруг заметил — дверь открыта. За ним не заперли. Он тихо прошел по коридору, никем не замеченный, и остановился на пороге Тамариной комнаты.

Тамара плакала, ничком уткнувшись в подушки. В руке она держала его фотографию, его — Аполлона Перепенчука.

Пусть на этом месте читатель плачет, сколько ему угодно — автору все равно, ему ни холодно, ни жарко. Автор бесстрастно переходит к дальнейшим событиям.

Аполлон Перепенчук посмотрел на Тамару, на карточку в ее руке, на окно. На цветок, на вазочку с пучком сухой травы, и вдруг вспомнил.

— Да!

Тамара вскрикнула, увидав его. Он бросился прочь, стуча сапогами. За ним бежал кто-то из кухни.

Аполлон Семенович выбежал на улицу. Пошел быстро по Проломной. Потом побежал. Провалился в рыхлый снег. Упал. Встал. Опять побежал.

— Вспомнил!

Он бежал долго, задыхаясь. Уронил фуражку и, не стараясь ее найти, бросился дальше. В городе было тихо. Ночь. Перепенчук бежал.

И вот уже окраина города. Слобода. Заборы.

Семафор.

Будки. Канава. Полотно.

Аполлон Перепенчук упал. Пополз. И, уткнувшись в рельсы, лег.

— Вот эта мысль.

Он лежал в рыхлом снегу. Сердце его переставало биться. Ему казалось, что он умирает.

Кто-то с фонарем прошел два раза мимо него и, снова вернувшись, пихнул его ногой в бок.

— Ты чего? — сказал мужик с фонарем. — Чего лег?

Перепенчук молчал.

— Чего лег? — с испугом повторил мужик. Фонарь в его руке дрожал.

Аполлон Семенович поднял голову. Сел.

— Люди добрые… Люди добрые… — сказал он.

— Какие люди? — тихо сказал мужик. — Да ты чего задумал-то? Пойдем-кось в будку. Я здешний… Стрелочник…

Мужик взял его под руку и повел в сторожку.

— Люди добрые… Люди добрые… — бормотал Перепенчук.

Вошли в сторожку. Душно. Стол. Лампа. Самовар. За столом сидел мужик в расстегнутой поддевке. Баба щипцами крошила сахар.

Перепенчук сел на лавку. Зубы его стучали.

— Ты чего лег-то? — спросил опять стрелочник, подмигивая мужику в поддевке. — Не смерти ли захотел? Или рельсину, может, открутить хотел? А?

— А чего он? — спросил мужик в поддевке. — Лег, что ли, на рельсы?

— Лег, — сказал стрелочник. — Я иду с фонарем, а он, курва, лежит, как маленький, уткнувшись харей в самую то есть рельсину.

— Гм, — сказал мужик в поддевке, — сволочь какая.

— Подожди, — сказала баба, — не ори на него. Видишь, трясется человек. Не из радости трясется. На-кось чайку, попей.

Аполлон Перепенчук, стуча по стакану зубами, выпил.

— Люди добрые…

— Обожди, — сказал стрелочник, снова подмигивая и для чего-то толкая под бок мужика в поддевке. — Дай-кось, я его спрошу по порядку.

Аполлон Семенович сидел неподвижно.

— Отвечай по порядку, как на анкету, — строго сказал стрелочник. — Фамилия.

— Перепенчук, — сказал Аполлон Семенович.

— Так, — сказал мужик. — Не слыхал.

— Лет от роду?

— Тридцать два.

— Зрелый возраст, — сказал мужик, чему-то радуясь. — А мне пятьдесят первый, значит… Возраст все-таки… Безработный?

— Безработный…

Стрелочник усмехнулся и снова подмигнул.

— Эта худа, — сказал он. — Ну, а ремесло какое понимаешь? Знаешь ли какое ремесло?

— Нет…

— Эта худа, — сказал стрелочник, покачав головой. — Как же это, брат, без рукомесла-то жить? Это, я тебе скажу, немыслимо худа. Человеку нужно непременно понимать рукомесло. Скажем, я — сторож, стрелочник. А теперь, скажем, поперли меня, сокращенье там или что иное… Я от этого, братишка, не пропаду. Я сапоги знаю работать. Буду я работать сапоги — рука сломалась — мне и горюшка никакого. Буду-ка я зубами веревки вить. Вот она какое дело. Как же это можно без рукомесла. Нипочем не можно… Как же существуешь-то?

— Из дворян, — усмехнулся мужик в поддевке. — Кровь у них никакая… Жить не могут. В рельсы ткаются.

Аполлон Перепенчук встал и хотел уйти из будки. Сторож не пустил, сказал:

— Сядь. Я тебя сейчас великолепно устрою.

Он подмигнул мужику в поддевке и сказал:

— Вася, ты бы его присобачил по своему делу. Дело у тебя тихое, каждый понимать может. Что ж безработному человеку гибнуть?

— Пущай, — сказал мужик, застегивая поддевку, — это можно: приходи-ка ты, гражданин, на Благовещенское кладбище. Спроси заведующего. Меня то есть.

— Да пущай он с тобой пойдет, Вася, — сказала баба. — Мало ли, что случится.

— А пущай! — сказал мужик, вставая и надевая шапку. — Идем, что ли. Прощайте.

Мужик вышел из будки вместе с Аполлоном Перепенчуком.

7

Аполлон Семенович Перепенчук вышел в третий и последний период своей жизни — он вступил в должность нештатного могильщика. Почти год Аполлон Семенович проработал на Благовещенском кладбище. Он снова чрезвычайно переменился.

Он ходил теперь в желтых обмотках, в полулапьто, с медной бляхой на груди — № 3. От спокойного, бездумного лица его веяло тихим

блаженством. Все морщины, пятна, угри и веснушки исчезли с его лица. Нос принял прежнюю форму. И только глаза порою пристально и не мигая останавливались на одном предмете, на одной точке этого предмета, ничего больше не видя и не замечая.

В такие минуты Аполлон думал, вернее, вспоминал свою жизнь, свой пройденный путь, и тогда спокойное лицо его мрачнело. Но воспоминанья эти шли помимо его воли — он не хотел думать и гнал от себя все мысли. Он сознавал, что ему не понять, как надо было жить и какую ошибку он совершил в своей жизни. Да и была ли эта ошибка? Может быть, никакой ошибки и не было, а была жизнь простая, суровая и обыкновенная, которая только двум или трем человекам из тысячи позволяет улыбаться и радоваться.

Однако все огорчения были теперь позади. И счастливое спокойствие не покидало больше Аполлона Семеновича. Теперь он всякое утро аккуратно приходил на работу с лопатой в руках и, копая землю, выравнивая стенки могил, проникался восторгом от тишины и прелести новой своей жизни.

В летние дни он, проработав часа два подряд, а то и больше, ложился в траву или на теплую

еще, только что вырытую землю и лежал не двигаясь, смотря то на перистые облака, то на полет какой-нибудь пташки, то просто прислушивался к шуму благовещенских сосен. И, вспоминая свое прошлое, Аполлон Перепенчук думал, что никогда за всю свою жизнь он не испытывал такого умиротворения, что никогда он не лежал в траве и не знал и не думал, что только что вырытая земля — тепла, а запах ее слаще французской пудры и гостиной. Он улыбнулся тихой, полной улыбкой, радуясь, что он живет и хочет жить.

Но однажды Аполлон Семенович Перепенчук встретил Тамару под руку с каким-то, довольно важного вида, иностранцем. Они шли по тропинке Ксении Блаженной и о чем-то беспечно болтали.

Аполлон Перепенчук крался за ними, прячась, как зверь, за могилами и крестами. Парочка долго гуляла по кладбищу, затем, найдя полуразрушенную скамейку, они сели, сжав друг другу руки.

Аполлон Перепенчук бросился прочь.

Но это было только раз. Дальше жизнь опять пошла спокойная и тихая. Дни шли за днями, и ничто не омрачало их тишины. Аполлон Семенович работал, ел, лежал в траве, спал… Иногда он ходил по кладбищу, читал трогательные и

аляповатые подписи, присаживался на ту или другую забытую могилу и сидел, не двигаясь и ни о чем не думая.

Девятнадцатого сентября по новому стилю Аполлон Семенович Перепенчук помер от разрыва сердца, работая над одной из могил.

А семнадцатого сентября, т. е. за два дня до его смерти, от родов скончалась Тамара Глоба, урожденная Омельченко. Аполлон Семенович Перепенчук об этом так и не узнал.

Люди

1

Странные вещи творятся в литературе! Нынче, если автор напишет повесть о современных событиях, то такому автору со всех сторон уважение. И критики ему рукоплещут, и читатели ему сочувствуют.

Такому автору и слава, и популярность, и всякое уважение. И портреты такого автора печатают во всех еженедельных органах. И издатели расплачиваются с ним в золоте, не менее, как по сто рублей за лист.

А на наш ничтожный взгляд, по сто рублей за лист — это уж явная и совершенная несправедливость.

В самом деле: для того чтобы написать повесть о современных событиях, необходима соответствующая география местности, то есть пребывание автора в крупных центрах или столицах республики, в которых-то, главным образом, и проистекают исторические события.

Но не у каждого автора есть такая география, и не каждый автор имеет материальную возмож-

ность существовать с семьей в крупных городах и в столицах.

Вот тут-то и есть камень преткновения и причина несправедливости.

Один автор проживает в Москве и, так сказать, воочию видит весь круговорот событий с его героями и вождями, другой же автор, в силу семейных обстоятельств, влачит жалкое существование в каком-нибудь уездном городишке, где ничего такого особенно героического не происходило и не происходит.

Так вот, где же взять такому автору крупных мировых событий, современных идей и значительных героев?

Или прикажете ему врать? Или прикажете питаться вздорными слухами приезжающих из столицы товарищей?

Нет, нет и нет! Автор слишком любит и уважает художественную литературу, чтобы основывать ее на всевозможных бабьих глупостях и непроверенных слухах.

Конечно, какой-нибудь просвещенный критик, лепечущий на шести иностранных языках, укажет, может быть, что автор отнюдь не должен гнушаться мелкими героями и небольшими провинциальными сценками, которые происходят

вокруг него. И что даже еще и лучше зарисовывать небольшие красочные этюды с маленькими провинциальными человечками.

Эх, уважаемый критик! Оставьте делать ваши нелепые замечания! Все и без вас давно продумано, все, может, улицы исхожены и несколько пар сапог истрепано. Все, может, фамилии, более или менее достойные внимания, вынесены на отдельную бумажку с разными примечаниями и нотабенами. И нет! Не только нету сколько-нибудь замечательного героя, но нету даже посредственного человека, о котором интересно и поучительно говорить. Все мелочь, мелюзга, мелкота, о которых в изящной литературе, в современном героическом плане и говорить не приходится.

Но, конечно, автор все-таки предпочтет совершенно мелкий фон, совершенно мелкого и ничтожного героя с его пустяковыми страстями и переживаниями, нежели он пустится во все тяжкие и начнет заливать пулю насчет какого-нибудь совершенно несуществующего человека. Для этого у автора нет ни нахальства, ни особой фантазии.

Автор, кроме того, причисляет себя к той единственной честной школе натуралистов, за

которыми все будущее русской изящной литературы. Но даже если бы автор и не причислял себя к этой школе, все равно, говорить о незнакомом человеке — затруднительно. То перехватишь через край и заврешься в психологическом анализе, то, наоборот, недоскажешь какой-нибудь мелочишки, и читатель станет в тупик, удивляясь легкомысленному суждению современных писателей.

Так вот, в силу вышесказанных причин, а также вследствие некоторых стеснительных материальных обстоятельств, автор приступает к написанию современной повести, предупреждая, однако, что герой повести пустяковый и неважный, недостойный, может быть, внимания современной избалованной публики. Здесь речь идет, как, наверное, догадывается читатель, об Иване Ивановиче Белокопытове.

Автор ни за что не стал бы затрачивать на него свое симпатичное дарование, если б не потребность в современной повести. Потребность эта заставляет автора, скрепя сердце, взяться за перо и начать повесть о Белокопытове.

Это будет несколько грустная повесть о крушении всевозможных философских систем, о гибели человека, о том, какая, в сущности, пустяковая

вся человеческая культура, и о том, как нетрудно ее потерять. Это будет повесть о крушении идеалистической философии.

В этой плоскости Иван Иванович Белокопытов был даже любопытен и значителен. В остальном автор советует читателю не придавать большого значения и тем паче не переживать с героем его низменных, звериных чувств и животных инстинктов.

Итак, автор берется за перо и приступает к современной повести.

Действующих лиц в повести будет не так-то уж много: Иван Иванович Белокопытов, худощавый, тридцати семи лет, беспартийный. Его жена, Нина Осиповна Арбузова, смугловатая, цыганского типа дамочка, из балетных. Егор Константинович Яркин, тридцати двух лет, беспартийный, заведующий первой городской хлебопекарней. И, наконец, уважаемый всеми начальник станции, товарищ Петр Павлович Ситников.

Есть и еще в повести несколько эпизодических лиц, как, например: Катерина Васильевна Коленкорова, тетка Пепелюха и станционный сторож и герой труда Еремеич — лица, о которых заранее говорить нету смысла ввиду незначительности их роли.

Кроме человеческих персонажей, в повести выведена еще небольшая собачка, о которой говорить, конечно, не приходится.

2

Фамилия Белокопытовых — старая, дворянская и помещичья фамилия. В те годы, о которых идет речь, фамилия эта сходила на нет, и Белокопытовых было всего двое: отец Иван Петрович и отпрыск его Иван Иванович.

Отец, Иван Петрович, очень богатый и представительный мужчина, был несколько странный и чудаковатый господин. Слегка народник, но увлекающийся западными идеями, он то громил мужиков, называя их сволочами и человеческими отребьями, то замыкался в своей библиотеке и жадно читал таких авторов, как Жан-Жак Руссо, Вольтер или Бодуэн-де-Куртенэ, восхищаясь их свободомыслием и независимостью взглядов.

И, несмотря на это, отец Иван Петрович Белокопытов нежно любил сельскую жизнь, спокойную и ровную, любил парное молоко, которое поглощал в каком-то изумительном количестве, и увлекался верховой ездой. Он ежедневно выезжал верхом на прогулку, любуясь красотами природы или журчащим говором какого-нибудь

лесного ручейка.

Умер отец Белокопытов еще молодым, в полном расцвете своих сил. Его задавила собственная лошадь.

В один из ясных летних дней, собравшись на обычную свою верховую прогулку, он стоял, совершенно одетый, у окна столовой комнаты, нетерпеливо дожидаясь, когда подадут ему лошадь. Молодцеватый и красивый, в серебряных шпорах, он стоял у окна, раздраженно помахивая стеком с золотым набалдашником. Тут же и сынишка, молодой Ваня Белокопытов, резвился вокруг своего отца, беспечно приплясывая и играя колесиками его шпор.

Впрочем, резвился молодой Белокопытов значительно раньше. В год смерти отца ему было за двадцать лет, и он был уже возмужалым юношей с первым пушком на верхней губе.

В тот год он, конечно, не мог резвиться. Он стоял возле отца и убеждал его отказаться от поездки.

— Не поезжайте, папаша, — говорил молодой Белокопытов, предчувствуя недоброе.

Но молодцеватый папаша, подкрутив усы и махнув рукой, дескать, пропадать так пропадать, пошел вниз, чтобы дать вздрючку замешкавшемуся конюху.

Он вышел на двор, сердито вскочил на поданную ему лошадь и, в крайнем раздражении и гневе, дал шпоры.

Видимо, это и было его гибелью. Разъяренное животное понесло и верст за пять от имения сбросило Белокопытова, размозжив ему череп о камни.

Молодой Белокопытов стойко выдержал известие о гибели своего отца. Приказав сначала продать эту лошадь, он оттянул это решение и, лично войдя в конюшню, пристрелил животное, вложив револьвер в ухо. Затем он заперся в доме, горько оплакивая гибель своего отца. И только через несколько месяцев приступил снова к прежним своим занятиям. Он изучал испанский язык и под руководством опытного педагога делал переводы с испанских авторов. Но, кроме испанского языка, он занимался еще и латынью, роясь в старинных книгах и рукописях.

Другой бы на месте Ивана Ивановича, оставшись единственным наследником богатейшего состояния, плюнул бы на всю эту испанскую музыку, погнал бы учителей в три шеи, завил бы горе веревочкой, запил бы, закрутил, заразвратничал, но, к сожалению, не таков был молодой Белокопытов. Он повел жизнь такую же, как и

раньше.

Всегда богатый и обеспеченный, не знающий, что такое материальное стеснение, он равнодушно и презрительно относился к деньгам. А тут еще, начитавшись либеральных книг с пометками своего отца, он и вовсе стал пренебрежительно относиться к своему огромному состоянию.

Разные тетушки, узнав о смерти отца Белокопытова, понаехали в имение со всех концов света, рассчитывая — не перепадет ли и им кусочка. Они льстили Ивану Ивановичу, прикладывались к его ручке и восторгались его мудрыми распоряжениями.

Но однажды, собрав всех своих родственников в столовую, Иван Иванович заявил им, что он считает себя не вправе владеть полученным состоянием. Он считает, что наследство — вздор и ерунда и что каждый человек самостоятельно должен делать свою жизнь. И он, Иван Иванович Белокопытов, находясь в здравом уме и твердой памяти, отныне отказывается от всего имущества, с тем, что он сам распределит его различным учреждениям и неимущим частным лицам.

Родственнички в один голос ахали и охали и, восторгаясь необыкновенным великодушием

Ивана Ивановича, говорили, что, в сущности, они и есть эти самые неимущие частные лица и учреждения. И Иван Иванович, выделив им почти половину своего состояния, распрощался с ними и принялся ликвидировать свою недвижимость.

Он быстро и за бесценок распродал свои земли, разбазарил и частью раздал мужикам домашнюю утварь и скотину и, все еще с крупным состоянием, переселился в город, наняв у простых, незнакомых ему людей две небольшие комнатушки.

Кой-какие далекие родственники, проживавшие в ту пору в городе, сочли себя оскорбленными и прекратили с ним всякие отношения, находя подобное поведение вредным и опасным для дворянской жизни.

Но, поселившись в городе, Иван Иванович никак не изменил своей жизни и привычек. Он по-прежнему продолжал изучение испанского языка, в свободное время широко занимаясь благотворительностью.

Огромные толпы нищих осаждали квартиру Ивана Ивановича. Разные прощелыги, жулики и авантюристы, в порядке живой очереди, входили теперь к нему с просьбой о вспоможении.

Почти никому не отказывая и жертвуя, кроме

того, большие суммы различным учреждениям, Иван Иванович в короткое время разбазарил половину оставшегося у него имущества. Он сошелся, кроме того, с какой-то революционной группой людей, всячески их поддерживая и помогая. Был слушок даже, что он передал группе почти все оставшиеся свои деньги, но насколько это правда, автор не берется утверждать. Во всяком случае, Белокопытов был замешан в одно революционное дело.

Автор был тогда занят своими поэтическими и семейными делами и сквозь пальцы смотрел на общественные события, так что кое-какие подробности от него ускользнули. Автор издавал в тот год первую книжонку своих стихов под названием «Букет резеды». В настоящее время автор, конечно, не назвал бы свои поэтические опыты таким мизерным и сентиментальным заглавием. В настоящее время автор попытался бы эти стишки объединить какой-нибудь отвлеченной философской идеей и назвать книжку соответствующим заглавием, как, например, названа и объединена эта повесть огромным и значительным словом — «Люди». Но, к сожалению, автор тогда был молод и неопытен. Впрочем, книжка все-таки была неплохая. Отпечатанная

на лучшей меловой бумаге в количестве трехсот экземпляров, она за четыре с небольшим года разошлась окончательно, до последнего экземпляра, подарив автору некоторую известность среди граждан.

Неплохая была книжонка.

А что касается до Ивана Ивановича, то он, действительно, несколько запутался в обстоятельствах. Какой-то курсистке, приговоренной к ссылке на поселение, он, в припадке великодушия, подарил ильковую шубу.

Эта шуба наделала хлопот Ивану Ивановичу. Он был взят под подозрение, и за ним был установлен негласный надзор. Его подозревали в сношениях с революционерами.

Иван Иванович, человек нервный и впечатлительный, ужасно взволновался тем, что за ним следят. Он буквально хватался за голову, говоря, что он не может жить больше в России, в этой стране полудиких варваров, где за человеком следят, как за зверем. И Иван Иванович давал себе слово, что он непременно в ближайшее время все распродаст и уедет за границу как политический эмигрант и что ноги его больше не будет в этом стоячем болоте.

И, приняв такое решение, он немедленно

принялся ликвидировать свои дела, торопясь и беспокоясь, что его схватят, арестуют или не разрешат выезда. И, быстро закончив свои дела и оставив себе незначительные деньги на житье, Иван Иванович Белокопытов в один из осенних, пасмурных дней выехал за границу, проклиная свою судьбу и себя за великодушие.

Этот отъезд состоялся в сентябре 1910 года.

3

Как жил и что делал Иван Иванович за границей, никому не известно.

Сам Иван Иванович об этом никогда не упоминал, автор же не рискует сочинять небылицы о тамошней иностранной жизни.

Конечно, какой-нибудь опытный сочинитель, дорвавшись до заграницы, непременно бы тут пустил пыль в глаза читателям, нарисовав им две или три европейские картинки с ночными барами, с шансонетками и с американскими миллиардерами.

Увы! Автор никогда не ездил по заграницам, и жизнь Европы для него темна и неясна.

Автор поэтому с некоторым сожалением и грустью и с некоторой даже виной перед читателями должен пропустить, по крайней мере, десять

или одиннадцать лет заграничной жизни Ивана Ивановича Белокопытова, чтоб окончательно не завраться в мелких деталях незнакомой жизни.

Но пусть читатель успокоится. Ничего замечательного за эти десять лет в жизни нашего героя не было. Ну — жил человек за границей, ну — женился там на русской балетной танцовщице… Что же еще? Ну — поистратился, конечно, вконец. А в начале русской революции вернулся в Россию. Вот и все.

Конечно, все это можно было бы раздраконить в лучшем, в более заманчивом виде, но опять-таки, по причинам вышеуказанным, автор оставляет все как есть. Пускай другие писатели пользуются красотой своего слога — автор человек не тщеславный — как написал, так и ладно. Лавры других знаменитых писателей автору не мешают жить.

Так вот, уважаемый читатель, вот все, что случилось с Белокопытовым за десять лет. Впрочем, не все.

За границей в первые годы Иван Иванович принялся писать книгу. Он уже приступил к этой книге, назвав ее «О революционных возможностях в России и на Кавказе». Однако сначала мировая война, затем революция сделали эту

книгу ненужным, вздорным хламом.

Но Иван Иванович не очень горевал об этом и на третий или на четвертый год революции вернулся в Россию, в свой город. Автор с этого момента и приступает к повести. Тут-то уж автор чувствует себя молодцом и именинником. Тут-то уж автор крепок и непоколебим. И не заврется. Это вам не Европа. Все здесь шло на глазах автора. Всякая мелочь, всякое происшествие автору доподлинно известно или рассказано и получено из первых и уважаемых рук.

Итак, автор начинает свою повесть во всех подробностях только со дня приезда Ивана Ивановича в наш многоуважаемый город.

Это была прелестная весна. Снег уже почти весь стаял. Птицы носились по воздуху, приветствуя своими криками долгожданную весну. Однако без галош еще нельзя было ходить — местами грязь достигала колена и выше.

В один из таких прелестных весенних дней вернулся в свои родные места Иван Иванович Белокопытов.

Это было днем.

Несколько пассажиров моталось по платформе из стороны в сторону, с нетерпением ожидая поезда. Тут же стоял и уважаемый всеми начальник

станции, товарищ Ситников.

А когда подошел поезд — из переднего мягкого вагона вышел худощавый человек в мягкой шляпе и в узконосых ботинках без галош.

Это и был Иван Иванович Белокопытов. Одетый по-европейски, в отличном широком пальто, он небрежной походкой сошел на платформу, выкинув предварительно с площадки вагона два прекрасных, желтоватой кожи чемодана с никелированными замками. Затем, обернувшись назад и подав руку смугловатой, цыганского типа дамочке, он помог ей сойти.

Они стояли теперь возле своих чемоданов. Она, с некоторым испугом озираясь по сторонам, он же, мягко улыбаясь и дыша полной грудью, глядел на отходящий поезд.

Поезд давно уже отошел — они стояли, не двигаясь. Куча ошалелых мальчишек, свистя и шлепая босыми ногами, набросилась на чемоданы, теребя их грязными лапами и предлагая тащить их хоть на край света.

Подошедший носильщик, старый герой труда Еремеич, отогнав мальчишек, укоризненно стал рассматривать захватанную руками светло-желтую кожу чемоданов. Затем, взвалив их на плечи, Еремеич двинулся к выходу, предлагая этим сле-

довать приезжим за ним и не стоять по-пустому.

Белокопытов пошел за ним, но у выхода, на крыльце позади станции, приказал Еремеичу остановиться. И, остановившись сам, он снял шляпу и приветствовал свой родной город, свое отечество и свое возвращение.

И, стоя на ступеньках вокзала, он с мягкой улыбкой глядел на вдаль уходящую улицу, на канавы с мосточками, на маленькие деревянные дома, на сероватый дымок из труб… Какая-то тихая радость, какой-то восторг приветствия был на его лице.

Он долго стоял с непокрытой головой. Мягкий весенний ветер трепал его немножко седеющие волосы. И, думая о своих скитаниях, о новой жизни, которая ему предстоит, Белокопытов стоял неподвижно, вдыхая всей грудью свежий воздух.

И ему хотелось вот сейчас, тотчас, куда-то идти, что-то делать, что-то создавать, какое-то важное и всем нужное. И он чувствовал в себе необыкновенный прилив юношеской свежести и крепости и какой-то восторг. И тогда ему хотелось низко поклониться родной земле, родному городу и всем людям.

Между тем его супруга, Нина Осиповна Арбузова, стоя позади его и язвительно глядя на его

фигуру, нетерпеливо постукивала о камни концом зонтика. Тут же, несколько поодаль, стоял Еремеич, согнувшись под двумя чемоданами, не зная, поставить ли их на землю и тем самым загадить грязью их ослепительную поверхность, или же держать их на спине и ждать, когда прикажут ему нести. Но Иван Иванович, обернувшись, любезно попросил не утруждать себя тяжестью и поставить ношу хотя бы в самую грязь. Иван Иванович даже сам подошел к Еремеичу и, помогая ему поставить чемоданы на землю, спросил:

— Ну, как вообще? Как жизнь?

Несколько грубоватый и лишенный всякой фантазии Еремеич, не привыкший к тому же к таким отвлеченным вопросам и переносивший на своей спине до пятнадцати тысяч чемоданов, корзин и узлов, отвечал простодушно и грубо:

— Живем, хлеб жуем…

Тогда Белокопытов принялся расспрашивать Еремеича о более реальных вещах и событиях, интересуясь, где то или иное лицо и какие изменения произошли в городе. Но Еремеич, проживший безвыездно пятьдесят шесть лет в своем городе, казалось, впервые слышал от Белокопытова фамилии, имена и даже названия улиц.

Сморкаясь и обтирая рукавом вспотевшее лицо,

Еремеич то принимался брать чемоданы, желая этим показать, что пора двигаться, то вновь ставил их на место, беспокоясь, что опоздает к следующему поезду.

Нина Осиповна нарушила их мирную беседу, язвительно спросив, намерен ли Иван Иванович тут остаться и тут жить на лоне природы, или же у него есть еще кое-какие планы.

Говоря так, Нина Осиповна сердито стучала туфлей о ступеньки и скорбно сжимала губы.

Иван Иванович принялся что-то отвечать, но тут на шум вышел из помещения уважаемый всеми товарищ Петр Павлович Ситников. За ним следовал дежурный агент уголовного розыска. Но, увидя, что все обстоит благополучно и что общественная тишина и спокойствие ничем не нарушается и ничего, в сущности, не случилось, кроме как семейных споров с постукиванием дамской туфли о ступеньки, Петр Павлович Ситников повернулся было назад, но Иван Иванович догнал его и, спросив, помнит ли он его, стал трясти ему руки, крепко пожимая и радуясь.

Не теряя своего достоинства, Ситников сказал, что он, действительно, что-то припоминает, что физиономия Белокопытова как будто ему знакома, но, насколько это верно, доподлинно не знает

и не помнит.

И, отговариваясь служебными делами и пожимая Белокопытову руку, удалился, рукой приветствуя незнакомую смуглую даму.

За ним ушел и дежурный агент, спросив Белокопытова о международной политике и о событиях в Германии. Агент молча выслушал речь Белокопытова и, кивнув головой, отошел, приказав Еремеичу возможно далее отнести от входа чемоданы, для того чтобы проходящие пассажиры не поломали бы себе ноги.

Еремеич с сердцем и окончательно взвалил на себя чемоданы и пошел вперед, спрашивая, куда нести.

— В самом деле, — спросила жена Белокопытова, — куда ж ты намерен идти?

С некоторым недоумением и беспокойством Иван Иванович стал обдумывать, куда ему идти, но не знал и спросил Еремеича, нет ли тут поблизости, хотя бы временно, какой-нибудь комнаты.

Снова поставив чемоданы, Еремеич стал тоже обдумывать и припоминать и, решив наконец, что, кроме как к Катерине Васильевне Коленкоровой, идти некуда, пошел вперед. Но Иван Иванович, обогнав его, сказал, что он помнит добрейшую женщину Катерину Васильевну, пом-

нит и знает, где она живет, и что он сам пойдет вперед, указывая дорогу.

И он пошел вперед, размахивая руками и хлюпая своими изящными заграничными ботинками по грязи.

Позади шел, совершенно запарившийся, Еремеич. За ним шла Нина Осиповна Арбузова, высоко подобрав юбки и открыв свои тонковатые ноги в светлых серых чулках.

4

Белокопытовы поселились у Катерины Васильевны Коленкоровой.

Это была простодушная, доброватая бабенция, по странной причине интересующаяся чем угодно, кроме политических событий.

Эта Катерина Васильевна радушно приняла Белокопытовых в свой дом, говоря, что отведет им самую отличную комнату рядом с товарищем Яркиным, заведующим первой государственной хлебопекарней.

И Катерина Васильевна несколько даже торжественно повела их в комнаты.

С каким-то трепетом, вдыхая в себя старый знакомый запах провинциального жилья, Иван Иванович вошел в сенцы, простые и деревян-

ные, с многими дырками в стенах, с глиняным рукомойником в углу на веревке и кучей мусора на полу.

Иван Иванович восторженно прошел через сени, с любопытством рассматривая забытый им глиняный рукомойник, и пошел в комнаты. Ему все сразу понравилось тут — и скрип половиц, и тонкие переборки комнат, и маленькие грязноватые окна, и низенькие потолки. Ему понравилась и комната, хотя, в сущности, комната была неважная и, по мнению автора, даже отвратительная. Но почему-то и сама Нина Осиповна отозвалась о комнате благосклонно, добавив, что для временного жилья это вполне прилично.

Автор приписывает это исключительно усталости приезжих. Автору впоследствии не раз приходилось бывать в этой комнате — более безвкусной обстановки ему не приходилось видеть, хотя автор и сам живет в совершенно плохих условиях, в частном доме, у небогатых людей. Автор при всем своем уважении к приезжим совершенно удивляется их вкусу. Ничего привлекательного в комнате не было. Желтые обои отставали и коробились. Простой кухонный стол, прикрытый клеенкой, несколько стульев, диван и кровать составляли все небогатое имущество

комнаты. Единственным, пожалуй, украшением были оленьи рога, высоко повешенные на стене. Но на одних рогах, к сожалению, далеко не уедешь.

Итак, Белокопытовы временно поселились у Катерины Васильевны Коленкоровой.

Они сразу же повели жизнь тихую и размеренную. Первые дни, никуда не выходя из дому из-за грязи и бездорожья, они сидели в своей комнате, прибирая ее, или восхищаясь оленьими рогами, или делясь своими впечатлениями.

Иван Иванович был весел и шутлив. Он то подбегал к окну, восторгаясь какой-нибудь телкой или глупой курицей, зашедшей поклевать уличную дрянь, то бросался в сени и, как ребенок смеясь, плескался под рукомойником, поливая свои руки то с одного носика, то с другого.

Нина Осиповна, щепетильная, кокетливая особа, не разделяла восторгов по поводу глиняного рукомойника. Она с брезгливой улыбкой говорила, что, во всяком случае, она предпочитает настоящий рукомойник, этакий, знаете ли, с ножкой или с педалью — нажмешь и льется. Впрочем, особой обиды насчет рукомойника Нина Осиповна не высказывала. Напротив, она не раз говорила:

— Если это временно, то я согласна и не сержусь. И за неимением гербовой пишут и на простой.

И, умывшись утром, розовая и свежая, и помолодевшая лет на десять, Нина Осиповна с довольным видом спешила в комнаты и там, надев балетный костюм — этакие, знаете ли, трусики с газовой юбчонкой — танцевала и упражнялась перед зеркалом, грациозно приседая то на одну, то на другую ногу, то на обе враз.

Иван Иванович ласково поглядывал на нее и на ее пустяковые затеи, находя, впрочем, что провинциальный воздух ей положительно благоприятен и что она уже несколько поправилась и пополнела и ноги у ней не такие уж чересчур тонковатые, как были в Берлине.

Утомившись от своих приседаний, Нина Осиповна присаживалась в какое-нибудь кресло, а Иван Иванович, ласково поглаживая ее руку, рассказывал о своей здешней жизни, о том, как одиннадцать лет тому назад он бежал, преследуемый царскими жандармами, и о том, как он провел первые свои годы изгнания. Нина Осиповна расспрашивала мужа, живо интересуясь, сколько он имел денег и какие у него были земли. Ахая и ужасаясь, как это он так быстро и сразу растратил свое состояние, она сердито и резко

выговаривала ему за глупую беспечность и чудачество.

— Ну, как можно! Как можно так швыряться деньгами! — говорила она, сдерживая свое негодование.

Иван Иванович пожимал плечами и старался переменить разговор.

Иногда их беседы прерывала Катерина Васильевна. Она входила в комнату и, остановившись у дверей, покачиваясь из стороны в сторону, рассказывала Белокопытовым о всяких городских переменах и сплетнях.

Иван Иванович с жаром расспрашивал ее о своих дальних родственниках и немногочисленных знакомых и, узнав, что большинство из них умерло за эти годы, а иные, как политические эмигранты, уехали, — качал головой и беспокойно ходил вдоль комнаты, пока Нина Осиповна не брала его за руку и не усаживала на стул, говоря, что своим мельканием перед глазами он действует ей на нервы.

Так проходили первые дни без всяких волнений, тревог и происшествий. И только раз, под вечер, постучав в двери, вошел к ним их сосед, Егор Константинович Яркин, и, познакомившись, долго расспрашивал о заграничной жизни, спро-

сив под конец, не продажный ли у них чемодан, стоявший в углу.

И, узнав, что чемодан не продается, а стоит так себе, Егор Константинович, несколько оскорбившись, ушел из комнаты, молча поклонившись присутствующим.

Нина Осиповна брезгливо смотрела ему вслед, на его широкую фигуру с бычачьей шеей, и печально думала, что вряд ли здесь, в этом провинциальном болоте, можно найти настоящего изысканного мужчину.

5

Итак, жизнь шла своим чередом.

Грязь уже несколько пообсохла, и по улицам взад и вперед стали сновать прохожие, спеша по своим делам или прогуливаясь, луща семечки, хохоча и заглядывая в чужие окна.

Иногда на улицу выходили домашние животные и, пощипывая траву или роя ногами землю, степенно проходили мимо дома, нагуливая весенний жирок.

Высокообразованный, знающий отлично испанский язык и отчасти латынь, Иван Иванович ничуть не беспокоился о своей судьбе, надеясь в ближайшие же дни найти себе соответствующую

должность и тогда перебраться на новую, более приличную квартиру. И, говоря об этом со своей женой, Иван Иванович спокойным тоном объяснял ей, что хотя сейчас у него материальные дела несколько и стесненные, но что в ближайшее время это изменится к лучшему. Нина Осиповна настойчиво просила его возможно поскорей приняться за дело и определить свое положение, и Иван Иванович обещал ей, сказав, что завтра же он это сделает.

Однако первые его шаги не увенчались успехом. Немного обескураженный, он и на другой день пошел в какое-то учреждение, но вернулся грустный и слегка взволнованный. И, пожимая плечами, он оправдывался перед женой, объясняя ей, что это не так-то просто и не так-то сразу дается приличная должность человеку, знающему латинский и испанский языки.

Он каждое утро теперь выходил на поиски службы, но ему отказывали, то ссылаясь на отсутствие соответствующей должности, то на неимение у него служебного стажа.

Впрочем, принимали Ивана Ивановича всюду очень приветливо и внимательно, очень интересовались и расспрашивали о заграница и о возможностях новых мировых потрясений, но,

когда он переходил на дело, качали головами, разводили руками, говоря, что они ничего не могут поделать и что испанский язык — язык очень забавный и редкий, но, к сожалению, потребности в нем не ощущается.

Белокопытов уже перестал говорить о своем испанском языке. Он больше напирал теперь на латынь, зная о ее практическом применении, но и латынь Ивана Ивановича не вывозила. Его выслушивали, интересовались даже, прося для слуха изобразить по-латински стишок или фразу, но практического применения никакого не видели.

Иван Иванович перестал напирать на латынь. Он просил теперь письменной работы, но его расспрашивали, что он умеет и какой у него профессиональный стаж. И, узнав, что Иван Иванович ничего не умеет и нет у него никакого профессионального стажа, обижались, говоря, что им совершенно непонятно, к чему и на что его приспособить.

Кое-где, впрочем, Белокопытову предлагали понаведаться через месяц, не обещая пока ничего существенного.

Иван Иванович Белокопытов приходил теперь домой в мрачном и угнетенном состоянии. Нас-

коро съев жидковатый обед, он заваливался в брюках на постель и, отвернувшись лицом к стене, избегал разговоров и сцен со своей женой.

А она, в своих трусиках и в розовом газе, прыгала, что дура, около зеркала, топоча ногами и закидывая кверху тонковатые свои руки с острыми локтями.

Иногда она пыталась делать сцены, наговаривая кучу всевозможных неприличностей Ивану Ивановичу и возмущаясь тем, что он вывез ее из-за границы на такую бессодержательную жизнь, но Иван Иванович, чувствуя и зная свою вину, отмалчивался. И только однажды сказал, что он ничего не понимает, что он и сам введен в заблуждение насчет испанского языка и насчет всей своей жизни. Он рассчитывал устроиться на приличную должность, но этого не выходит, оттого что он, оказывается, ничего не умеет и ничего не может, и что об этом он еще никогда не задумывался. Он, оказывается, получил глупое и бестолковое воспитание, рассчитанное на богатую, обеспеченную жизнь помещика и домовладельца. И вот теперь, когда у него ничего нету, — он пожинает плоды.

Нина Осиповна заплакала, говоря, что это так не может продолжаться, что должен быть какой-

то конец, что, в конце концов, они задолжали кругом и даже добрейшей своей хозяйке Катерине Васильевне. Тогда, попросив ее не плакать, он предложил ей продать чемодан, хотя бы соседу Егору Константиновичу Яркину.

Она так и сделала. Она лично пошла с чемоданом в комнату Яркина и долго просидела там, вернувшись несколько оживленной с деньгами в руках.

В дальнейшем таких сцен не повторялось. Вернее, Иван Иванович, предчувствуя сцену, надевал шляпу и выходил на улицу. И всякий раз, когда выходил на улицу и проходил через сени, слышал, как его сосед Егор Константинович переговаривается через стенку с женой, предлагая ей кусок хлеба или бутерброд с сыром.

Иван Иванович выходил за ворота, на канаву и стоял там, уныло поглядывая на длинную улицу. Иногда он присаживался на скамейку возле палисадничка и, обняв руками свои колени, сидел неподвижно, с беспокойством поглядывая на прохожих.

Мимо него проходили люди, спеша по своим делам. Какая-нибудь баба с корзинкой или с мешком с любопытством осматривала Ивана Ивановича и шла дальше, оборачиваясь назад

раз десять или пятнадцать. Какие-нибудь мальчонки пробегали мимо него и, высовывая языки или хлопнув сидящего по коленке, стремительно убегали прочь.

Иван Иванович на все это смотрел с печальной усмешкой, в сотый раз думая все об одном и том же — о своей жизни и о жизни других людей, стараясь найти какую-то разницу или какую-то ужасную причину его несчастья.

Иной раз мимо Белокопытова проходили рабочие текстильной фабрики с гармоникой, шутками и песнями. И тогда Белокопытов несколько оживлялся и долго смотрел на них, слушая их веселые, громкие песни, крики и возгласы.

И в такие дни, в дни сидения на канаве, Ивану Ивановичу казалось, что он, пожалуй что, напрасно приехал сюда, в этот город, на эту улицу. Но куда нужно было приехать — он не знал. И еще более обеспокоенный и согнувшийся, он уходил домой, волоча по земле свои ноги.

6

Иван Иванович совершенно упал духом. Его восторженное состояние после приезда сменилось молчаливой тоской и апатией.

Он чувствовал какой-то испуг перед неведо-

мой ему, оказывается, жизнью. Ему казалось теперь, что жизнь — это какая-то смертельная борьба за право существовать на земле. И тогда, в смертельной тоске, чувствуя, что речь идет попросту о продлении его жизни, он выдумывал и выискивал свои способности, свои знания и способы их применения. И, перебирая все, что он знает, он приходил к грустному заключению, что он ничего не знает. Он знает испанский язык, он умеет играть на арфе, он немного знаком с электричеством и умеет, например, провести электрический звонок, но все это здесь, в этом городе, казалось ненужным и для горожан несколько смешным и забавным. Ему не смеялись в лицо, но он видел на лицах улыбки сожаления и хитрые, насмешливые взгляды, и тогда он, съежившись, уходил прочь, стараясь подольше не встречаться с людьми.

По заведенной привычке, он все еще ежедневно и аккуратно выходил на поиски работы. Не торопясь и стараясь идти как можно медленней, он без всякого трепета, как раньше, почти механически высказывал свои просьбы. Ему предлагали зайти через месяц, иногда же просто и коротко отказывали.

Иной раз, приведенный в тупое отчаяние,

Иван Иванович с сердцем упрекал людей, требуя немедленно работу и немедленную помощь, выставляя свои заслуги перед государством и рассказывая историю относительно ильковой шубы, подаренной им ссыльной курсистке.

Целыми днями он таскался теперь по городу и вечером, полуголодный, с гримасой на лице, бродил бесцельно из улицы в улицу, от дома к дому, стараясь оттянуть, отдалить свой приход домой.

Иной раз он проходил через весь город и, не заходя никуда и не останавливаясь, шел все прямо. И, минуя Слободку, выходил в открытое поле, пересекал Собачью рощицу и шел к лесу. Там побродив до сумерек, возвращался домой.

И он входил в свою комнату, закрывая глаза, зная, что налево, у зеркала, в углу сидит неподвижная Нина Осиповна и язвительно или в слезах осматривает его.

Он избегал разговоров, он избегал даже встреч, стараясь пробыть в доме недолго и только ночью.

Но однажды он сам заговорил с женой. Он сказал, что все гибнет, что он отдает себя в руки судьбы, а она, Нина Осиповна, может, если найдет нужным, как угодно распоряжаться его имуществом. Он намекал в данном случае на

оставшийся чемодан и на кой-какие вещи из его заграничных костюмов.

Услышав через тонкую перегородку об этом, в комнату вошел Егор Константинович Яркин и сказал, что он с удовольствием идет навстречу их желаниям, но только от чемодана отказывается категорически.

— Все чемоданы да чемоданы, — сказал Егор Константинович, хмурясь. — Нет ли чего другого продажного?

И, узнав, что есть, он стал рассматривать какие-то вещи и какие-то штаны, поднося их к самым глазам. И, рассматривая на свет, хаял, понижая их достоинство.

Нина Осиповна, оживленная и неизвестно чем взволнованная, шутила с Егор Константиновичем, то хлопая его легонько по руке, то усаживаясь грациозно на ручке кресла и покачивая тонковатой ногой.

Наконец, Егор Константинович, оставив деньги и любезно попрощавшись, ушел, захватив с собой вещи.

Несколько дней после этого прошли спокойно и тихо. Но в конце недели Иван Иванович, выйдя из дому утром, вернулся в полдень совершенно потрясенный и сияющий. Он нашел себе служ-

бу. Он все время искал себе какую-то глупую, интеллигентскую письменную работу, но ведь, оказывается, есть кое-что и другое!

В общем, он встретил на улице своего старинного приятеля, который, участливо расспросив и узнав о сумасшедшем положении Ивана Ивановича, схватился за голову, обдумывая, как бы немедленно и сразу помочь своему другу. Он, несколько конфузясь, сказал, что он может, хотя бы временно, устроить его в один из потребительских кооперативов. Но что это временно, что такому образованному человеку, как Иван Иванович, необходима соответствующая должность.

Иван Иванович с дикой радостью схватился за предложение, говоря, что он заранее согласен в кооператив, что ему положительно по душе эта работа и что он вовсе не захочет каких-то там проблематических перемен. И, условившись обо всем, Иван Иванович опрометью бросился домой. И дома, теребя за руки то Катерину Васильевну, то свою жену, захлебываясь, говорил о своем месте.

Он тотчас и немедленно развил им целую философскую систему о необходимости приспособляться, о прямой и примитивной жизни и о том, что каждый человек, имеющий право жить, непременно обязан, как и всякое живое существо

и как всякий зверь, менять свою шкуру, смотря по времени. Зачем ему какой-то дурацкий интеллигентский труд! Вот чудная профессия, которая даст ему новую радость жизни. Кому надо какой-то испанский язык, какие-то утонченные мозги и так далее.

И, говоря об этом запутанным, ломаным языком, недоговаривая слова и перескакивая с мысли на мысль, он пытался доказать свою теорию. Нина Осиповна слушала его, хлопая ушами, нервно покуривая папиросу за папиросой.

Автор догадывается, что Иван Иванович Белокопытов, слегка запарившись от волнения, говорил о той великой научной теории, о симпатической окраске, о так называемой мимикрии, когда ползущий по стеблю жучок имеет цвет этого стебля для того, чтоб птица не склевала бы его, приняв за хлебную крошку.

Автору все это было ясно и понятно. И автор ничуть не удивляется тому, что Нина Осиповна хлопала ушами, не понимая, о чем идет речь. Автор не слишком-то большого мнения о балетных танцовщицах.

7

Иван Иванович Белокопытов поступил в кооператив «Народное благо».

Иван Иванович вставал теперь чуть свет, надевал свой уже потрепанный костюм и, стараясь не разбудить своей жены, на цыпочках выходил из дому и бежал на службу. Он приходил туда почти всегда первым и стоял у двери по часу и больше, дожидаясь, когда, наконец, придет заведующий и откроет лавку. И, выходя из лавки последним, вместе с самим заведующим, он, торопливо шагая и прыгая через канавы, шел домой, неся в руках какую-нибудь выданную снедь.

Дома, захлебываясь и перебивая самого себя, он говорил жене о том, что эта работа ему совершенно по душе, что лучшего он и не хочет в своей жизни и что быть хотя бы и приказчиком — это не так-то позорно и унизительно и что, наконец, эта работа очень приятная и не так уж трудная.

Нина Осиповна довольно симпатично относилась к этой перемене в жизни Иван Ивановича, говоря, что если это временно, то это совсем не так плохо, как кажется на первый взгляд, и что в дальнейшем они, может быть, даже смогут открыть свой небольшой кооперативчик. И,

развивая эту мысль, Нина Осиповна приходила в совершенный восторг, рисуя себе картину, как они будут торговать сами — он за прилавком, сильный, с засученными рукавами и с топором для рубки мяса, а она, грациозная и слегка напудренная, за кассой. Да, она непременно будет стоять за кассой и, весело улыбаясь покупателям, будет пересчитывать деньги, связывая их в аккуратные пачечки. Она любит пересчитывать деньги. Даже самые грязные деньги все же чище кухонного передника и посуды.

И, думая так, Нина Осиповна хлопала в ладоши, наскоро надевала розовое трико и газ и снова начинала свои дурацкие прыжки и экивоки. А Иван Иванович, утомленный дневной работой, заваливался спать, с нетерпением ожидая утра.

И, вернувшись к вечеру, Иван Иванович снова и опять делился с женой своими впечатлениями за день или смеясь рассказывал ей о том, как он вешал сегодня масло. И что легкий, едва уловимый нажим одного пальца на весы чрезвычайно меняет вес предмета, оставляя кое-что в пользу приказчика.

Нина Осиповна оживлялась в этих местах. Она удивлялась, почему Иван Иванович нажимает одним только пальцем, а не двумя, говоря, что

двумя — это еще больше уменьшит вес масла. При этом страшно жалела, что нельзя вместо масла подсовывать покупателям какую-нибудь светловатую дрянь, вроде глины.

Тогда Иван Иванович поднимал свою жену на смех, упрашивая ее не очень-то вмешиваться в его дела, чтоб не переборщить через край и тем самым не потерять службу. Но Нина Осиповна сердито советовала ему не слишком-то церемониться и не очень-то миндальничать с обстоятельствами. Иван Иванович соглашался. Он с некоторым даже пафосом говорил, что цинизм — это вещь, совершенно необходимая и в жизни нормальная, что без цинизма и жестокости ни один даже зверь не обходится и что, может быть, цинизм и жестокость и есть самые правильные вещи, которые дают право на жизнь. Иван Иванович говорил еще, что он был раньше глупым, сентиментальным щенком, но теперь он возмужал и знает, сколько стоит жизнь, и даже знает, что все, что он раньше считал своим идеалом: жалость, великодушие, нравственность, — все это не стоит ломаного гроша и выеденного куриного яйца. Все это жалкие побрякушки, достойные сентиментальной фальшивой эпохи.

Нина Осиповна не любила его таких отвлечен-

ных философских идей. Она с досадой махала рукой, говоря, что вполне предпочитает не слова, а реальные, видимые факты и деньги.

Так шли дни.

Иван Иванович Белокопытов сделал уже несколько покупок и приобретений. Так, например, он купил несколько глубоких тарелок с синими ободками, две или три кастрюльки и, наконец, примус.

Это было целое торжество, когда Иван Иванович купил примус. Иван Иванович сам распаковал его и сам стал показывать Нине Осиповне, как с ним обращаться и как готовить на нем обед или подогревать мясо.

Иван Иванович стал хозяином и расчетливым человеком. Он чрезвычайно жалел, что за бесценок продал соседу свои заграничные костюмы. Но тут же утешал себя, говоря, что это дело наживное и что в ближайшее время он непременно купит себе хороший, но простой и немаркого цвета, костюм.

Однако костюма Иван Ивановичу купить не удалось.

Однажды, выйдя перед закрытием из лавки и сунув в портфель два фунта стеариновых свечей и кусок мыла, Иван Иванович пошел через двор

к выходу.

В воротах его окликнул охранник, приказав ему остановиться и показать содержимое портфеля.

Весь как-то сразу осунувшись, Иван Иванович стоял молча и глядел на охранника, не двигаясь с места. А охранник, сказав, что получен строжайший приказ не выпускать со двора без обыска, повторил свое требование.

Иван Иванович стоял совершенно ошеломленный, с трудом понимая, что происходит. Он позволил открыть свой портфель, откуда, при радостных криках собравшихся, были извлечены злополучные свечи и мыло.

Белокопытова пригласили в охрану, отобрали свечи, сняли с него допрос и, составив убийственный для него протокол, отпустили его, смеясь над его забавным видом, над его фигурой с прижатым к груди пустым и расстегнутым портфелем.

Все произошло настолько быстро и неожиданно, что Иван Иванович, не представляя ясно своего положения, вышел пошатываясь на улицу. Он пошел сначала по направлению к дому, затем, не дойдя улицы Сен-Жюста, повернул налево и пошел как-то странно, не шевеля руками и не ворочая головой.

Он обошел несколько кварталов, посидел на

какой-то лавчонке и поздно ночью вернулся домой.

Он вошел в дом, как слепой шаря перед собой руками, и, войдя в комнату, лег на постель, и, отвернувшись к стене, принялся водить пальцами по узорам обоев.

Он ни слова не проронил своей жене. И та ничего не спрашивала, узнав заранее обо всем. Эту новость сообщил ей Егор Константинович, придя домой после службы.

И теперь, несмотря на присутствие Белокопытова, Егор Константинович, постучав слегка в стену, спросил Нину Осиповну, не нужно ли ей чего и не хочет ли она выкушать стакан чаю с бутербродом.

Нина Осиповна, не глядя на мужа, грудным, мелодичным тоном отвечала, что она сыта по горло и сейчас ложится спать. Егор Константинович еще что-то спросил, предупредительно и вежливо, но она, раздеваясь и зевая, сказала, что спит.

И она действительно легла на диван и, закрыв лицо руками, лежала так неподвижно и странно. Иван Иванович приподнялся, чтобы потушить свет, но, взглянув на диван, сел и долго смотрел на жену. И ему показалось, что у нее отчаянное состояние, что она близка к гибели. И он хотел

подойти к жене, стать на колени и что-то говорить бодрым и спокойным тоном. Но не смел.

8

Он лежал, вытянувшись вдоль кровати, стараясь не двигаться и ни о чем не думать. Но думал, и не о случившемся сегодня, а о своей жене, о печальной ее жизни и о том, что не все люди имеют право существовать.

С этими мыслями он стал засыпать. Какая-то страшная усталость сковала его ноги, и какая-то тяжесть легла на все его тело.

И, закрыв глаза, он замер. Дыхание его стало ровное и спокойное.

Но вдруг осторожное шарканье ног и скрип двери заставил его вздрогнуть и проснуться.

Он проснулся, вздрогнув всем телом. Присел на кровать и беспокойно оглядел комнату. Небольшая керосиновая лампа еле горела, скудно отбрасывая длинные тени. Иван Иванович оглянулся на диван — жены не было.

Тогда, беспокоясь и волнуясь за нее, он вскочил на ноги и прошел по комнате, осторожно ступая на носки.

Потом подбежал к двери, открыл ее и в испуге, в предутренней дрожи стуча зубами, бросился в

коридор. Он выбежал в кухню, заглянул в сени — все было тихо и спокойно. Только курица в сенях, вспугнутая Иваном Ивановичем, шарахнулась в сторону, страшно закричав.

Белокопытов вернулся в кухню. Сонная Катерина Васильевна сидела теперь на кровати, зевая и мелко крестя свой рот. Она вместе с тем прислушивалась к необычайному шуму. И, увидя перед собой Ивана Ивановича, спокойно улеглась, думая, что он идет за нуждой.

Но Иван Иванович, подойдя к хозяйке, стал теребить ее за руку, умоляя ответить, не проходила ли через кухню его жена.

Крестясь и разводя руками, Катерина Васильевна отговаривалась незнанием. Потом она стала надевать на себя юбку, говоря, что если Нина Осиповна и ушла, то небось вернется.

Но потом, одевшись и подойдя к запертой двери жильца Яркина, Катерина Васильевна сказала, что жена Ивана Ивановича дома. И если нету ее в комнате, то небось сидит у соседа.

И, поманив Белокопытова пальцем, повела его в коридор и, подойдя к дверям Яркина, припала к замочной скважине.

Иван Иванович тоже хотел подойти к двери, но в эту минуту пол под ним скрипнул, и в комнате

соседа завозились. И сам Егор Константинович, шлепая босыми ногами, подойдя к двери, спросил хрипло:

— Кто? Чего надо?

Иван Иванович хотел промолчать, но сказал:

— Это я… Не у вас ли Нина Осиповна Арбузова?

— У меня, — грубо сказал Яркин. — Чего надо?

И, не получив ответа, взялся за ручку двери.

В комнате послышался прерывистый шепот. Нина Осиповна настойчиво умоляла отдать ей какой-то револьвер, говоря, что все обойдется благополучно. Потом сама, подойдя ближе к двери и взявшись за ручку, спросила негромко:

— Ваня… ты?

Иван Иванович съежился и, пробормотав неясное, удалился в свою комнату. И там присел на кровать.

Автор предполагает, что особенного отчаяния у Ивана Ивановича не было. А если Иван Иванович и присел на кровать с видимым отчаянием, то, может, это только в первую минуту. Потом-то, раздумав, он, наверное, даже обрадовался. Автору кажется, что Иван Иванович и не мог не обрадоваться. Страшная обуза сошла с его плеч. Все-таки приходилось беспокоиться о жизни Нины Осиповны, всякие для нее удовольствия,

театры и лучший кусок хлеба он должен был предоставлять ей. А теперь, когда жизнь Ивана Ивановича сильно ухудшилась, то и прокормить такую дамочку вопрос был немаловажный. Тем более, что, напрыгавшись за день перед зеркалом, она и за двоих съедала.

Так вот, посидев на кровати и придя к заключению, что нет ничего ужасного, Иван Иванович снова лег и пролежал до утра, не смыкая глаз. Он ни о чем не думал, но его голова гудела и наливалась свинцом.

И, когда он встал, — это был несколько иной Иван Иванович. Впалые глаза, желтая, сморщенная кожа и трепаные волосы чрезвычайно его изменили. И даже когда он вымылся холодной водой, эта перемена не исчезла.

Утром, одевшись и по привычке причесав волосы, Иван Иванович вышел из дому. Он медленным шагом дошел до кооператива, но, вдруг повернув круто в сторону и вздрогнув, зашагал прочь.

Он долго шел унылым механическим шагом и, выйдя за город, направился на свое любимое место к лесу, за Собачью рощицу.

Он прошел рощу, ступая на желтые осенние листья, и вышел на полянку.

Вся полянка была изрыта старыми, оставшимися от войны окопчиками, землянками и блиндажами. Ржавая колючая проволока висела клочками на небольших кольях.

Иван Иванович любил это место. Он не раз бродил здесь по окопчикам, лежал у опушки леса и, глядя на все эти военные затеи, хитро улыбался своим мыслям. Но теперь он несколько равнодушно, и как бы не замечая ничего, прошел мимо и, дойдя до леса, присел на полузаваленную землянку, вырытую лет, может, семь назад.

Он долго сидел так, ни о чем не думая, потом пошел дальше, потом снова вернулся и лег на траву. И лежал долго, уткнувшись ничком, теребя руками траву. Потом снова встал и пошел в город.

Была ранняя осень. Желтые листья лежали на земле. И земля была теплая и сухая.

9

Иван Иванович стал жить один.

Возвращаясь после скитаний домой и с грустью оглядывая свое опустевшее жилье, Иван Иванович присаживался на кровать, обдумывая, какие вещи исчезли из комнаты вместе с Ниной Осиповной. Таких вещей оказалось порядочно: не было примуса, купленного в счастливые дни, не

было скатерти на столе, даже было снято и унесено зеркало и небольшой коврик перед кроватью.

Иван Иванович не очень-то огорчался о потере этих вещей. «Черт с ними!» — думал добрый Иван Иванович, прислушиваясь, что говорили за стенкой.

Но за стенкой говорили постоянно шепотом, и слов нельзя было разобрать. Только время от времени были слышны басовые нотки Егора Константиновича. Это Егор Константинович, видимо, утешал Нину Осиповну, боявшуюся за свое новое благополучие и за те вещи, которые она взяла, не спросив мужа.

Но Ивану Ивановичу теперь было не до вещей. Он каждое утро направлялся за город, шел через рощицу и, миновав полянку, выходил к лесу.

Там, присаживаясь на свою землянку или бродя по лесу, он обдумывал свое новое положение. Он старался одной какой-то мыслью определить то, что случилось, что произошло и отчего произошло.

Ушла жена. И она не могла не уйти. Он — человек из прошлого мира. Он оказался неприспособленным к борьбе. А женщины идут за победителем. Ну, что же, теперь все это ясно, теперь уже ничто не спасет его от неминуемой

гибели.

Гибель была предрешена — это он знал, но в силу какой-то воли он старался найти выход и хотя бы теоретически придумать возможность выхода, возможность продлить свое существование. Он не хотел смерти. Напротив, задумываясь об этом, он с досадой отгонял эту мысль, считая ее вздорной и ему ненужной. И старался в такие моменты думать о другом.

И, бродя по лесу, Иван Иванович думал, что отчего бы ему не остаться здесь жить. Ему уже рисовались картины, как он живет в полузаваленной землянке, среди грязи и нечистот, и как ползком, как животное, на четвереньках вылезает из своей норы и отыскивает пищу.

Но потом смеялся.

Он теперь не всякий вечер уходил домой. Он оставался иногда в лесу. И, полуголодный, поедая сырые грибы, корни и ягоды, засыпал под каким-нибудь деревом, положив под голову свои руки.

А во время дождя он вползал в землянку. И сидел в землянке, скорчившись и обняв худые свои ноги, слушая, как капли дождя колотят о деревья.

10

Была осень. Шли непрерывные дожди. Снова невозможно было выходить без галош. И снова грязь доходила до колен.

Нина Осиповна жила с Егором Константиновичем Яркиным беспечно и тихо. Ей пришлось отложить свои упражнения в танцах. Она была беременна, и Егор Константинович, узнав об этом, боясь за потомство, категорически запретил ей наряжаться в розовую дрянь, грозя, в противном случае, сжечь в печке эти тряпки. И Нина Осиповна, покапризничав и слегка поплакав, смирилась и сидела теперь подле окна, безучастно глядя на грязную улицу. Но иной раз она спрашивала у Яркина, не знает ли он чего об ее муже. Егор Константинович усмехался и махал рукой, прося ради будущего ребенка не думать о муже.

И Нина Осиповна умолкала, думая все же, отчего это все реже и реже она слышит шаги в соседней комнате.

И, действительно, Иван Иванович все реже стал ходить домой, и когда ходил, то избегал встреч с людьми, а встречая, очень конфузился и перебегал улицу, стараясь скрыть свой промокший, побуревший костюм.

Иван Иванович не входил даже теперь в свою комнату. И, приходя домой, останавливался в сенях и молча здоровался с Катериной Васильевной, всякий раз боясь, что она заорет, затопает ногами и погонит его прочь. Но Катерина Васильевна, не скрывая своего удивления и жалости и почему-то не зовя его хотя бы в кухню, выносила ему в сени хлеб, суп или все, что осталось от обеда. И, не сдерживая своих слез, плакала, смотря, как Иван Иванович худыми, серыми пальцами разрывал еду и проглатывал, чмокая и скрипя зубами.

И, съев все, что ему приносилось, и схватив с собой кусок хлеба, Иван Иванович трогал за рукав Катерину Васильевну и убегал снова.

Он снова возвращался в свою землянку. И снова садился в обычную свою позу, кашляя и сплевывая на свой костюм.

Но он не был сумасшедший, этот Иван Иванович Белокопытов. Автору доподлинно известна его встреча с одним из старых приятелей. Иван Иванович вполне разумно и несколько даже иронически говорил о своей жизни. И, потрясая лохмотьями своего заграничного костюма, громко смеялся, говоря, что все это вздор, что все слезает с человека, как осенью шкура жи-

вотного.

И, попрощавшись с приятелем, крепко пожав ему руку, пошел к своей землянке.

Странно и непонятно жил теперь Иван Иванович. Стараясь ни о чем не думать, а жить так, как-нибудь, чтобы прожить, он все же, видимо, не мог не думать и все время носился со своими планами о жизни, приходя к заключению, что жить в землянке не так-то уж плохо, но что из всех животных он самое плохое животное, у которого хронический бронхит и насморк. И, думая так, Иван Иванович печально покачивал головой.

Ему теперь все чаще и чаще приходила мысль о неминуемой гибели, но он по-прежнему с раздражением отвергал мысль о самоубийстве. Ему казалось, что нет у него на это ни воли, ни охоты и что ни одно животное никогда еще не погибало от самого себя.

Была ли в этом слабая воля Ивана Ивановича, или была какая-то неопределенная надежда — неизвестно. Во всяком случае, однажды и неожиданно Иван Иванович придумал план, по которому он должен погибнуть, не прибегая к насилию над собой.

Это было утром. Осеннее солнце еще было ниже деревьев, когда Иван Иванович, вздрогнув,

проснулся в своей землянке. Страшная сырость, дрожь и озноб охватили все его тело. Он проснулся, открыл глаза и вдруг совершенно отчетливо подумал о своей гибели. Ему показалось, что сегодня он должен погибнуть. Как и отчего — он еще не знал. И стал думать. И вдруг решил, что должен погибнуть, как зверь, в какой-то отчаянной схватке.

В его воображении стали рисоваться картины этой схватки. Он борется с человеком, хотя бы с Егором Константиновичем, к которому ушла жена. Они грызутся зубами, валяются по земле, подминают под себя друг друга, рвут волосы…

Иван Иванович окончательно проснулся и, дрожа всем телом, сел на землю. И осторожно, мысль за мыслью стал обдумывать, стараясь не пропустить ни одной мелочи.

Вот он приходит в комнату. Отворяет дверь. Яркин, непременно, сидит за столом направо. У окна будет сидеть Нина Осиповна, сложив на животе руки. Иван Иванович подойдет к Яркину и пихнет его двумя руками в плечо и грудь. Тот откинется назад, стукнется головой о стену, потом вскочит и, вынув револьвер, застрелит его — Ивана Ивановича Белокопытова.

И, придумав такой план, Иван Иванович вско-

чил на ноги, но, ударившись головой о потолок, сел и пополз из землянки.

И спокойным, ровным шагом пошел в город, обдумывая мелочи. Потом, желая закончить все скорей и разом, бросился опрометью бежать, вскидывая ногами и разбрасывая вокруг себя грязь, листья и брызги.

Он долго бежал. Почти до самого дома. И, только увидев дом, замедлил шаг и пошел совсем тихо.

Какая-то белая собачонка равнодушно залаяла на него.

Нагнувшись и подняв с земли камень, Иван Иванович метко бросил в нее.

Собака с визгом отбежала за ворота и, высунув морду в калитку, отчаянно залаяла, скаля зубы.

Схватив кусок грязи, Иван Иванович бросил в собаку опять. Потом бросил еще раз. Потом подошел к воротам и принялся дразнить животное ногой, подпрыгивая и стараясь попасть по зубам.

Какое-то бешенство, испуг овладели собакою. Она в смертельном страхе скулила уже, поднимая верхнюю губу и стараясь ухватить человека за ногу. Но Иван Иванович ловко и вовремя отдергивал ногу и бил собаку рукой и грязью.

Бабка Пепелюха, как ошпаренная кипятком, выскочила из дому, подбирая самые ужасные и

яростные выражения для гнусных мальчишек, дразнивших ее пса. Но, увидев большого, лохматого человека, разинула рот, сказав сначала, что довольно стыдно сознательным гражданам дразнить собак. Но снова смолкла и, разинув рот, остановилась неподвижная, глядя на удивительную сцену.

Иван Иванович, стоя теперь на коленях, боролся с собакой, пытаясь руками разорвать ей пасть. Собака судорожно хрипела, раскидывая и царапая землю ногами.

Тетка Пепелюха, страшно и тонко закричав, бросилась к Ивану Ивановичу и, еле вырвав у него собаку, убежала в дом.

А Иван Иванович, обтерев искусанные свои руки, медленным и тяжелым шагом пошел дальше.

Автору несколько странно и чудно говорить об этом происшествии. Автор даже слегка огорчен поступком Ивана Ивановича. Конечно, автор ничуть не жалеет пепелюхиной собаки, пес с ней, с собакой, автор только огорчается той неясностью и нелепостью поступка и положительно не знает — в тот момент зашел ли у Ивана Ивановича ум за разум, или ум за разум не заходил, а была просто игра, случайность, крайнее раздражение

нервов. Впрочем, все это крайне неясно и психологически непонятно.

И такая неясность, уважаемые читатели, к знакомому лицу и к известному характеру! А хорош был бы автор, спутавшись с неизвестным героем! Заврался бы вконец! Тем более что очень уж разноречивые были на этот счет слухи.

Тетка Пепелюха, например, крестилась и божилась, что Иван Иванович был совершенно тронувшись, что у него висел язык и изо рта слюни текли. Катерина Васильевна, не менее набожная дамочка, тоже была близка к той же мысли. Однако станционный сторож и герой труда Еремеич утверждал обратное. Он говорил, что Иван Иванович Белокопытов здоров как бык и что больных и свихнувшихся обыкновенно сажают в специальные дома. Егор Константинович Яркин тоже был уверен в полном уме и твердой памяти Белокопытова. Что же касается уважаемого товарища Ситникова, то Ситников не брался что-либо утверждать, говоря, что он может, в случае крайней надобности, списаться с одним московским психиатром. Но это длинно и неверно. Пока товарищ Ситников напишет, да пока московский психиатр раскачается с ответом, да небось ответит еще выпивший, и даром

что московский психиатр, а такую галиматью понесет, что вставишь ее в печать, а после поди доказывай, что ты ни при чем тут. Лучше уж, оставив все это на совести самих читателей, автор перейдет к дальнейшему.

11

Иван Иванович отер свои руки о костюм и пошел к дому. Кровь медленно стекала с обкусанных собакой пальцев, но Иван Иванович, ничего не замечая и не чувствуя боли, подходил к дому.

Он остановился на мгновение у калитки и, оглянувшись назад, шмыгнул во двор. Потом вбежал по ступенькам и, приоткрыв двери, тихо вошел в сени.

Странный трепет прошел по его телу. Сердце стучало, и дыхание было прерывистым.

Он постоял в сенях и, никем не замеченный, вошел в коридор. И там, на скрипучих досках, подойдя к двери Яркина, остановился, прислушиваясь.

Было, как и всегда, тихо.

Иван Иванович вдруг толкнул от себя дверь и, открыв ее настежь, вошел за порог.

Все было, как и думал Иван Иванович. Направо у стола сидел Яркин. Налево, у окна, в кресле, сло-

жив на животе руки, сидела Нина Осиповна. На столе стояли стаканы. Лежал хлеб. И на шипящем примусе кипел чайник.

Каким-то одним взглядом Иван Иванович впитал в себя все это и, продолжая неподвижно стоять, взглянул на свою жену.

Она тихо ахнула, увидев его, и приподнялась в кресле. А Егор Константинович замахал на нее руками, упрашивая не беспокоиться ради ребенка. Потом, приподнявшись, чтобы пойти навстречу гостю, остановился и снова сел, рукой приглашая войти в комнату и прикрыть дверь, не остужая зря помещения.

И Иван Иванович вошел. Слегка потупив голову и приподняв плечи, он подошел к сидящему Егору Константиновичу и остановился в двух шагах от него. Смертельная бледность вдруг покрыла лицо Егор Константиновича. Он сидел на стуле, несколько откинувшись назад, и, шевеля губами, не двигался с места.

Иван Иванович несколько секунд стоял молча. Потом, быстро взглянув на Яркина, на то место, куда он должен был ударить, вдруг усмехнулся и, отойдя несколько в сторону, присел на стул.

Егор Константинович выпрямился на своем месте и глядел теперь на Белокопытова серди-

тым, злым взглядом. А Иван Иванович сидел, опустив руки плетью, и невидимым взором глядел в одну точку. И думал, что у него нету ни злобы, ни ненависти к этому человеку. Он не мог и не хотел к нему подойти и ударить. И сидел на стуле и чувствовал себя усталым и нездоровым. И ему ничего не хотелось. Ему хотелось выпить горячего чаю.

И, думая так, он взглянул на примус, на чайник на примусе, на хлеб, нарезанный ломтиками. Крышка на чайнике приподнималась, пар валил клубом, и вода с шипением обливала примус.

Егор Константинович встал и загасил огонь.

И тогда в комнате наступила совершенная тишина.

Нина Осиповна, увидев, что Иван Иванович пристальным взором смотрит на примус, снова приподнялась в своем кресле и жалобным тоном, скорбно сжав губы, стала уверять, что она вовсе не хотела зажилить этот несчастный примус, что она взяла его временно, зная, что Иван Иванович в нем не нуждается.

Но Егор Константинович, замахав на нее руками и прося не волноваться, ровным, спокойным голосом стал говорить, что он ни за что не возьмет даром этой штуки, что завтра же он заплатит

Ивану Ивановичу полностью все деньги по рыночной стоимости.

— Я заплатил бы вам и сегодня, — сказал Егор Константинович, — но я должен разменять деньги. Завтра вы обязательно зайдите утром же.

— Хорошо, — коротко сказал Иван Иванович. — Я зайду.

И вдруг, забеспокоившись и заерзав на стуле, Иван Иванович обернулся к своей жене и сказал, что он просит его извинить, что он очень устал и потому сидит на стуле такой грязный.

Она закивала головой, волнуясь и скорбно сжимая губы. И, снова приподнявшись на стуле, сказала:

— Ты, Ваня, не сердись…

— Я не сержусь, — просто ответил Иван Иванович.

И встал. Шагнул к жене, потом поклонился и молча вышел из комнаты, тихо притворив за собой дверь.

Он вышел в коридор. Постоял с минуту. И пошел к выходу.

В кухне его ожидала Катерина Васильевна. Почему-то знаками и боясь проронить слово, она манила его, приглашая жестами присесть и покушать супу. И Иван Иванович, почему-то тоже

не проронив слова, молча покачал головой и, улыбнувшись и погладив хозяйке руку, вышел.

С криком выбежала Катерина Васильевна за ним, но Иван Иванович, обернувшись и махнув рукой, прося этим не идти за ним, скрылся за воротами.

12

На другой день Иван Иванович за деньгами не зашел. Он исчез из города.

Егор Константинович Яркин лично, с деньгами в руках, обегал все улицы, все учреждения, отыскивая Ивана Ивановича. Егор Константинович говорил, что он совершенно тут ни при чем, что деньги за примус — вот они, деньги, — что он вовсе не желает пользоваться чужим добром и что если он не найдет Иван Ивановича, то пожертвует эти деньги на детский дом.

Егор Константинович бегал даже на полянку, за Собачью рощицу, но Ивана Ивановича не нашел.

Как зверь, которому неловко после смерти оставить на виду свое тело, Иван Иванович бесследно исчез из города.

Товарищ Петр Павлович Ситников и сторож, герой труда Еремеич в один голос утверждали, что видели, будто Иван Иванович Белокопытов

вскочил на отходящий поезд. Но зачем он вскочил и куда он уехал — никому не известно. Никто и никогда о нем больше не слышал.

13

Была прелестная весна.

Снег уже стаял. И птицы снова приветствовали свой новый год. В один из таких дней Нина Осиповна Арбузова разрешилась от бремени, подарив миру прекрасного мальчишку в восемь с половиной фунтов.

Егор Константинович был необыкновенно счастлив и доволен.

Деньги же за примус, двенадцать рублей золотом, он пожертвовал на детский дом.

Страшная ночь

1

Пишешь, пишешь, а для чего пишешь — неизвестно.

Читатель небось усмехнется тут. А деньги, — скажет. — Деньги-то, — скажет, — курицын сын, получаешь? До чего, — скажет, — жиреют люди.

Эх, уважаемый читатель! А что такое деньги? Ну, получишь деньги, ну, дров купишь, ну, жене приобретешь какие-нибудь там боты. Только и всего. Нету в деньгах ни душевного успокоения, ни мировой идеи.

А впрочем, если и этот мелкий, корыстный расчет откинуть, то автор и совсем расплевался бы со всей литературой. Бросил бы писать. И ручку с пером сломал бы к чертовой бабушке.

В самом деле.

Читатель пошел какой-то отчаянный. Накидывается он на любовные французские и американские романы, а русскую современную литературу и в руки не берет. Ему, видите ли, в книге охота увидеть этакий стремительный полет фантазии, этакий сюжет, черт его знает какой.

А где же все это взять?

Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действительность не такая?

А что до революции, то опять-таки тут запятая. Стремительность тут есть. И есть величественная, грандиозная фантазия. А попробуй ее написать. Скажут — неверно. Неправильно, скажут. Научного, скажут, подхода нет к вопросу. Идеология, скажут, не ахти какая.

А где взять этот подход? Где взять, я спрашиваю, этот научный подход и идеологию, если автор родился в мелкобуржуазной семье и если он до сих пор еще не может подавить в себе мещанских корыстных интересов к деньгам, к цветам, к занавескам и к мягким креслам?

Эх, уважаемый читатель! Беда как неинтересно быть русским писателем.

Иностранец, тот напишет — ему как с гуся вода. Он тебе и про луну напишет, и стремительность фантазии пустит, и про диких зверей наплетет, и на луну своего героя пошлет в ядре в какомнибудь…

И ничего.

А попробуй у нас, сунься с этим в литературу. Попробуй, скажем, в ядре нашего техника Курицына, Бориса Петровича, послать на луну.

Засмеют. Оскорбятся. Эва, скажут, наплел, собака!.. Разве это, скажут, возможно! Вот и пишешь с полным сознанием своей отсталости.

А что слава, то что ж слава? Если о славе думать, то опять-таки какая слава? Опять-таки неизвестно, как еще потомки взглянут на наши сочинения и какой фазой земля повернется в геологическом смысле.

Вот автор недавно прочел у немецкого философа, будто вся-то наша жизнь и весь расцвет нашей культуры есть не что иное, как междуледниковый период.

Автор признается: трепет прошел по его телу после прочтения.

В самом деле. Представь себе, читатель… На минуту отойди от своих повседневных забот и представь такую картину: до нас существовала какая-то жизнь и какая-то высокая культура, и после она стерлась. А теперь опять расцвет, и опять совершенно все сотрется. Нас-то, может быть, это и не заденет, а все равно досадное чувство чего-то проходящего, невечного и случайного и постоянно меняющегося, заставляет снова и снова подумать совершенно заново о собственной жизни.

Ты вот, скажем, рукопись написал, с одной

орфографией вконец намучился, не говоря уж про стиль, а, скажем, через пятьсот лет мамонт какой-нибудь наступит ножищей на твою рукопись, ковырнет ее клыком, понюхает и отбросит, как несъедобную дрянь.

Вот и выходит, что ни в чем нет тебе утешенья. Ни в деньгах, ни в славе, ни в почестях. И вдобавок жизнь какая-то смешная. Какая-то очень она небогатая.

Вот выйдешь, например, в поле, за город… Домишко какой-нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коровенка стоит этакая скучная до слез… Бок в навозе у ней… Хвостом треплет… Жует… Баба этакая в сером трикотажном платке сидит. Делает что-то руками. Петух ходит. Кругом бедно, грязно, некультурно…

Ох, до чего скучно это видеть!

И подходит, скажем, к бабе этакий русый, вроде ходячего растения, мужик. Подойдет он, посмотрит светлыми глазами, вроде стекляшек, — чего это баба делает? Икнет, почешет ногу об ногу, зевнет. «Эх, — скажет, — спать, что ли, ча пойти. Скушно чтой-то…» И пойдет спать.

А вы говорите: подайте стремительность фантазии.

Эх, господа, господа товарищи! Да откуда ее

взять? Как ее приспособить к этой деревенской действительности? Скажите! Сделайте такую милость, такое великое одолжение. И рады бы, так сказать, раздуть кадило, да не с чего.

А если в город, опять-таки, пойти, где светят фонари светлым светом, где граждане в полном сознании своего человеческого величия ходят взад и вперед — опять-таки не всегда можно увидеть эту стремительность фантазии.

Ну, ходят.

А пойди, читатель, попробуй, потрудись, пойди за тем человеком — чаще всего ерунда выйдет.

Идет; оказывается, в долг призанять три рубля денег или на любовное свидание он идет. Ну что это такое!

Придет, сядет напротив своей дамы, что-нибудь скажет ей про любовь, а может, и ничего не скажет, а просто положит руку свою на дамское колено и в глаза посмотрит.

Или придет человек посидеть у хозяина. Выкушает стаканчик чаю, посмотрится в самовар — мол, рожа какая кривая, усмехнется про себя, на скатерть варенье капнет и уйдет. Шапку напялит набок и уйдет.

А спроси его, сукинова сына, зачем он приходил, какая в этом мировая идея или польза для

человечества — он и сам не знает.

Конечно, в данном случае, в этой скучной картине городской жизни автор берет людей мелких, ничтожных, себе подобных и отнюдь не государственных деятелей или, скажем, работников просвещения, которые действительно ходят по городу по важным общественным делам и обстоятельствам.

Этих людей автор никак не имел в виду, когда говорил про дамские, например, колени или просто как рожей в самовар смотрятся. Вот эти, действительно, может быть, чего-нибудь думают, страдают, заботятся. Хотят, может быть, чтоб другим поинтереснее жилось. И, может быть, мечтают, чтоб этой стремительности фантазии было побольше.

Автор, заранее забегая вперед, дает эту отповедь зарвавшимся критикам, которые явно из озорничества попытаются уличить автора в искажении провинциальной действительности и в нежелании видеть положительных сторон.

Действительность мы не искажаем. Нам за это денег не платят, уважаемые товарищи.

А что видим то, чего бывает, то это абсолютный факт.

Автор вот знал одного такого городского чело-

века. Жил он тихо, как и все почти живут. Пил и ел, и даме своей на колени руки клал, и в очи ей глядел, и вареньем на скатерть капал, и три рубля денег в долг без отдачи занимал.

Об этом человеке автор и напишет свою очень короткую повесть. А может быть, эта повесть будет и не о человеке, а о том глупом и ничтожном приключении, за которое человек, в порядке принудительного взыскания, пострадал на двадцать пять рублей. Это случилось весьма недавно — в августе 1923 года.

Фантазией разбавлять этот случай? Создавать занимательную марьяжную интрижку вокруг него? Нет! Пущай французы про это пишут, а мы потихоньку, а мы помаленьку, мы вровень с русской действительностью.

А веселого читателя, который ищет бойкий и стремительный полет фантазии и который ждет пикантных подробностей и происшествий, автор с легким сердцем отсылает к иностранным авторам.

2

Эта короткая повесть начинается с полного и подробного описания всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

По профессии своей Котофеев был музыкант. Он играл в симфоническом оркестре на музыкальном треугольнике.

Может быть, и существует особое, специальное название этого инструмента — автор не знает, во всяком случае читателю, наверное, приходилось видеть в самой глубине оркестра вправо — сутулого какого-нибудь человека с несколько отвисшей челюстью перед небольшим железным треугольником. Человек этот меланхолически позвякивает в свой нехитрый инструмент в нужных местах. Обычно дирижер подмигивает для этой цели правым глазом.

Странные и удивительные бывают профессии.

Такие бывают профессии, что ужас берет, как это человек до них доходит. Как это, скажем, человек додумался по канату ходить, или носом свистеть, или позвякивать в треугольник.

Но автор не смеется над своим героем. Нет. Борис Иванович Котофеев был отличного сердца человек, неглупый и со средним образованием.

Жил Борис Иванович не в самом городе, а жил он в предместье, так сказать, на лоне природы.

Природа была не ахти какая замечательная, однако — небольшие сады у каждого дома, трава, и канавы, и деревянные скамейки, усыпанные

шелухой подсолнухов, — все это делало вид привлекательным и приятным.

Весной же было здесь совершенно очаровательно.

Борис Иванович жил на Заднем проспекте у Лукерьи Блохиной.

Представьте себе, читатель, небольшой деревянный, желтой окраски дом, низенький шаткий забор, широкие желтоватые кривые ворота. Двор. На дворе по правую руку небольшой сарай. Грабля с поломанными зубьями, стоящая здесь со времен Екатерины II. Колесо от телеги. Камень посреди двора. Крыльцо с оторванной нижней ступенькой.

А войдешь на крыльцо — дверь, обитая рогожей. Сенцы этакие, небольшие, полутемные, с зеленой бочкой в углу. На бочке досточка. На досточке ковшик.

Ватер с тонкой, в три доски, дверью. На двери деревянная вертушечка. Небольшая стекляшка заместо окна. Паутина на ней.

Ах, знакомая и сладкая сердцу картина!

Все это было как-то прелестно. Прелестно тихой, скучной, безмятежной жизнью. И оторванная даже ступенька у крыльца, несмотря на свой невыносимо скучный вид, — и теперь приводит

автора в тихое созерцательное настроение.

А Борис Иванович всякий раз, вступая на крыльцо, отплевывался с омерзением в сторону и покачивал головой, глядя на обломанную корявую ступеньку.

Пятнадцать лет назад Борис Иванович Котофеев впервые ступил на это крыльцо и впервые перешагнул порог этого дома. И здесь он остался. Он женился на своей хозяйке, на Лукерье Петровне Блохиной. И стал полновластным хозяином всего этого имения.

И колесо, и сарай, и грабли, и камень — все стало его неотъемлемой собственностью.

Лукерья Петровна с беспокойной усмешкой глядела на то, как Борис Иванович становился всего этого хозяином.

И под сердитую руку она, всякий раз, не забывала прикрикнуть и одернуть Котофеева, говоря, что сам-то он нищий, без кола — без двора, осчастливленный ее многими милостями.

Борис Иванович хотя и огорчался, но молчал.

Он полюбил этот дом. И двор с камнем полюбил. Он полюбил жить здесь за эти пятнадцать лет.

Вот, бывают такие люди, о которых можно в десять минут рассказать всю ихнюю жизнь, всю обстановку жизни, от первого бессмысленного

крика до последних дней.

Автор попробует это сделать. Автор попробует очень коротко, в десять минут, но все-таки со всеми подробностями, рассказать о всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

А, впрочем, и рассказывать нечего.

Тихо и покойно текла его жизнь.

И если всю эту жизнь разбить на какие-то периоды, то вся жизнь распадется на пять или шесть небольших частей.

Вот Борис Иванович, окончив реальное училище, вступает в жизнь. Вот он музыкант. В оркестре играет. Вот его роман с хористкой. Женитьба на своей хозяйке. Война. Потом революция. А перед этим — пожар местечка.

Все было просто и понятно. И ничто не вызывало никакого сомнения. А главное, все это казалось не случайным. Все это казалось таким, как должно быть и как это бывает у людей, согласно, так сказать, начертанию истории.

Даже революция, сначала крайне смутившая Бориса Ивановича, после оказалась простой и ясной в своей твердой установке на определенные, отличные и вполне реальные идеи.

А все остальное — выбор профессии, дружба, женитьба, война, — все это представлялось не

случайной игрой судьбы, а чем-то необычайно солидным, твердым и безоговорочным.

Единственно, пожалуй, любовное приключение несколько разбивало стройную систему крепкой и не случайной жизни. Здесь дело обстояло несколько сложней. Тут Борис Иванович допускал, что это был случайный эпизод, который мог бы и не быть в его жизни. Дело в том, что Борис Иванович Котофеев, в начале своей музыкальной карьеры, сошелся с хористкой из городского театра. Это была юная, опрятная блондинка с неопределенными, светлыми глазами.

Сам Борис Иванович был довольно красивый еще, двадцатидвухлетний юноша. Единственно, пожалуй, несколько портила его — отвисшая нижняя челюсть. Она придавала лицу скучное, растерянное выражение. Однако пышные стоячие усики в достаточной мере скрадывали досадный выступ.

Как началась эта любовь — не вполне известно. Борис Иванович сидел постоянно в глубине оркестра и в первые годы, из боязни ударить в инструмент не вовремя, положительно не спускал глаз с дирижера. И когда он успел перемигнуться с хористкой — так и осталось невыясненным.

Впрочем, в те годы Борис Иванович пользо-

вался жизнью полностью. Он жуировал, ходил вечерами по городскому бульвару и даже посещал танцевальные вечера, на которых иногда, с голубым распорядительским бантом, бабочкой порхал по залу, дирижируя танцами.

Очень возможно, что знакомство как раз и началось на каком-нибудь вечере.

Во всяком случае, знакомство это Борису Ивановичу счастья не принесло. Роман начался удачно. Борис Иванович построил даже план своей дальнейшей жизни совместно с этой миленькой и симпатичной женщиной. Но через месяц неожиданно блондинка покинула его, едко посмеявшись над его неудачной челюстью.

Борис Иванович, несколько сконфуженный этим обстоятельством и таким легким уходом любимой женщины, решил, после недолгого раздумья, сменить свою жизнь провинциального льва и отчаянного любовника на более покойное существование. Он не любил, когда что-нибудь происходило случайное и такое, что могло измениться.

Вот тогда-то Борис Иванович и переехал за город, сняв за небольшую плату теплую комнату со столом.

И там он женился на своей квартирной хозяйке.

И этот брак с домом, хозяйством и размеренной жизнью вполне утешил его встревоженное сердце.

Через год после брака произошел пожар.

Огонь уничтожил почти половину местечка.

Борис Иванович, обливаясь потом, самолично вытаскивал из дому мебель и перины и складывал все в кустах.

Однако дом не сгорел. Только полопались стекла и облупилась краска.

И уже утром Борис Иванович, веселый и сияющий, втаскивал назад свой скарб.

Это надолго оставило след. Борис Иванович несколько лет подряд делился своими переживаниями со знакомыми и соседями. Но и это сейчас стерлось.

И вот, если закрыть глаза и подумать о прошлом, то все: и пожар, и женитьба, и революция, и музыка, и голубой распорядительский бант на груди — все это стерлось, все слилось в одну сплошную, ровную линию.

Даже любовное событие стерлось и превратилось в какое-то досадное воспоминание, в скучный анекдот о том, как хористка просила подарить ей сумочку из лакированной кожи, и о том, как Борис Иванович, откладывая по рублю,

собирал нужную сумму.

Так жил человек.

Так жил он до 37 лет, вплоть до того момента, до того исключительного происшествия в его жизни, за которое он был по суду оштрафован на двадцать пять рублей. Вплоть до этого самого приключения, ради которого автор, собственно, и рискнул испортить несколько листов бумаги и осушить небольшой пузырек чернил.

3

Итак, Борис Иванович Котофеев прожил до 37 лет. Очень вероятно, что он еще будет жить очень долго. Человек он очень здоровый, крепкий и с широкой костью. А что прихрамывает Борис Иванович слегка, чуть заметно, то это еще при царском режиме он стер свою ногу.

Однако нога жить не мешала, и жил Борис Иванович ровно и хорошо. Все было ему по плечу. И никогда и ни в чем сомнений не было. И вдруг в самые последние годы Борис Иванович стал задумываться. Ему вдруг показалось, что жизнь не так уж тверда в своем величии, как это рисовалось ему раньше.

Он всегда боялся случайности и старался этого избегать, но тут ему показалось, что жизнь как

раз и наполнена этой случайностью. И даже многие события из его жизни показались ему случайными, возникшими от вздорных и пустых причин, которых могло и не быть.

Эти мысли взволновали и устрашили Бориса Ивановича.

Борис Иванович раз даже завел об этом речь в кругу своих близких приятелей.

Это было на его собственных именинах.

— Странно все, господа, — сказал Борис Иванович. — Все как-то, знаете, случайно в нашей жизни. Все, я говорю, на случае основано… Женился я, скажем, на Луше… Я не к тому говорю, что недоволен или что-нибудь вообще. Но случайно же это. Мог бы я вовсе не здесь комнату снять. Я случайно на эту улицу зашел… Значит, что же это выходит? Случай?

Приятели криво усмехались, ожидая семейного столкновения. Однако столкновения не последовало. Лукерья Петровна, соблюдая настоящий тон, вышла только демонстративно из комнаты, выдула ковшик холодной воды и снова вернулась к столу свеженькая и веселенькая. Зато ночью устроила столь грандиозный скандал, что сбежавшиеся соседи пытались вызвать пожарную часть для ликвидации семейных распрей.

Однако и после скандала Борис Иванович, лежа с открытыми глазами на диване, продолжал обдумывать свою мысль. Он думал о том, что не только его женитьба, но, может, и игра на треугольнике и вообще все его призвания — просто случаи, простое стечение житейских обстоятельств.

«А если случай, — думал Борис Иванович, — значит, все на свете непрочно. Значит, нету какой-то твердости. Значит, все завтра же может измениться».

У автора нет охоты доказывать правильность вздорных мыслей Бориса Ивановича. Но на первый взгляд действительно все в нашей уважаемой жизни кажется отчасти случайным. И случайное наше рождение, и случайное существование, составленное из случайных обстоятельств, и случайная смерть. Все это заставляет и впрямь подумать о том, что на земле нет одного строгого, твердого закона, охраняющего нашу жизнь.

А в самом деле, какой может быть строгий закон, когда все меняется на наших глазах, все колеблется, начиная от самых величайших вещей до мизернейших человеческих измышлений.

Скажем, многие поколения и даже целые замечательные народы воспитывались на том, что

бог существует.

А теперь мало-мальски способный философ с необычайной легкостью, одним росчерком пера, доказывает обратное.

Или наука. Уж тут-то все казалось ужасно убедительным и верным, а оглянитесь назад — все неверно и все по временам меняется, от вращения земли до какой-нибудь там теории относительности и вероятности.

Автор — человек без высшего образования, в точных хронологических датах и собственных именах туговато разбирается и поэтому не берется впустую доказывать.

Тем более что об этом Борис Иванович Котофеев вряд ли, конечно, думал. Был он хотя и неглупый человек со средним образованием, но не настолько уж развит, как некоторые литераторы.

И все-таки он и то заметил какой-то хитрый подвох в жизни. И даже стал с некоторых пор побаиваться за твердость своей судьбы.

Но однажды его сомнение разгорелось в пламя.

Однажды, возвращаясь домой по Заднему проспекту, Борис Иванович Котофеев столкнулся с какой-то темной фигурой в шляпе.

Фигура остановилась перед Борисом Иванови-

чем и худым голосом попросила об одолжении.

Борис Иванович сунул руку в карман, вынул какую-то мелочишку и подал нищему. И вдруг посмотрел на него.

А тот сконфузился и прикрыл рукой свое горло, будто извиняясь, что на горле нет ни воротничка, ни галстука. Потом, тем же худым голосом, нищий сказал, что он — бывший помещик, и что когда-то он и сам горстями подавал нищим серебро, а теперь, в силу течения новой демократической жизни, он принужден и сам просить об одолжении, поскольку революция отобрала его имение.

Борис Иванович принялся расспрашивать нищего, интересуясь подробностями его прошлой жизни.

— Да что ж, — сказал нищий, польщенный вниманием. — Был я ужасно какой богатый помещик, деньги куры у меня не клевали, а теперь, как видите, в нищете, в худобе и жрать нечего. Все, гражданин хороший, меняется в жизни в свое время.

Дав нищему еще монету, Борис Иванович тихонько пошел к дому. Ему не было жаль нищего, но какое-то неясное беспокойство овладело им.

— Все в жизни меняется в свое время, — бор-

мотал добрейший Борис Иванович, возвращаясь домой.

Дома Борис Иванович рассказал своей жене, Лукерье Петровне, об этой встрече, причем несколько сгустил краски и прибавил от себя кой-какие подробности, например, как этот помещик кидался золотом в нищих и даже разбивал им носы тяжеловесными монетами.

— Ну, и что ж, — сказала жена. — Ну, жил хорошо, теперь — плохо. В этом нет ничего ужасно удивительного. Вот недалеко ходить — сосед наш тоже чересчур бедствует.

И Лукерья Петровна стала рассказывать, как бывший учитель чистописания, Иван Семеныч Кушаков, остался ни при чем в своей жизни. А жил тоже хорошо и даже сигары курил.

Котофеев как-то близко принял к сердцу и этого учителя. Он стал расспрашивать жену, почему и отчего тот впал в бедность.

Борис Иванович захотел даже увидеть этого учителя. Захотел немедленно принять самое горячее участие в его плохой жизни.

И он стал просить свою жену, Лукерью Петровну, чтобы та сходила поскорей за учителем, привела бы его и напоила чаем.

Для порядку побранившись и назвав мужа

«вахлаком», Лукерья Петровна все же накинула косынку и побежала за учителем, снедаемая крайним любопытством.

Учитель, Иван Семенович Кушаков, пришел почти немедленно.

Это был седоватый, сухенький старичок в длинном худом сюртуке, без жилета. Грязная рубашка без воротника выпирала на груди комком. И медная, желтая, ужасно яркая запонка выдавалась как-то далеко вперед своей пупочкой.

Седоватая щетина на щеках учителя чистописания была давно не брита и росла кустиками.

Учитель вошел в комнату, потирая руки и на ходу прожевывая что-то. Он степенно, но почти весело, поклонился Котофееву и зачем-то подмигнул ему глазом.

Потом присел к столу и, пододвинув тарелку с ситником с изюмом, принялся жевать, тихо усмехаясь себе под нос.

Когда учитель поел, Борис Иванович с жадным любопытством стал расспрашивать о прежней его жизни и о том, как и почему он так опустился и ходит без воротничка, в грязной рубашке и с одной голой запонкой.

Учитель, потирая руки и весело, но ехидно подмигивая, стал говорить, что он, действительно,

неплохо жил и даже сигары курил, но с изменением потребностей в чистописании и по декрету народных комиссаров предмет этот был исключен из программы.

— А я с этим свыкся уж, — сказал учитель, — привык. И на жизнь не жалуюсь. А что ситный скушал, то в силу привычки, а вовсе не от голоду.

Лукерья Петровна, сложив руки на переднике, хохотала, предполагая, что учитель уже начинает завираться и сейчас заврется окончательно. Она с нескрываемым любопытством глядела на учителя, ожидая от него чего-то необыкновенного.

А Борис Иванович, покачивая головой, бормотал что-то, слушая учителя.

— Что ж, — сказал учитель, снова без нужды усмехаясь, — так и все в нашей жизни меняется. Сегодня, скажем, отменили чистописание, завтра рисование, а там, глядишь, и до вас достукаются.

— Ну, уж вы, того, — сказал Котофеев, слегка задохнувшись. — Как же до меня-то могут достукаться… Если я в искусстве… Если я на треугольнике играю.

— Ну и что ж, — сказал учитель презрительно, — наука и техника нынче движется вперед. Вот изобретут вам электрический этот самый

инструмент — и крышка… И достукались…

Котофеев, снова слегка задохнувшись, взглянул на жену.

— И очень просто, — сказала жена, — если в особенности движется наука и техника…

Борис Иванович вдруг встал и начал нервно ходить по комнате.

— Ну и что ж, ну и пущай, — сказал он, — ну и пущай.

— Тебе пущай, — сказала жена, — а мне отдувайся. Мне же, дуре, на шею сядешь, Пилат-мученик.

Учитель завозился на стуле и примиряюще сказал:

— Так и все: сегодня чистописание, завтра рисование… Все меняется, милостивые мои государи.

Борис Иванович подошел к учителю, попрощался с ним и, попросив его зайти хотя бы завтра к обеду, вызвался проводить гостя до дверей.

Учитель встал, поклонился и, весело потирая руки, снова сказал, выйдя в сени:

— Уж будьте покойны, молодой человек, сегодня чистописание, завтра рисование, а там и по вас хлопнут.

Борис Иванович закрыл за учителем двери и, пройдя в свою спальню, сел на кровати, охватив руками свои колени.

Лукерья Петровна, в стоптанных войлочных туфлях, вошла в комнату и стала прибирать ее к ночи.

— Сегодня чистописание, завтра рисование, — бормотал Борис Иванович, слегка покачиваясь на постели. — Так и вся наша жизнь.

Лукерья Петровна оглянулась на мужа, молча и с остервенением плюнула на пол и стала распутывать свалявшиеся за день свои волосы, стряхивая с них солому и щепки.

Борис Иванович посмотрел на свою жену и меланхолическим голосом вдруг сказал:

— А что, Луша, а вдруг да и вправду изобретут ударные электрические инструменты? Скажем, кнопочка небольшая на пюпитре… Дирижер тыкнет пальцем — и она звонит…

— И очень даже просто, — сказала Лукерья Петровна. — Очень просто… Ох, сядешь ты мне на шею!.. Чувствую, сядешь…

Борис Иванович пересел с кровати на стул и задумался.

— Горюешь, небось? — сказала Лукерья Петровна. — Задумался? За ум схватился… Не было бы у тебя жены да дома, ну куда бы ты, голоштанник, делся? Ну, например, попрут тебя с оркестру?

— Не в том, Луша, дело, что попрут, — сказал

Борис Иванович. — А в том, что превратно все. Случай… Почему-то я, Луша, играю на треугольнике. И вообще… Если игру скинуть с жизни, как же жить тогда? Чем, кроме этого, я прикреплен?

Лукерья Петровна, лежа в постели, слушала мужа, тщетно стараясь разгадать смысл его слов. И, предполагая в них личное оскорбление и претензию на ее недвижимое имущество, снова сказала:

— Ох, сядешь мне на шею! Сядешь, Пилат-мученик, сукин кот.

— Не сяду, — сказал Котофеев.

И, снова задохнувшись, он встал со стула и принялся ходить по комнате.

Страшное волнение охватило его. Рукой проведя по голове, будто стараясь скинуть какие-то неясные мысли, Борис Иванович снова присел на стул.

И сидел долго в неподвижной позе.

Затем, когда дыхание Лукерьи Петровны перешло в легкий, с небольшим свистом, храп, Борис Иванович встал со стула и вышел из комнаты.

И, найдя свою шляпу, Борис Иванович напялил ее на голову и в какой-то необыкновенной тревоге вышел на улицу.

4

Было всего десять часов.

Стоял отличный тихий августовский вечер.

Котофеев шел по проспекту, широко махая руками.

Странное и неясное волнение его не покидало.

Он дошел, совершенно не заметив того, до вокзала.

Прошел в буфет, выпил бокал пива и, снова задохнувшись и чувствуя, что не хватает дыхания, опять вышел на улицу.

Он шел теперь медленно, уныло опустив голову, думая о чем-то. Но если спросить его, о чем он думал, он не ответил бы — он и сам не знал.

Он шел от вокзала все прямо и на аллее, у городского сада, присел на скамейку и снял шляпу.

Какая-то девица, с широкими бедрами, в короткой юбке и в светлых чулках, прошла мимо Котофеева раз, потом вернулась, потом снова прошла и, наконец, села рядом, взглянув на Котофеева.

Борис Иванович вздрогнул, взглянул на девушку, мотнул головой и быстро пошел прочь.

И вдруг Котофееву все показалось ужасно отвратительным и невыносимым. И вся жизнь

— скучной и глупой.

— И для чего это я жил… — бормотал Борис Иванович. — Приду завтра — изобретен, скажут. Уже, скажут, изобретен ударный электрический инструмент. Поздравляю, скажут. Ищите, скажут, себе новое дело.

Сильный озноб охватил все тело Бориса Ивановича. Он почти бегом пошел вперед и, дойдя до церковной ограды, остановился. Потом, пошарив рукой калитку, открыл ее и вошел в ограду.

Прохладный воздух, несколько тихих берез, каменные плиты могил как-то сразу успокоили Котофеева. Он присел на одну из плит и задумался. Потом сказал вслух:

— Сегодня чистописание, завтра рисование. Так и вся наша жизнь.

Борис Иванович закурил папиросу и стал обдумывать, как бы он начал жить в случае чего-либо.

— Прожить-то проживу, — бормотал Борис Иванович, — а к Луше не пойду. Лучше народу в ножки поклонюсь. Вот, скажу, человек, скажу, гибнет, граждане. Не оставьте в несчастьи…

Борис Иванович вздрогнул и встал. Снова дрожь и озноб охватили его тело.

И вдруг Борису Ивановичу показалось, что элек-

трический треугольник давным-давно изобретен и только держится в тайне, в страшном секрете, с тем, чтобы сразу, одним ударом, свалить его.

Борис Иванович в какой-то тоске почти выбежал из ограды на улицу и пошел, быстро шаркая ногами.

На улице было тихо.

Несколько запоздалых прохожих спешили по своим домам.

Борис Иванович постоял на углу, потом, почти не отдавая отчета в том, что он делает, подошел к какому-то прохожему и, сняв шляпу, глухим голосом сказал:

— Гражданин… Милости прошу… Может, человек погибает в эту минуту…

Прохожий с испугом взглянул на Котофеева и быстро пошел прочь.

— А-а, — закричал Борис Иванович, опускаясь на деревянный тротуар. — Граждане!.. Милости прошу… На мое несчастье… На мою беду… Подайте кто сколько может!

Несколько прохожих окружило Бориса Ивановича, разглядывая его с испугом и изумлением.

Постовой милиционер подошел, тревожно похлопывая рукой по кобуре револьвера, и подергал Бориса Ивановича за плечо.

— Пьяный это, — с удовольствием сказал кто-то в толпе. — Нализался, черт, в будень день. Нет на них закона!

Толпа любопытных окружила Котофеева. Кое-кто из сердобольных пытался поднять его на ноги. Борис Иванович рванулся от них и отскочил в сторону. Толпа расступилась.

Борис Иванович растерянно посмотрел по сторонам, ахнул и вдруг молча побежал в сторону.

— Крой его, робя! Хватай! — завыл кто-то истошным голосом.

Милиционер резко и пронзительно свистнул. И трель свистка всколыхнула всю улицу.

Борис Иванович, не оглядываясь, бежал ровным, быстрым ходом, низко опустив голову.

Сзади, дико улюлюкая и хлопая ногами по грязи, бежали люди.

Борис Иванович метнулся за угол и, добежав до церковной ограды, перепрыгнул ее.

— Здеся! — выл тот же голос. — Сюды, братцы! Сюды, загоняй!.. Крой…

Борис Иванович вбежал на паперть, тихо ахнул, оглянувшись назад, и налег на дверь.

Дверь подалась и со скрипом на ржавых петлях открылась.

Борис Иванович вбежал внутрь.

Одну секунду он постоял в неподвижности, потом, охватив голову руками, по шатким каким-то сухим и скрипучим ступенькам, бросился наверх.

— Здеся! — орал доброхотный следователь. — Бери его, братцы! Крой все по чем попало…

Сотня прохожих и обывателей ринулась через ограду и ворвалась в церковь. Было темно.

Тогда кто-то чиркнул спичкой и зажег восковой огарок на огромном подсвечнике.

Голые высокие стены и жалкая церковная утварь осветились вдруг желтым скудным мигающим светом.

Бориса Ивановича в церкви не было.

И когда толпа, толкаясь и гудя, ринулась в каком-то страхе назад, сверху, с колокольни, раздался вдруг гудящий звон набата.

Сначала редкие удары, потом все чаще и чаще, поплыли в тихом ночном воздухе.

Это Борис Иванович Котофеев, с трудом раскачивая тяжелый медный язык, бил по колоколу, будто нарочно стараясь этим разбудить весь город, всех людей.

Это продолжалось минуту.

Затем снова завыл знакомый голос:

— Здеся! Братцы, неужели-те человека выпу-

щать? Крой на колокольню! Хватай бродягу!

Несколько человек бросилось наверх.

Когда Бориса Ивановича выводили из церкви, — огромная толпа полуодетых людей, наряд милиции и пригородная пожарная команда стояли у церковной ограды.

Молча, через толпу, Бориса Ивановича провели под руки и поволокли в штаб милиции.

Борис Иванович был смертельно бледен и дрожал всем телом. А ноги его непослушно волочились по мостовой.

5

Впоследствии, много дней спустя, когда Бориса Ивановича спрашивали, зачем он это все сделал и зачем, главное, полез на колокольню и стал звонить, он пожимал плечами и сердито отмалчивался или же говорил, что он подробностей не помнит. А когда ему напоминали об этих подробностях, он конфузливо махал руками, упрашивая не говорить об этом.

А в ту ночь продержали Бориса Ивановича в милиции до утра и, составив на него неясный и туманный протокол, отпустили домой, взяв подписку о невыезде из города.

В рваном сюртуке, без шляпы, весь поникший и

желтый, Борис Иванович вернулся утром домой.

Лукерья Петровна выла в голос и колотила себя по грудям, проклиная день своего рождения и всю свою разнесчастную жизнь с таким человеческим отребьем, как Борис Иванович Котофеев.

А в тот же вечер Борис Иванович, как и всегда, в чистом опрятном сюртуке, сидел в глубине оркестра и меланхолически позвякивал в свой треугольник.

Был Борис Иванович, как и всегда, чистый и причесанный, и ничего в нем не говорило о том, какую страшную ночь он прожил.

И только две глубокие морщины от носа к губам легли на его лице.

Этих морщин раньше не было.

И не было еще той сутулой посадки, с какой Борис Иванович сидел в оркестре. Но все перемелется — мука будет. Борис Иванович Котофеев жить еще будет долго. Он, дорогой читатель, и нас с тобой переживет. Мы так думаем.

О чем пел соловей

1

А ведь посмеются над нами лет через триста! Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилищной площади…

Ну, что ж! Пущай смеются.

Одно обидно: не поймут ведь, черти, половину. Да и где же им понять, если жизнь у них такая будет, что, может, нам и во сне не снилась!

Автор не знает и не хочет загадывать, какая у них будет жизнь. Зачем же трепать свои нервы и расстраивать здоровье — все равно бесцельно; все равно не увидит, вероятно, автор полностью этой будущей прекрасной жизни.

Да будет ли она прекрасна — это еще вопрос. Для собственного успокоения автору кажется, что и там много будет ерунды и дряни.

Впрочем, может, эта ерунда будет мелкого качества. Ну, скажем, в кого-нибудь, извините за бедность мысли, плюнули с дирижабля. Или кому-нибудь пепел в крематории перепутали

и выдали заместо помершего родственничка какую-нибудь чужую и недоброкачественную труху… Конечно, это не без того, — будут случаться такие ничтожные неприятности в мелком повседневном плане. А остальная-то жизнь, наверное, будет превосходна и замечательна.

Может быть, даже денег не будет. Может быть, все будет бесплатно, даром. Скажем, даром будут навязывать какие-нибудь шубы или кашне в Гостином дворе…

— Возьмите, — скажут, — у нас, гражданин, отличную шубу.

А ты мимо пройдешь. И сердце не забьется.

— Да нет, — скажешь, — уважаемые товарищи. На черта мне сдалась ваша шуба. У меня их шесть.

Ах, черт! До чего веселой и привлекательной рисуется автору будущая жизнь!

Но тут стоит призадуматься. Ведь если выкинуть из жизни какие-то денежные счеты и корыстные мотивы, то в какие же удивительные формы выльется сама жизнь! Какие же отличные качества приобретут человеческие отношения! И, например, любовь. Каким, небось, пышным цветом расцветет это изящнейшее чувство!

Ах ты, какая будет жизнь, какая жизнь! С какой

сладкой радостью думает о ней автор, даже вчуже, даже без малейшей гарантии застать ее. Но вот — любовь.

Об этом должна быть особая речь. Ведь многие ученые и партийные люди вообще склонны понижать это чувство. Позвольте, — говорят, — какая любовь? Нету никакой любви. И никогда и не было. И вообще, мол, это заурядный акт того же гражданского состояния, ну, например, вроде похорон.

Вот с этим автор не может согласиться.

Автор не хочет исповедываться перед случайным читателем и не хочет некоторым, особо неприятным автору, критикам открывать своей интимной жизни, но все же, разбираясь в ней, автор вспоминает одну девицу в дни своей юности. Этакое было у ней глупое белое личико, ручки, жалкие плечики. А в какой телячий восторг впадал автор! Какие чувствительные минуты переживал автор, когда, от избытка всевозможных благородных чувств, падал на колени и, как дурак, целовал землю.

Теперь, когда прошло пятнадцать лет и автор слегка седеет от различных болезней, и от жизненных потрясений, и от забот о куске хлеба, когда автор просто не хочет врать и не для

чего ему врать, когда, наконец, автор желает увидеть жизнь, как она есть, без всякой лжи и украшений, — он, не боясь показаться смешным человеком из прошлого столетия, все же утверждает, что в ученых и общественных кругах сильно на этот счет ошибаются.

На эти строчки о любви автор уже предвидит ряд жестоких отповедей со стороны общественных деятелей.

— Это, — скажут, — товарищ, не пример — собственная ваша фигура. Что вы, — скажут, — в нос тычете свои любовные шашни? Ваша, — скажут, — персона не созвучна эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней.

— Видали? Случайно! То есть, дозвольте вас спросить, как это случайно? Что ж, прикажете под трамвай ложиться?

— Да это как вам угодно, — скажут. — Под трамвай или с моста, а только существование ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, — скажут, — на простых, неискушенных людей, и вы увидите, как иначе они рассуждают.

Ха!.. Прости, читатель, за ничтожный смех. Недавно автор вычитал в «Правде» о том, как один мелкий кустарь, парикмахерский ученик, из ревности нос откусил одной гражданке.

Это что — не любовь? Это, по-вашему, жук нагадил? Это, по-вашему, нос откушен для вкусовых ощущений? Ну, и черт с вами! Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надобно еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать, кроме того, несколько неприятных автору визитов к кое-каким литературным критикам, попросив их не торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть.

Итак, любовь.

Пущай об этом изящном чувстве каждый думает, как хочет. Автор же, признавая собственное ничтожество и неспособность к жизни, даже, черт с вами, пущай трамвай впереди, — автор все же остается при своем мнении.

Автор только хочет рассказать читателю об одном мелком любовном эпизоде, случившемся на фоне теперешних дней. Опять, скажут, мелкие эпизоды? Опять, скажут, мелочи в двухрублевой книге? Да что вы, скажут, очумели, молодой человек? Да кому, скажут, это нужно в космическом масштабе?

Автор честно и открыто просит:

— Не мешайте, товарищи! Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии…

2

Фу! Трудно до чего писать в литературе!

По́том весь изойдешь, покуда продерешься через непроходимые дебри.

И ради чего? Ради какой-то любовной истории гражданина Былинкина. Автору он не сват и не брат. Автор у него в долг не занимал. И идеологией с ним не связан. Да уж если говорить правду, то автору он глубоко безразличен. И расписывать его сильными красками автору нет охоты. К тому же автор не слишком-то помнит лицо этого Былинкина, Василия Васильевича.

Что касается других лиц, участвующих так или иначе в этой истории, то и другие лица тоже прошли перед взором автора мало замеченные. Разве что Лизочка Рундукова, которую автор запомнил по причинам совершенно особенным и, так сказать, субъективным.

Уже Мишка Рундуков, братишка ее, менее запомнился. Это был парнишка крайне нахальный и задира. Наружностью своей он был этакий белобрысенький и слегка мордастый.

Да о наружности его автору тоже нет охоты распространяться. Возраст у парнишки переходный. Опишешь его, а он, сукин сын, подрастет к

моменту выхода книги, и там разбирайся — какой это Мишка Рундуков. И откуда у него усы взялись, когда у него и усов-то не было в момент описания событий.

Что же касается самой старухи, так сказать, мамаши Рундуковой, то читатель и сам вряд ли выразит претензию, ежели мы старушку и вовсе обойдем в своем описании. Тем более, что старушек вообще трудновато художественно описывать. Старушка и старушка. А пес ее разберет, какая эта старушка. Да и кому это нужно описание, скажем, ее носа? Нос и нос. И от подробного его описания читателю не легче будет жить на свете.

Конечно, автор не взялся бы писать художественные повести, если бы были у него только такие скудные и ничтожные сведения о героях. Сведений у автора хватает.

Например, автору очень живо рисуется вся ихняя жизнь. Ихний небольшой рундуковский домишко. Этакий темненький, в один этаж. На фасаде — номер 22. Повыше на досочке багор нарисован. На предмет пожара. Кому что тащить. Рундуковым, значит, багор тащить. А только есть ли у них багор? Ох, небось, нету!.. Ну, да не дело художественной литературы разбираться и обра-

щать на это внимание уездной администрации.

А вся внутренность ихнего домика и, так сказать, вещественное его оформление в смысле мебели тоже достаточно рельефно вырисовывается в памяти автора… Три комнаты небольшие. Пол кривой. Рояль Беккера. Этакий жуткий рояль. Но играть на нем можно. Кой-какая мебелишка. Диван. Кошка или кот на диване. На подзеркальнике часишки под колпаком. Колпак пыльный. А само зеркало мутное — морду врет. Сундук огромный. Нафталином и дохлыми мухами от него пахнет.

Скучно, небось, было бы жить в этих комнатах столичным гражданам!

Скучно, небось, столичному гражданину и в ихнюю кухню войти, где мокрое белье на бечевке развешано. И у плиты старуха продукты стряпает. Картошку, например, чистит. Шелуха лентой с-под ножа свивается.

Только пущай не думает читатель, что автор описывает эти мелкие мелочи с любовью и восхищением. Нету! Нету в этих мелких воспоминаниях ни сладости, ни романтизма. Знает автор и эти домики, и эти кухни. Заходил. И жил в них. И, может, и сейчас живет. Ничего в этом нету хорошего, так — жалкая жалость. Ну, вой-

дешь в эту кухню — и ведь непременно мордой в мокрое белье угодишь. Да еще спасибо, ежели в благородную часть туалета, а то в мокрый чулок какой-нибудь, прости господи! Противно же мордой в чулок! Ну его к черту! Такая гадость.

А по причинам, не касающимся художественной литературы, автору приходилось несколько раз бывать у Рундуковых. И автор всегда удивлялся, как это в такой прели и мелькоте жила такая выдающаяся барышня, такой, можно сказать, ландыш и настурция, как Лизочка Рундукова.

Автору всегда было очень-очень жаль эту миловидную барышню. О ней будем в свое время длинно и обстоятельно говорить, пока же автор принужден рассказать кое-что о гражданине Василии Васильевиче Былинкине. О том, какой это человек. Откуда он взялся. И благонадежен ли он политически. И какое отношение он имеет к уважаемым Рундуковым. И не родственник ли он им.

Нет, он не родственник. Он просто случайно и на время замешался в ихнюю жизнь.

Автор уже предупреждал читателя, что физиономия этого Былинкина ему не слишком запомнилась. Хотя, вместе с тем, автор, закрывая глаза, видит его как живого.

Этот Былинкин ходил всегда медленно, даже вдумчиво. Руки держал позади. Ужасно часто моргал ресницами. И фигуру имел несколько сутулую, видимо, придавленную житейскими обстоятельствами. Каблуки же Былинкин снашивал внутрь до самых задников.

Что касается образования, то на вид образование было не ниже четырех классов старой гимназии.

Социальное происхождение — неизвестно.

Приехал человек из Москвы в самый разгар революции и о себе не распространялся.

А зачем приехал — тоже неясно. Сытнее, что ли, в провинции показалось? Или не сиделось ему на одном месте и влекли его, так сказать, неведомые дали и приключения? Черт его разберет! Во всякую психологию не влезешь.

Но скорей всего, в провинции сытней показалось. Потому — первое время ходил человек по базару и с аппетитом посматривал на свежие хлебы и на горы всевозможных продуктов.

Но, между прочим, как он кормился — для автора неясная тайна. Может, он даже и руку протягивал. А может, и пробки собирал от минеральных и фруктовых вод. И продавал после. Были и такие отчаянные спекулянты в городе.

Только, видимо, жил человек худо. Весь сносился и волосы стал терять. И ходил робко, оглядываясь по сторонам и волоча ноги. Даже глазами перестал моргать и смотрел неподвижно и скучно.

А после, по невыясненной причине, в гору пошел. И к моменту разыгравшейся нашей любовной истории имел Былинкин прочное социальное положение, государственную службу и оклад по седьмому разряду плюс за нагрузку.

И к этому моменту Былинкин уже несколько округлился в своей фигуре, влил, так сказать, в себя снова потерянные жизненные соки и снова по-прежнему часто и развязно моргал глазами.

И ходил по улице тяжеловатой походкой человека, насквозь прожженного жизнью, и имеющего право жить, и знающего себе полную цену.

И, действительно, к моменту развернувшихся событий был он мужчина хоть куда в свои неполные тридцать два года.

Он много и часто гулял по улицам и, размахивая палкой, сбивал по дороге цветы, или траву, или даже листья. Иногда присаживался на скамейку бульвара и бодро дышал полной грудью, счастливо улыбаясь.

О чем он думал и какие исключительные идеи

осеняли его голову — никому не известно. Может, он и ни о чем не думал. Может, он просто проникался восторгом своего законного существования. Или, скорей всего, думал, что ему совершенно необходимо переменить квартиру.

И в самом деле: он жил у Волосатова, у дьякона живой церкви, и, в силу своего служебного положения, весьма беспокоился жить у лица, столь политически запачканного.

Он много раз спрашивал, не знает ли кто, ради бога, какой-нибудь новой квартиренки или комнаты, так как он не в силах более жить у служителя определенного культа.

И, наконец, кто-то, по доброте душевной, сосватал ему небольшую, в две квадратные сажени, комнату. Это было как раз в доме уважаемых Рундуковых. Былинкин немедленно же переехал. Сегодня он осмотрел комнату и завтра с утра въехал, наняв для этой цели водовоза Никиту.

Отцу дьякону ни с какой стороны не нужен был этот Былинкин, однако, видимо уязвленный в неясных, но отличных своих чувствах, дьякон страшным образом ругался и даже грозил при случае набить Былинкину морду. И когда Былинкин складывал свое добро на телегу, дьякон стоял у окна и громко искусственно хохотал,

желая этим показать полное свое равнодушие к отъезду.

Дьяконица же выбегала время от времени во двор и, кидая на телегу какую-нибудь вещь, кричала:

— Скатертью дорожка. Камнем в воду. Не задерживаем.

Собравшаяся публика и соседи с удовольствием хохотали, прозрачно намекая на ихние будто бы любовные отношения. Об этом автор не берется утверждать. Не знает. Да и не желает заводить излишних сплетен в изящной литературе.

3

Комната Былинкину, Василию Васильевичу, была сдана без всякой корысти и даже без особой на то нужды. Вернее, старуха Дарья Васильевна Рундукова побаивалась, как бы из-за жилищного кризиса ихнюю квартирку не уплотнили бы вселением какого-нибудь грубого и лишнего элемента.

Былинкин этим обстоятельством несколько даже воспользовался. И, проходя мимо беккеровского рояля, сердито покосился на него и с неудовольствием заметил, что этот инструмент, вообще говоря, лишнее и что сам он, Былин-

кин, человек тихий и потрясенный жизнью, побывавший на двух фронтах и обстрелянный артиллерией, не может переносить лишних мещанских звуков.

Старуха обиженно сказала, что у них сорок лет стоит этот рояльчик и для былинкинских прихотей не могут они его сломать или выдернуть из него струны и педали, тем более, что Лизочка Рундукова обучается игре на инструменте и, может быть, это у ней основная цель в жизни.

Былинкин сердито отмахнулся от старухи, заявив, что он говорит это в форме деликатной просьбы, а отнюдь не в виде строгого приказания.

На что старуха, крайне обидевшись, расплакалась и чуть было вовсе не отказала от комнаты, если б не подумала о возможностях вселения со стороны.

Былинкин переехал утром и до вечера кряхтел в своей комнате, устанавливая и прибирая все по своему столичному вкусу.

Два или три дня прошли тихо и без особых перемен.

Былинкин ходил на службу, возвращался поздно и долго ходил по комнате, шаркая войлочными туфлями. Вечером жевал что-то и, наконец,

засыпал, слегка похрапывая и вереща носом.

Лизочка Рундукова эти два дня ходила несколько притихшая и много раз расспрашивала свою мамашу, а также и Мишку Рундукова о том, какой это Былинкин на ихний взгляд, курит ли трубку и имел ли он в своей жизни какое-нибудь прикосновение к морскому комиссариату.

Наконец, на третий день она и сама увидела Былинкина.

Это было рано утром. Былинкин, по обыкновению, собирался на службу.

Он шел по коридору в ночной рубашке с расстегнутым воротом. Помочи от штанов болтались позади, развеваясь в разные стороны. Он шел медленно, держа в одной руке полотенце и душистое мыло. Другой рукой он приглаживал встрепанные за ночь волосы.

Она стояла в кухне по своим домашним делам, раздувая самовар или нащипывая от сухого полена лучину.

Она тихо вскрикнула, увидев его, и бросилась в сторону, стыдясь своего неприбранного утреннего туалета.

А Былинкин, стоя в дверях, разглядывал барышню с некоторым изумлением и восторгом.

И верно: в то утро она была очень хороша.

Эта юная свежесть слегка заспанного лица. Этот небрежный поток белокурых волос. Слегка приподнятый кверху носик. И светлые глаза. И небольшая по высоте, но полненькая фигура. Все это было в ней необыкновенно привлекательно.

В ней была та очаровательная небрежность и, пожалуй, даже неряшливость той русской женщины, которая вскакивает поутру с постели и, немытая, в войлочных туфлях на босу ногу, возится по хозяйству.

Автору, пожалуй, даже нравятся такие женщины. Он ничего не имеет против таких женщин.

В сущности, нет ничего в них хорошего, в этих полных, с ленивым взглядом женщинах. Нет в них ни живости, ни яркости темперамента, ни, наконец, кокетливости позы. Так — мало двигается, в мягких туфлях, непричесанная... Вообще говоря, пожалуй, даже противно. Но вот подите ж!

И странная вещь, читатель!

Такая какая-нибудь кукольная дамочка, так сказать — измышление буржуазной западной культуры, совсем не по душе автору. Этакая прическа у ней, черт ее знает, какая греческая — дотронуться нельзя. А дотронешься — криков и скандалов не оберешься. Этакое платье не на-

стоящее — опять не дотронься. Или порвешь, или запачкаешь. Скажите: кому это нужно? В чем тут прелесть и радость существования?

Наша, например, как сядет, так вполне видишь, что сидит, а не на булавке пришпилена, как иная. А та — как на булавке. Кому это надо?

Автор многим восхищен в иноземной культуре, однако относительно женщин автор остается при своем национальном мнении.

Былинкину тоже, видимо, нравились такие женщины.

Во всяком случае, он стоял теперь перед Лизочкой Рундуковой и, слегка раскрыв рот от восторга и не прибрав даже висящие подтяжки, смотрел на нее с радостным изумлением.

Но это длилось одну минуту.

Лизочка Рундукова, тихо ахнув и заметавшись по кухне, вышла прочь, на ходу поправляя свой туалет и спутанные волосы.

К вечеру, когда Былинкин вернулся со службы, он медленно прошел в свою комнату, рассчитывая встретить в коридоре Лизочку.

Но не встретил.

Тогда попозже, к вечеру, Былинкин пять или шесть раз смотался на кухню и, наконец, встретил Лизочку Рундукову, которой и поклонился

страшно почтительно и галантно, слегка склонив голову набок и делая руками тот неопределенный жест, который условно показывает восхищение и чрезвычайную приятность.

Несколько дней таких встреч в коридоре и на кухне значительно их сблизили.

Былинкин приходил теперь домой и, слушая, как Лизочка играет какой-нибудь трамблям на рояле, упрашивал ее изобразить еще и еще что-нибудь душещипательное.

И она играла какой-нибудь собачий вальс или шимми или брала несколько бравурных аккордов второй или третьей, а может даже, черт их разберет, и четвертой рапсодии Листа.

И он, Былинкин, дважды побывавший на всех фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, как бы впервые слушал эти дребезжащие звуки беккеровского рояля. И, сидя в своей комнате, мечтательно откидывался на спинку кресла, думая о прелестях человеческого существования.

Очень роскошная жизнь началась у Мишки Рундукова. Былинкин дважды давал ему по гривеннику и один раз пятиалтынный, прося Мишку тихонько свистеть в пальцы, когда старуха у себя на кухне и Лизочка одна в комнате.

Зачем это понадобилось Былинкину, автору

крайне неясно. Старуха с совершенным восторгом смотрела на влюбленных, рассчитывая не позднее осени повенчать их и сбыть Лизочку с рук.

Мишка Рундуков также не разбирался в психологических тонкостях Былинкина и самосильно свистал раз по шесть в день, приглашая Былинкина заглянуть то в ту, то в другую комнату.

И Былинкин входил в комнату, садился подле Лизочки, перекидывался с ней сначала незначительными фразами, потом просил сыграть на инструменте какую-нибудь наиболее ее любимую вещь. И там, у рояля, когда Лизочка переставала играть, Былинкин клал свои узловатые пальцы, пальцы философски настроенного человека, прожженного жизнью и обстрелянного тяжелой артиллерией, на Лизочкины белые руки и просил барышню рассказать о ее жизни, живо интересуясь подробностями ее прежнего существования.

Иногда же спрашивал, чувствовала ли она когда-нибудь трепет настоящей, истинной любви, или это у нее в первый раз.

И барышня загадочно улыбалась и, тихо перебирая рояльные клавиши, говорила:

— Не знаю…

4

Они страстно и мечтательно полюбили друг друга.

Они не могли видеться без слез и трепета.

И, встречаясь, всякий раз испытывали все новый и новый прилив восторженной радости.

Былинкин, впрочем, с некоторым даже испугом вглядывался в себя и с изумлением думал, что он, дважды побывавший на всех фронтах и с необыкновенной трудностью заработавший себе право существования, с легкостью бы теперь отдал свою жизнь за один ничтожный каприз этой довольно миленькой барышни.

И, перебирая в своей памяти тех женщин, которые прошли в его жизни, и даже последнюю, дьяконицу, с которой у него таки был роман (автор совершенно в этом уверен), Былинкин с уверенностью думал, что только теперь, на тридцать втором году, он узнал истинную любовь и подлинный трепет чувства.

Распирали ли Былинкина его жизненные соки, или же у человека бывает предрасположение и склонность к отвлеченным романтическим чувствам — пока остается тайной природы.

Так или иначе, Былинкин видел, что он иной

теперь человек, чем был раньше, и что кровь у него изменилась в своем составе, и что вся жизнь — смешна и ничтожна перед столь необычайной силой любви.

И Былинкин, этот слегка циник и прожженный жизнью человек, оглушенный снарядами и видевший не раз лицом к лицу смерть, этот жуткий Былинкин слегка ударился даже в поэзию, написав с десяток различных стихотворений и одну балладу.

Автор не знаком с его стишками, но одно стихотворение, под заглавием «К ней и к этой», посланное Былинкиным в «Диктатуру труда» и не принятое редакцией как несозвучное социалистической эпохе, случайно и благодаря любезности технического секретаря, Ивана Абрамовича Кранца, сделалось известным автору.

У автора особое мнение насчет стишков и любительской поэзии, и поэтому автор не будет утруждать читателей и наборщиков целым и довольно длинным стихом. Автор предлагает вниманию наборщиков только пару последних, наиболее звучных строф:

Девизом сердца своего,
Любовь прогрессом называл.

И только образ твоего
Изящного лица внимал.

Ах, Лиза, это я
Сгорел, как пепел, от огня
Тому подобного знакомства.

С точки зрения формального метода стишки эти как будто и ничего собой. Но вообще же стишки — довольно паршивые стишки и, действительно, несозвучны и несоритмичны с эпохой.

В дальнейшем Былинкин не увлекался поэзией и не пошел по тяжкому пути поэта. Былинкин, всегда несколько склонный к американизму, забросил вскоре свои литературные достижения, без сожаления закопал талант в землю и стал жить по-прежнему, не проектируя своих безумных идей на бумагу.

Былинкин и Лизочка, встречаясь теперь по вечерам, уходили из дому и до ночи бродили по опустевшим улицам и бульварам. Иногда спускались к реке и сидели над песчаным обрывом, с глубокой и молчаливой радостью следя за быстрой водой реки Козявки. Иногда же, взяв друг друга за руки, тихо ахали, восторгаясь необычайными красотами природы или легкой воздушной тучкой, пробегавшей по небу.

Все это было им ново, очаровательно, и, главное, казалось, что видят они все в первый раз.

Иногда влюбленные уходили за город и шли к лесу. А там, взявшись за пальцы, ходили разомлевшие и, останавливаясь перед какой-нибудь сосной или елкой, смотрели на нее с изумлением, искренно удивляясь причудливой и смелой игре природы, выкинувшей из-под земли столь нужное для человека дерево.

И тогда Василий Былинкин, потрясенный необычайностью существования на земле и удивительными ее законами, падал от избытка чувств на колени перед барышней и целовал землю вокруг ее ног.

А кругом-то луна, кругом таинственность ночи, трава, светлячки чирикают, лес молчаливый, лягушки и букашки. Кругом этакая сладость и умиротворение в воздухе. Кругом та радость простого существования, от которой автор не хочет еще до конца отказаться и поэтому ни под каким видом не может признать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

Так вот, Былинкин с Лизочкой наиболее любили эти свои прогулки за город.

Но в одну из таких прелестных прогулок, видимо, сырой ночью, неосторожный Былинкин

простудился и слег. У него открылась болезнь, вроде свинки. Или как врачи называют — заушница.

Уже к вечеру Былинкин почувствовал легкий озноб и режущую боль в горле. К ночи же морду его стало раздувать.

С тихим плачем входила Лиза в его комнату и с распущенными волосами, в мягких туфлях, металась от постели к столу, не зная, что ей предпринять, и что делать, и как облегчить участь больного.

Мамаша Рундукова и та вкатывалась в комнату по нескольку раз в день, расспрашивая, не хочет ли больной клюквенного киселька, который будто бы незаменим при всех инфекционных заболеваниях.

Через два дня, когда морду у Былинкина раздуло до неузнаваемости, Лизочка побежала за доктором.

Осмотрев больного и прописав ему какие-то медикаменты, доктор ушел, в душе, видимо, ругаясь, что дали ему мелочью.

Лизочка Рундукова побежала за ним и, догнав его на улице, заламывая руки, стала лепетать и спрашивать: ну, как? Что? Есть ли надежда? И что пущай врач знает, что она не перенесет гибели

этого человека.

Тогда врач, в силу своей профессии привыкший к этим сценам, равнодушно сказал, что свинка — свинка и есть, и помирать от этого, к сожалению, не приходится.

Несколько раздосадованная незначительной опасностью, Лизочка грустно вернулась домой и стала самоотверженно ухаживать за больным, не щадя ни своих слабых сил, ни здоровья, не боясь даже схватить эту самую свинку от заражения.

Былинкин первые дни боялся подняться с подушки и, ощупывая раздувшееся свое горло, с ужасом спрашивал, не разлюбит ли его Лизочка Рундукова после болезни, которая позволила увидеть его в столь безобразном и омерзительном виде.

Но барышня, упрашивая его не беспокоиться, говорила, что, на ее взгляд, он стал более представительный мужчина, чем был раньше.

И Былинкин тихо и благодарно смеялся, говоря, что эта болезнь как нельзя более испытала крепость ихней любви.

5

Это была совершенно необыкновенная любовь. А с тех пор, когда Былинкин встал с одра болезни

и голова с шеей снова приняли прежние формы, ему стало казаться, что Лизочка Рундукова спасла его от неминуемой гибели.

От этого в ихние любовные отношения вошла некоторая торжественность и даже великодушие.

В один из ближайших после болезни дней Былинкин взял Лизочку за руку и тоном решившегося на что-то человека попросил ее выслушать его, не задавая пока что лишних вопросов и не вмешиваясь со своими глупыми репликами.

Былинкин сказал длинную и торжественную речь о том, что он совершенно знает, что такое жизнь, и знает, как трудно существовать на земле, и что раньше, когда он был еще неоперившимся юнцом, он с преступной легкостью относился к жизни, за что сильно пострадал в свое время, но теперь, умудренный житейским опытом, знает, как надо жить, и знает суровые и непоколебимые законы жизни. И что, все это обдумав, он предполагает внести кой-какие изменения в свою намеченную жизнь.

Одним словом, Былинкин сделал Лизочке Рундуковой официальное предложение с просьбой не тревожиться за будущее благосостояние, даже если Лизочка Рундукова и впредь останется

безработной и не будет в состоянии вносить посильную лепту в общий скромный котел.

Она, слегка поломавшись и поговорив для изящности переживаемого момента о свободной любви, все же с восторгом приняла предложение, говоря, что она давно ждала его и что если б он не сделал этого, то он был бы последним мазуриком и проходимцем. А что свободные отношения, хотя и тоже очень хороши и отличны в свое время, но это уж не то, что иное прочее.

Со своей радостной новостью Лизочка Рундукова немедленно побежала к мамаше, а также и к соседям, приглашая их придти на бракосочетание, которое состоится в весьма непродолжительном времени и будет носить скромный и семейственный характер.

Соседи горячо поздравляли ее, говоря, что она достаточно уж засиделась и намучилась безысходностью своего существования.

Мамаша Рундукова всплакнула, конечно, и пошла к Былинкину, чтоб самой убедиться в подлинности факта.

И Былинкин удостоверил старуху, торжественно попросив называть ее с этого дня мамашей. Старуха, плача и сморкаясь в передник, сказала, что она пятьдесят три года живет на свете, но что

этот день — самый счастливый в ее жизни. И, в свою очередь, попросила называть его Васей. На что Былинкин милостиво дал свое согласие.

Что касается Мишки Рундукова, то Мишка довольно равнодушно отнесся к жизненной перемене своей сестры и в настоящее время мотался где-то по улицам, сломя голову и высунув язык.

Теперь влюбленные не ходили уже за город. Большей частью они просиживали дома и, болтая до ночи, обсуждали план своей дальнейшей жизни.

И в одну из таких бесед Былинкин принялся с карандашом в руках чертить на бумаге план их будущих комнат, которые будут составлять как бы отдельную, маленькую, но уютную квартирку.

Они, совершенно захлебываясь и споря друг с другом, доказывали, куда лучше поставить кровать, и куда поставить стол, и где расположить туалет.

Былинкин убеждал Лизочку не делать глупостей и не ставить туалетный столик в углу.

— Это абсолютное мещанство, — сказал Былинкин, — ставить туалетный столик в углу. Это каждая барышня ставит этак. В углу гораздо лучше и монументальнее поставить комод и по-

крыть его легкой кружевной скатертью, которую мамаша, надеюсь, не откажет дать.

— Комод в углу тоже мещанство, — сказала Лизочка, едва не плача. — Да, к тому же, комод мамашин, и даст ли она его или нет, это еще вопрос.

— Ерунда, — сказал Былинкин, — как это она не даст? Не держать же нам белье на подоконниках! Явная чушь.

— Ты, Вася, поговори с мамашей, — строго сказала Лизочка. — Поговори просто как с родной матерью. Скажи: дескать, дайте, маменька, комод.

— Ерунда, — сказал Былинкин. — Да, впрочем, я могу и сейчас сходить к старухе, если тебе этого так хочется.

И Былинкин пошел в старухину комнату.

Было уже довольно поздно. Старуха спала.

Былинкин долго раскачивал ее, и та, брыкаясь во сне, никак не хотела вставать и понять, в чем дело.

— Проснитесь же, мамаша, — строго сказал Былинкин. — Ведь можем же мы с Лизочкой рассчитывать на какой-то небольшой комфорт? Ведь не трепаться же белью на подоконниках.

С трудом понимая, что от нее нужно, старуха

принялась говорить, что комод этот пятьдесят один год стоит на своем месте, и на пятьдесят втором году она не намерена перетаскивать его в разные стороны и разбрасывать его налево и направо. И что комоды она не сама делает. И что поздно ей, на старости лет, обучаться столярному ремеслу. Пора бы это понять и не обижать старуху.

Былинкин принялся стыдить мамашу, говоря, что он, побывавший на всех фронтах и дважды обстрелянный тяжелой артиллерией, может же, наконец, рассчитывать на покойную жизнь.

— Стыдно, мамаша! — сказал Былинкин. — Жалко вам комода! А в гроб вы его не возьмете. Знайте это.

— Не дам комода! — визгливо сказала старуха. — Помру, тогда и берите хоть всю мебель.

— Да, помрете! — сказал Былинкин с негодованием. — Жди!..

Видя, что дело принимает серьезный оборот, старуха принялась плакать и причитать, говоря, что в таком случае пущай невинный ребенок, Мишка Рундуков, своими устами скажет последнее слово, тем более, что он единственный мужской представитель в ихнем рундуковском роду, и комод, по праву, принадлежит ему, а не

Лизочке.

Разбуженный Мишка Рундуков крайне не захотел отдавать комода.

— Да-а, — сказал Мишка. — Небось, гривенник отвалят, а комод взять хочут. Комоды тоже денег стоят.

Тогда Былинкин, хлопнув дверью, пошел в свою комнату и, горько отчитывая Лизочку, говорил ей, что ему без комода как без рук и что он сам, закаленный борьбой, знает, что такое жизнь, и ни на шаг не отступится от своих идеалов.

Лизочка буквально металась от матери к Былинкину, умоляя их как-нибудь прийти к соглашению и предлагая по временам перетаскивать комод из одной комнаты в другую.

Тогда, попросив Лизочку не метаться, Былинкин предложил ей немедленно лечь спать и набраться сил с тем, чтобы с утра заняться этим роковым вопросом.

Утро ничего хорошего не принесло. Много было сказано со всех сторон горьких и обидных истин.

Разгневанная старуха с отчаянной решимостью сказала, что она видит его, Василия Васильевича Былинкина, вдоль и поперек и что сегодня он комод от нее требует, а завтра студень из нее сварит и съест с хлебом. Вот это какой человек!

Былинкин кричал, что он подаст в уголовный розыск прошение об аресте старухи за распространение заведомо ложных и порочащих слухов.

Лизочка с тихим криком перебегала от одного к другому, упрашивая их, наконец, не орать и постараться спокойно разобраться в вопросе.

Тогда старуха сказала, что она вышла из того возраста, когда орут, и что она без оранья скажет всем и каждому, что Былинкин за это время у них обедал три раза и не потрудился даже, ради любезности, предложить некоторую компенсацию хотя бы за один обед.

Страшно взволнованный, Былинкин язвительно сказал, что зато он, гуляя с Лизочкой, много раз покупал ей леденцы и пастилу и два раза букеты цветов и, тем не менее, не предъявляет мамаше никаких счетов.

На что Лизочка, закусив губы, сказала, что пусть он не врет нахально, что никакой пастилы не было, а было лишь монпансье и небольшой букетик фиалок, которым грош цена и которые, к тому же, на другой день завяли.

Сказав это, Лизочка с плачем вышла из комнаты, предоставив все на волю судьбы.

Былинкин хотел побежать за ней и извиниться

за неточные сведения, но, снова связавшись со старухой, назвал ее чертовой мамашей и, плюнув в нее, выбежал из дому.

Былинкин ушел из дому и два дня пропадал неизвестно где. И когда явился, то официальным тоном заявил, что он не считает более возможным пребывание в этом доме.

Через два дня Былинкин переехал на другую квартиру, в дом Овчинниковых. Лизочка демонстративно просидела эти дни в своей комнате.

Автор не знает подробностей переезда и также не знает, какие горькие минуты переживала Лизочка. И переживала ли она их. И сожалел ли обо всем Былинкин или все сделал с полным сознанием и решимостью.

Автору известно только, что Былинкин, переехав, долгое еще время, правда, уже после своей женитьбы на Марусе Овчинниковой, ходил к Лизочке Рундуковой. И они вдвоем, потрясенные своим несчастьем, сидели рядом, перебрасываясь незначительными словами. Иногда, впрочем, перебирая в своей памяти тот или иной счастливый эпизод и случай из прошлого, говорили о нем с грустной и жалкой улыбкой, сдерживая слезы.

Иногда приходила в комнату мать, и тогда они втроем оплакивали свою судьбу.

После Былинкин перестал ходить к Рундуковым. И, встречаясь с Лизочкой на улице, корректно и сдержанно кланялся ей и проходил мимо…

6

Так кончилась эта любовь.

Конечно, в иное время, лет, скажем, через триста, эта любовь так бы не кончилась. Она бы расцвела, дорогой читатель, пышным и необыкновенным цветом.

Но жизнь диктует свои законы.

В заключение повести автор хочет сказать, что, развертывая эту несложную историю любви и несколько увлекшись переживаниями героев, автор совершенно упустил из виду соловья, о котором столь загадочно сказано было в заглавии.

Автор побаивается, что честный читатель, или наборщик, или даже отчаянный критик, прочтя эту повесть, невольно расстроится.

— Позвольте, — скажет, — а где же соловей? Что вы, — скажет, — морочите голову и заманиваете читателя на легкое заглавие?

Было бы, конечно, смешно начинать сначала повесть об этой любви. Автор и не пытается этого сделать. Автор только хочет восполнить кое-какие подробности.

Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала:

— Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?

На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:

— Жрать хочет, оттого и поет.

И только потом, несколько освоившись с психологией барышни, Былинкин отвечал более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни.

Автор тоже именно так и думает: о будущей отличной жизни лет, скажем, через триста, а может, даже и меньше. Да, читатель, скорее бы, как сон, прошли эти триста лет, а там заживем.

Ну, а если и там будет плохо, тогда автор с пустым и холодным сердцем согласится считать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

Веселое приключение

1

Нет, не может автор понять, почему люди пишут скучные повести о всяких драмах и трагедиях.

Автор для душевного успокоения предпочитает взять какую-нибудь веселую развлекательную книжонку о том, о сем.

В самом деле, так приятно читать про что-нибудь счастливое, удачное. Так приятно видеть, когда герои все как на подбор красивые, умные, способные. Ходят чистенько одетые. Героини в шелковых и кисейных платьях. Ну приятно, когда про все хорошее читаешь!

Даже такая незначительная вещь, как погода, и то приятно, когда она хорошая на протяжении всей книги. Ну, это как-то радует и приподнимает настроение, когда солнце светит, когда кругом хорошо. Масса зелени. Тепло. Духовые оркестры поминутно играют. Вот какой желательно иметь фон, на котором бы развертывалось действие.

Но наши современные писатели, к сожалению, не учитывают этого горячего пожелания

публики. У них погодка взята по большей части ерундовая. Либо метель, либо буря. Либо ветер дует в морду герою. Герои же, как нарочно, подобраны нелюбезные. То и дело грубо ругаются. Одеты плохо. Вместо веселых и радостных приключений описываются разные несчастья и неприятности, либо вообще что-нибудь описывается, от чего клюешь носом.

Нет, не согласен автор с такой литературой. Пущай в этой литературе много хороших и гениальных книг, пущай в этих книгах черт знает какие глубокие идеи и разнообразные слова — не может автор найти в них душевного равновесия и радости.

И почему это французы могут изображать отличные и успокоительные стороны жизни, а мы не можем? Да что вы, товарищи, помилуйте! Хороших фактов, что ли, не хватает в нашей жизни? Или легких и бодрых приключений недостает? Или, по-вашему, ощущается недохватка в красивых героинях?

Что вы, дорогие товарищи! Все есть, если поискать. И любовь. И счастье. И благополучие. И красивые герои. И яркая бодрость. И наследства. И ванны. И голубые подштанники. И выигрышные займы, по которым можно выиграть 10 000.

Все это есть в нашей жизни.

Зачем же тогда засорять эту жизнь и сгущать черные краски? И так-то много скучного и бедного в наши переходные дни, зачем же еще литературой подбавлять пару?

Нет, не согласен автор с нашей высокой литературой! Конечно, автор и сам только недавно пришел к этим решительным мыслям.

Автор и сам недавно еще задавался на самые отчаянные и меланхолические идеи и на разрешения самых немыслимых вопросов. И вот — хватит. Довольно. Не в этом счастье.

Может, и в самом деле надо писать легко и весело. Может, и в самом деле надо писать только о хорошем и счастливом. Чтоб дорогой покупатель из книг черпал бодрость и радость, а не тоску и уныние.

Автор предполагает, что это именно так и должно быть.

И теперь, когда автор заканчивает свою книгу, он приходит к грустному размышлению о том, что вся книга написана не так, как надо бы.

Но что же поделать? Отныне автор берется рассказывать только бодрые, веселые и занимательные истории. Отныне автор отрекается от всех своих мрачных мыслей и меланхолических

настроений.

К сожалению, перебирая в своей памяти все приключения и события последних лет, автор с некоторым конфузом и замешательством должен заявить, что для почина особо выдающейся веселой истории автор прямо-таки не может сейчас припомнить. Вспоминается лишь одна, более или менее подходящая историйка, не то чтобы слишком веселая, но, пожалуй, тихонько посмеяться можно будет. Во всяком случае, на первый раз сойдет. А там чего-нибудь навернется более забавное.

А читателя автор насквозь узнал. Читателя хлебом не корми — дай ты ему за его деньги бодрые и счастливые переживания.

Какой-нибудь тут литературный критик, какой-нибудь писатель, какой-нибудь Рабиндранат Тагор ужасно как обрадуется и всполошится. «Вот, — скажет, потирая руки, — взгляните, — скажет, — на сукина сына — явно потрафляет читателю. Хватайте его и бейте по морде чем попало».

Подождите драться и ударять по морде, уважаемые критики. Обождите замахиваться. Дайте сказать человеку. Он не потрафляет читателю, а пишет так, как полагает нужным, ради бодрой

идеи и ради общего благополучия. Впрочем, житейская мудрость и опыт многих лет, а также слабое состояние здоровья не дозволяют автору вступить в пререканье с критиком.

Так вот, перебирая в памяти десятка полтора всяких историй, автор решает остановиться на забавном и веселом приключении, достойном пера какого-нибудь выдающегося французского писателя.

В этом веселом приключении много было счастливых и острых переживаний, много было бодрости и борьбы. Тут были романтические встречи. И стояла весьма недурная осенняя погода. Счастливый конец завершил эту трагикомическую эпопею.

Автор полагает, что лучшей истории ему для почину прямо-таки не припомнить.

Конечно, на первый взгляд особо выдающейся бодрости и счастья не будет ощущаться. Но нельзя же, чтоб сплошь было счастье и счастье. Этак и жить, сами понимаете, будет скучновато.

Итак, автор постарается в правдивых и бодрых тонах рассказать о веселом приключении, случившемся в самые недавние дни с Сергеем Петровичем Петуховым.

2

Сергей Петрович Петухов по воскресеньям на службу не ходил. В этот день, полный отдыха и бодрого веселья, Сергей Петрович вставал поздно, часов этак в десять, а то и в одиннадцать.

Но сегодня не было еще и десяти, когда Сергей Петрович сладко проснулся в своей постели, повернулся на другой бок и радостно улыбнулся наступающему утру.

Это была улыбка молодого, здорового организма, не захватанного еще врачами. Это была улыбка юноши, видевшего ночью отличные сны, светлые перспективы и бодрые горизонты.

И, действительно, в эту ночь Сергей Петрович видел себя каким-то молодым, богатым франтом. Он не помнил в точности, что он видел, но какие-то миловидные мордочки, какие-то танцующие барышни, какие-то легкие неоскорбительные речи и славные улыбки переплетались этой ночью в радостное сновиденье, счастливые картины молодости и удачи.

Сергей Петрович похлопал себя ладонью по зевающему рту и сел на постель.

Довольно чистая ночная рубашка из тонкого мадаполама плотно облегала высокую грудь и

молодые крепкие плечи.

Сергей Петрович долго сидел на постели и, обняв свои колени, обдумывал виденный сон.

И под влиянием этого сна, и, может быть, из-за того, что солнце светило в комнату, Сергею Петровичу захотелось легкой и беспечной жизни или какого-нибудь забавного и веселого приключения. Ему хотелось как бы продолжения сегодняшнего удачного сна.

Ему захотелось жить в просторной и веселой комнате, площадью не менее как в три квадратные сажени. Он уже мысленно застилал эту комнату пушистыми персидскими коврами и обставлял ее дорогими роялями и пианинами.

Он уже видел себя под руку с красивой, миловидной девушкой. Ему казалось, что он идет с ней в кафе, где пьет густое какао с венскими сухарями, платит за все один и затем, пошатываясь, выходит на улицу.

Сергей Петрович вздохнул, обвел тихим взглядом свое неказистое помещение и вдруг резким движением вскочил с постели.

Он вскочил с постели, сполоснул морду под жестяным рукомойником, причесал свои трепаные волосы и, прикрепив маленькое карманное зеркальце к стене, стал перед ним завязывать

галстук.

Он долго возился с галстуком, потом с сапогами, начищая их до самого отчаянного блеска. Потом долго примерял шляпу. И наконец, одетый и причесанный, слегка надушенный мятными каплями, вышел на улицу.

Стояло чудное, тихое утро бабьего лета. Масса зелени, воздуха и солнца на минуту ослепила Сергея Петровича. Где-то гремел духовой оркестр — хоронили общественного деятеля.

Серега постоял у дома, повертел в руке палочку и пошел вдаль по проспекту легкой танцующей походкой.

Сергею Петухову было двадцать пять лет. Он был молод и здоров. У него были крепкие и сильные мускулы, у него были крупные, удачные черты лица и красивые серые глаза с ресницами и бровями. Проходящие женщины с явным удовольствием глядели на его выпуклый стан, на его круглые полные щеки и на свежеразглаженные брюки без излишних пятен. Сергей Петрович прищуренным глазом приветствовал каждую проходящую мимо женщину. Иногда он оборачивался и смотрел ей вслед, что-то обдумывая. Он шел медленно и дышал полной грудью. Иногда насвистывал какой-нибудь веселый мотив.

Иногда останавливался у магазина рядом с какой-нибудь девушкой и смотрел на нее искоса, как бы оценивая и сравнивая с теми выдающимися барышнями, каких он видел этой ночью.

Вдруг Сергей обернулся и пристально посмотрел вслед какой-то проходящей девушке.

«Катюша Червякова собственной персоной», — подумал Сергей Петрович и, немного постояв, пошел вслед за ней.

Слегка задыхаясь, он догнал девушку. Он хотел сзади веселым, шаловливым движением рук закрыть ей глаза и после спросить фальшивым тоном: «Кто вас схватил за глаза?» Но вдруг вспомнил, что руки у него сегодня не особо чистые и что перед уходом он чистил сапоги, и ядовитый скипидарный дух гуталина вряд ли выветрился за пятиминутную прогулку. Серега раздумал это сделать и только, подойдя совсем близко к девушке, он, одернув ее за руку и шуточно затопав ногами, вскричал:

— Хоп, берегись!

Девушка, смертельно побледнев, испуганно отшатнулась. Скорей всего, она предположила, что какой-то дурак выкатывает тележку со двора. Но, увидев Сергея Петровича, она расхохоталась. Они вдвоем, взявшись за руки, хохотали, как

дети. Они буквально минут десять не могли произнести ни одного слова от приступов смеха.

Потом, слегка успокоившись, он спросил, куда она идет. И, узнав, что она гуляет, он взял ее под руку и поволочил за собой.

Много раз встречался Сергей Петрович с этой девушкой, но никогда не думал о ней и не вспоминал даже. А сейчас, под влиянием легкого веселого сна и бодрящей погоды, Серега ощутил в своей груди какое-то томление и любовный трепет.

Он крепко взял девушку под руку и торжественно повел ее по городу, как бы приглашая прохожих взглянуть на продолжение его сна.

Катюша Червякова, привыкшая видеть Сергея Петровича слегка хмурым, с обидчиво выпяченной нижней губой, решительно недоумевала. Она не знала, какая счастливая муха укусила ее кавалера. Но по природе своей веселая и смешливая, она поддерживала его бодрое, шаловливое настроение ума. Она говорила всякие пустяки, и он, захлебываясь от смеха и молодости, буквально хрюкал на всю улицу.

Молодость, красота и прекрасная погода связали вдруг эту парочку: им обоим показалось, что наступила любовь, увлечение или что-то

вроде этого.

И, когда они прощались у ее дома, Сергей Петрович стал взволнованно просить назначить свидание как можно скорей. Он говорил, что жизнь его быстро проходит без особых переживаний и приключений. Он крайне одинок. И он хотел бы поближе подойти к Катюше Червяковой. Не хочет ли она сегодня, в семь часов вечера прийти на угол Кирпичного переулка к кинематографу? Они пойдут на первый сеанс и там, сидя рядышком, посмотрят драму и под музыку обмозгуют, чего им делать дальше — гулять ли по городу или зайти куда-нибудь.

Слегка для вида поломавшись и заявив, что ей надо сегодня подрубить какие-то там мамашины простыни и пересчитать белье, девушка все же быстро дала свое согласие, испугавшись, как бы кавалер не раздумал насчет кино.

Они очень мило и просто попрощались и разошлись. Впрочем, Серега с минуту постоял еще перед калиткой, заглянул в ворота, бодро цыкнул на залаявшую на него собаку и пошел домой завтракать.

Завтрак был сытный. Яичница из трех яиц с луком и с хреном. Кусок чайной колбасы. Масло. Хлеба Сергей Петрович мог есть без устали. Хо-

зяйка с этим не считалась.

— Хорошая штука жизнь, — бормотал Сережа, кушая яичницу.

3

Автор не знает, что самое главное, самое, так сказать, великолепное в нашей жизни, из-за чего стоит, вообще говоря, существовать на свете.

Может быть, это служение отечеству. Может быть, служение народу и всякая такая ураганная идеология. Может быть так. Скорей всего, что так. Но вот в личной жизни, в повседневном плане, кроме этих высоких идей, существуют и другие, более мелкие идейки, которые, главным образом, и делают нашу жизнь интересной и привлекательной.

Автор ничего не знает о них и не берется запутывать простые и малокультурные умы своими на этот счет глупыми изречениями. Решительно не знает автор, что самое привлекательное в жизни.

Иной раз только автору кажется, что после общественных задач на первом плане стоит любовь. И что любовь — самое привлекательное занятие.

Вот другой раз идешь, предположим, по городу. Поздно. Вечер. Пустые улицы. И идешь ты,

предположим, в огромной тощище — в пульку, скажем, проперся или какая-нибудь мировая скорбь обуяла.

Идешь, и все кажется до того плохим, до того омерзительным, что вот прямо взял бы, кажись, и повесился бы сию минуту на первом фонаре, если б он освещен был.

И вдруг видишь — окно. Свет в нем красный или розовый пущен. Занавесочки какие-нибудь этакие даны. И вот смотришь издали на это окно и чувствуешь, что уходят все твои мелкие тревоги и волнения, и лицо расплывается в улыбку.

И тогда кажется чем-то прекрасным и великолепным и этот розовый цвет, и оттоманка какая-нибудь там за окном, и какая-нибудь смешная любовная канитель.

Тогда кажется все это чем-то основным, чем-то непоколебимым, чем-то раз навсегда данным.

Ах, читатель! Ах ты, милый мой покупатель! Да знаешь ли ты это драгоценное чувство любви, этот настоящий любовный трепет и сердечные треволнения? Не кажется ли тебе это самым драгоценным, самым привлекательным в нашей жизни?

Автор повторяет — он не утверждает этого. Он решительно не утверждает. Он надеется, что

есть в жизни что-то еще более лучшее и более прекрасное. Автору только иногда кажется, что нет ничего выше любви и что любовь, пожалуй, очень большое и очень привлекательное занятие.

Сергей Петрович Петухов хотя был и помоложе автора, но у него были такие же мысли и такие же точно соображения насчет жизни и любви. Он так же понимал жизнь, как понимает ее автор, умудренный житейским опытом.

И вот в знаменитый день, в то ясное воскресенье, Сергей Петрович, сытно позавтракав, часа полтора валялся на кровати, предаваясь любовным мечтаниям. Он думал о любовном приключении, которое у него уже завязывается. И думал о тех умных, веселых и энергичных словах, которые он нынче утром говорил девушке. И еще думал о том, что любовь очень может скрасить его скучную и одинокую жизнь.

Сергей Петрович, вытянув ноги на спинку кровати, с нетерпением стал подсчитывать, сколько же, наконец, времени осталось до назначенного часа, до семи часов вечера, когда он будет сидеть со своей барышней в кино и там, под музыку бравурного рояля и под стрекот аппарата, будет говорить тихим и энергичным шепотом о той

неожиданной нежности, которая нынче охватила его.

Было начало второго.

— Почти шесть часов ожидания, — бормотал наш нетерпеливый герой.

Но вдруг, стремительно вскочив с кровати, он быстро зашагал по комнате, бормоча проклятия и пихая ногами стулья и табуреты, попадавшие под его неосторожные шаги.

В самом деле. Что ж это он лежит, как дурак? Нужно же поскорее действовать.

Сергей Петрович был в настоящую минуту, так сказать, не при деньгах. Полученное жалованье давно ушло на всякие житейские нужды и потребности, и сейчас у нашего героя было в кармане всего четыре копейки меди и одна трехкопеечная почтовая марка.

Сергей Петрович об этом отлично помнил, когда говорил девушке о кино. Он не захотел только в те минуты портить себе кровь и обдумывать, где бы ему занять эти, в сущности, ничтожные деньги. Он решил обдумать это дома. Но вот уже почти два часа он валяется на матрацах, не предпринимая никаких шагов!

Сергей Петрович без пиджака, в одной рубашке, бросился в соседнюю комнату. Он захотел за-

нять у соседа, с которым он был в довольно-таки приятельских отношениях. Однако сосед сказал, что сегодня он решительно не может одолжить. Он верит в благие намерения Сергея Петровича отдать эти деньги, но, к сожалению, у него самого до жалованья осталось рубля два, которые ему крайне нужны сегодня. А, кроме того, он вообще воздерживается давать в долг, считая это совершенно неумной и рискованной затеей.

Сергей Петрович бросился на кухню. Он стал умолять хозяйку выручить его из беды. Однако хозяйка сухо и непреклонно отказала, заявив, что она сама едва-едва сводит концы с концами и что она, к сожалению, не удосужилась еще приобрести на рынке подходящий станок, на котором она могла сколько ей влезет печатать червонцы и двугривенные.

Сергей Петрович, в сильных грустях и даже несколько взволнованный, прошел в свою комнату и снова прилег на кровать. Он стал методически обдумывать, где бы ему разжиться монетой. Ему нужна, в сущности, небольшая сумма — ну, на худой конец, ему нужно семь гривен.

Сергею Петровичу до того захотелось достать эти деньги, что на один миг он даже отчетливо увидел их в своей руке — три двугривенных и

один гривенник.

Стараясь обдумывать спокойно, Сергей Петрович мысленно обошел всех знакомых и в сильных выражениях упрашивал одолжить ему нужную сумму. Но вдруг пришел к мысли, что в долг он действительно вряд ли у кого займет. Тем более перед первым числом.

Тогда Сергей Петрович стал обдумывать, как бы иным способом выкрутиться из некрасивого положения. Быть может, продать что-нибудь?

Да, конечно, продать!

Тогда Сергей Петрович быстро открыл шкап, письменный стол, ящик. Нет, решительно ничего нет. Все ерунда и рвань. Не может же он загнать последний костюм или хозяйский шкап и диван! Вот если загнать старые сапоги. Но что за них дадут?

Вот что. Да, конечно, Сергей Петрович сейчас, сию минуту продаст эту мясорубку. Она у него лежит в корзине. Она досталась ему от покойной матери. Странно, почему он эту машинку до сих пор не продал?

Сережа стремительно вытянул из-под кровати корзину, полную всякой домашней пыльной рухляди. С большой надеждой извлекал Сергей из корзины разные вещи и предметы, мысленно

оценивая их. Но все это опять-таки была сплошная не ценная ерунда. Масса пыльных пузырьков, заскорузлых склянок, коробочек от порошков с закрученными рецептами. Какой-то тяжелый висячий шар от лампы с дробью. Ржавый засов. Два крючка. Мышеловка. Колодка от сапог. Кусок голенища. И вот, наконец, мясорубка.

Сережа стер с нее пыль платком и любовно прикинул ее на ладонь, мысленно взвешивая и оценивая.

Это была довольно массивная, плотная мясорубка с ручкой. В девятнадцатом году в ней мололи овес.

Сережа сдул с нее последнюю пыль, завернул в газету и, накинув на себя пальто, опрометью кинулся на рынок.

Воскресный торг был в полном разгаре. На площади ходили и стояли люди, бормоча и размахивая руками. Здесь продавались штаны, сапоги и лепешки на подсолнечном масле. Стоял страшный гул и острый запах.

Сережа протискался сквозь толпу и стал на виду в сторонку. Он развернул свою драгоценную ношу и опрокинул ее на ладонь, ручкой вверх, приглашая этим проходящую публику взглянуть на товар.

— Вот мясорубка, — бормотал наш герой, торопливая события.

Сережа довольно долго стоял — никто не подходил даже. Только одна полновесная дама на ходу спросила о цене и, узнав, что цена — полтора целковых, пришла в такое сильное нервное раздражение и в такую ярость, что начала на весь рынок крыть и срамить Сергея Петровича, называя его мародером и подлецом. И под конец заявила, что он сам со своей машинкой стоит не более как рубль с четвертью.

Собравшаяся толпа несколько оттеснила расходившуюся даму.

Один предприимчивый молодой человек, тут же отделившись от толпы, осмотрел мясорубку, вынул кошелек и, брякнув им об ладонь, сказал, что полтора целковых — цена, действительно, неслыханная в наши дни и что мясорубка решительно не стоит таких денег. Она в плохом виде, и что если владелец мясорубки желает, то может получить за нее наличными деньгами двугривенный.

Сережа отказался, гордо покачав головой.

Он долго стоял после этого в неподвижной позе. Никто не подходил к нему. Толпа давно поредела.

У Сергея Петровича крайне затекли руки и заныло сердце.

Но вот неожиданно он глянул на рыночные часы и пришел в совершеннейший ужас. Было уже без четверти четыре. Он еще ничего не сделал.

Тогда Сергей решил, не теряя драгоценного времени, продать мясорубку первому покупателю за любую цену, с тем, чтобы немедленно куда-нибудь побежать и раздобыть недостающие деньги.

Он продал мясорубку какому-то продавцу за пятнадцать копеек.

Тот долго и с особо оскорбительным выражением лица отсчитывал медяки в протянутую руку Сергея Петровича. И, отсчитав тринадцать копеек, сказал: «Хватает».

Сережа хотел покрыть покупателя, но, взглянув еще раз на часы, охнул и ринулся к дому.

Было четыре часа пополудни.

4

Сережа, зажав в кулаке тринадцать копеек, бросился домой, на ходу обдумывая планы и возможности, по которым он достанет остальную сумму. Однако голова решительно отказывалась что-либо придумать. Лоб покрылся по́том, и в

висках лихорадочно стучало. Мысль о том, что осталось менее трех часов, не давала спокойно обдумать создавшееся положение.

Сергей Петрович пришел домой и окинул печальным взором свою комнату.

Он было решил загнать что-нибудь основное из своего постельного гардероба — подушку, например, или одеяло. Но в это время подумал о том, что девушка после кино, очень свободно, может посетить его скромное жилище. Ну что он ей тогда скажет? В самом деле, ну что он может сказать барышне насчет недостающего одеяла? Позор. Ведь барышня из любопытства сама может спросить: «Где, — скажет, — у вас, Сергей Петрович, одеяло?»

При этой мысли сердце Сергея Петровича облилось кровью и страшно застучало, и он решительно отверг этот недостойный план.

Но вдруг новая счастливая мысль осенила его бедную голову.

Тетка. Родная тетка. Тетка Наталья Ивановна Тупицына. Родная тетка Сергея Петровича. Что ж он раньше, дырявая голова, о ней не подумал?

Прежняя бодрость и веселье охватили все существо Сергея Петровича. Он стал танцевать какой-то дикий африканский танец, размахивая

своим пальто и подвывая. И, накинув пальто только на лестнице, Сергей Петрович хорошей, бодрой рысцой побежал на Газовую улицу, № 4 к родной, дорогой своей тетке.

Сергей Петрович довольно редко видался с теткой. Он виделся с ней не более двух раз в год — на именины и Пасху. Но, тем не менее, это была родная тетка. Она поймет. Сергей был довольно-таки любимым ее племянником. У нее была даже сумасшедшая любовь к нему. Она сама ему сказала, что после ее смерти пущай он владеет тремя мужскими костюмами, которые остались после ее покойного супруга, умершего полтора года назад от совершенно незаразной болезни — от брюшного тифа.

И не может быть, чтобы эта родная тетка не вошла в его пиковое положение.

Вот, наконец, и Газовая улица. А вот и симпатичный дом № 4, двухэтажный, с мелкими окнами.

Сережа вбежал на двор через калитку. Поднялся одним духом во второй этаж. Вошел в кухню.

Две старые женщины хлопотали у плиты. Это были довольно вздорные старухи, квартирные хозяйки — сестры Белоусовы. Одна из них, младшая и наиболее ядовитая старуха, стояла на

корячках перед открытой печкой и кочережкой вынимала угли в тушилку, из явной скупости. Другая старушка, старшая Белоусова, вытирала тарелки засаленным полотенцем. Какой-то небольшой парень, может быть, какой-нибудь белоусовский родственничек, сидел на табурете и беззастенчиво жрал вареный картофель.

На стене перед плитой в громадном количестве бегали тараканы. У окна висели железные часы с гирями. Маятник качался со страшной быстротой и хрипло, со скрежетом, отбивал такт тараканьей жизни.

Женщины таинственно переглянулись, когда Сергей Петрович вошел в кухню. Они замахали на него руками, как бы приглашая его вести себя потише. А сами, стараясь перегудеть друг друга, начали докладывать, что вот уж вторая неделя, как его тетка, Наталья Ивановна Тупицына, лежит тяжело больная и даже, так сказать, на краю могилы. И что приглашенный врач, выслушав ее, ничего такого особенно страшного не сказал, он только развел руками и прописал порошки, от которых на другой день к вечеру у больной отнялись ноги и перестали работать язык и желудок. И что если так пойдет дальше, то старушка Тупицына не сегодня завтра, с помощью

божьей, перекочует в иной, лучший мир. И что Сергей Петрович, как единственный ее законный наследник, пущай сам распоряжается всякими могилами и гробами, так как у них нету времени бескорыстно работать неизвестно на кого.

Услышав слова о наследстве, Сергей Петрович, воспрянув духом, сразу заговорил о деньгах, но старухи, шокированные его поведением, стали ему выговаривать за его нетерпение. Вот когда старуха умрет — тогда другое дело. Но пока этого не случилось, он не получит из этого дома ни копейки. От этих слов у Сергея Петровича совершенно упало сердце. Последняя надежда его рухнула. Он почти не соображал, что ему говорили. Он оттеснил причитавших старух и медленно, слегка покачиваясь, пошел по коридору в теткину комнату.

Тетка неподвижно лежала на кровати, тяжело и хрипло дыша.

Сергей Петрович обвел глазами комнату и мельком глянул на желтое старухино лицо с закрытыми глазами и с острым носом. У Сергея Петровича захватило дыхание, и, осторожно ступая на носки, он снова пошел в кухню.

Ему не было жаль умирающей тетки. Он даже в те минуты и не подумал о ней. Он только поду-

мал о том, что сегодня решительно нет никакой возможности призанять у нее денег.

Сергей Петрович минут пять стоял в кухне почти в полной неподвижности. Ужасная бледность покрыла его лицо.

Две женщины, из уважения к его нестерпимому горю, старались также не двигаться, они только беззвучно вздыхали и вытирали кончиками платков свои губы и глаза. Стояла почти полная тишина. Только один парнишка по-прежнему, грубо чавкая, жрал картофель. И по-прежнему кухонные часы мерно отбивали движение времени.

Тогда Сергей Петрович, шумно вздохнув, искоса посмотрел на тикающие часы и замер в совершенном и окончательном оцепенении.

Было начало шестого.

Большая стрелка заканчивала первую свою четверть.

Второй раз в этот день сердце Сергея Петровича облилось кровью. Заломило в боку. Вся голова вспотела. И в горле стало сухо и жестко.

Сосущая тревога сменилась вдруг полным и бурным отчаянием. С Сергеем Петровичем сделалась такая нервная лихорадка, что он едва нашел выход на лестницу. Он сунулся было в

чулан, потом дважды ткнулся в уборную, потом согнал с табуретки парнишку и хотел ударить его по морде и, наконец, с помощью крестящих его старух нашел выходную дверь.

Он едва прошел через дверь, до того мотались его руки и ноги.

Только на улице Сергей Петрович немного пришел в себя. Он медленным шагом пошел к дому. Он старался ни о чем не думать. Но всевозможные мысли сами давили его голову. Он пытался иронией несколько смягчить свое положение.

— Вот как, брат Серега, пришпилило, — бормотал он. Конечно, будь это не выходной день, он достал бы на службе. Но сегодня он отказывается что-либо придумать.

Он пришел домой и в полном изнеможении лег на кровать.

— В чем, собственно, дело? — успокаивал себя Сергей. — Ну, эка штука — денег нету! Подумаешь, какая нестерпимая беда! Пойду к ней и скажу, мол, нету — мало ли какие бывают заминки.

Но тут какое-то упрямство и какое-то тупое желание достать во что бы то ни стало не давали ни о чем другом думать.

Казалось, что в этом сейчас заложен весь смысл жизни. Или он, Сергей Петрович Петухов, до-

станет эти жалкие деньги и пойдет сегодня с девушкой, как ходят все люди, беспечно и весело, или же он распишется в собственной слабости и будет выкинут за борт жизни.

Сергей Петрович неподвижно лежал на постели. Целые фантастические планы и картины стали рисоваться в его мозгу.

Вот, например, он идет по улице и находит бумажник. Или вот он заходит в магазин, наводит панику и ужас на приказчиков и забирает товару на кругленькую сумму. Или приходит в Госбанк, загоняет служащих в ванную комнату и берет полный мешок гривенников.

Тут же после всякой своей фантазии Сергей безнадежно усмехался и упрекал себя в нереальном подходе к событиям.

Он упрашивал себя не волноваться, а строго, по порядку, не торопясь и не предаваясь заманчивым иллюзиям, перечислять методически все возможные выходы.

Но вокруг все — и кровать, и комната, и подушки — стало невыносимым. Сергей Петрович почти выбежал на улицу.

Он, крупно шагая и бормоча что-то, прошел по проспекту.

Сам того не замечая, он остановился у часового

магазина и долго глядел на круглый белый циферблат часов, выставленных в окне.

Он долго стоял и глядел, как двигалась большая стрелка. Она двигалась крайне медленно, и с каждым ее движением высыхало в горле Сергея Петровича.

Было шесть часов вечера.

Большая стрелка несколько даже перемахнула двенадцать.

Сергей Петрович резко повернулся и пошел дальше. И, проходя мимо Госбанка, криво усмехнулся и побарабанил пальцами по вывеске.

И пошел дальше, усмехаясь.

Он долго шел по каким-то улицам. И вдруг снова увидел дом своей тетки.

5

Сергей Петрович, немного постояв у теткиного дома, решительным шагом прошел во двор и стал подниматься по лестнице.

Неясные мысли приняли вдруг отчетливую форму.

Ну, конечно. В чем же дело? Он придет к тетке и просто возьмет у нее что-нибудь. Или разбудит ее и попросит. Он совсем не хочет скрывать от нее. Он, наконец, как наследник может это сделать.

Он может, например, открыть комод или какой-нибудь там ночной столик и взять какую-нибудь мелочь. В чем же дело? В конце концов, он может даже предупредить этих двух квартирных дур.

Сергей Петрович поднялся во второй этаж, подошел к дверям и минуты две стоял перед ними в нерешительности.

Потом слегка подергал ручку. Дверь была закрыта.

Сергей Петрович хотел было громче потрясти ручку, но вдруг услышал шаги в кухне. Кто-то подходил к дверям.

Сам не зная почему, Сергей Петрович испугался и одним прыжком бросился в сторону на лесенку, ведущую на чердак.

В это время загремел крюк, дверь открылась, и квартирная хозяйка, старшая Белоусова, с ведром, полным помоев, вышла на лестницу и, не заметив Сергея Петровича, стала спускаться вниз.

Немного обождав, Сергей Петрович быстро и решительно подошел к незапертым дверям, осторожно открыл их и вошел в кухню.

В кухне никого не было.

Тогда, осторожно и тихо ступая на носки, Сергей Петрович пошел по коридору в теткину комнату. В комнате было темно.

Безотчетный страх, почти ужас охватил Сергея. Он сделал три шага по направлению к теткиной кровати и остановился, наступив на мягкие войлочные старухины туфли. Дрожь прошла по его телу.

Спокойное, хотя и хриплое, дыхание тетки своей равномерностью немного успокоило Сергея Петровича. Он подошел вплотную к кровати, пошарил руками впереди себя и, нащупав столик, подошел к нему.

Вдруг неосторожным движением трясущейся руки он опрокинул на столике какой-то пузырек. Вслед за пузырьком со страшным звоном упала на пол столовая ложка. Тетка слегка мотнула головой и промычала неясное.

Сергей Петрович замер, стараясь не дышать.

В соседней комнате послышались вдруг чьи-то шаги. Кто-то теперь шел по коридору беспокойными, шаркающими ногами.

Сергей Петрович заметался по комнате. Он подбежал к окну. Потом повернулся назад и, стремительно открыв дверь, бросился в темный коридор. На быстром ходу он сшиб с ног младшую старуху Белоусову и, перепрыгнув через нее, побежал дальше.

Ужасно закричала старуха, и крик ее гулко

разнесся по всему дому.

Сергей Петрович вбежал на кухню, погасил за собой свет и кинулся на площадку.

Сергей Петрович хотел одним духом броситься вниз, но вдруг внизу послышались торопливые шаги. Ужасный старухин крик всполошил весь дом, а может быть, и всю улицу.

Теперь по лестнице снизу бежали какие-то люди. Сергей заметался на площадке и снова, как и в первый раз, бросился на верхнюю чердачную лесенку. И там, у закрытой двери, присел, почти упал на ступеньки, сердце его колотилось отчаянно. Не хватало воздуха. С разинутым ртом сидел Сергей Петрович на ступеньках и с ужасом прислушивался к тому, что происходило внизу.

Какие-то люди вбежали в квартиру, кто-то отчаянно визжал.

И кто-то, сквозь рыдания, кричал и плакал. Человек десять выбежали вдруг из квартиры и бросились вниз.

Выждав несколько минут, а может быть и полчаса, Сергей Петрович стал спускаться с лестницы. Он медленно, почти задумчиво, положив руки назад, с полным и ледяным спокойствием прошел через двор и, не встретив никого, очутился на улице.

На улице, у ворот, толпились люди.

— Ну, что? — спросили Сергея Петровича. — Поймали?

Сергей Петрович промычал что-то в ответ и тихим шагом, слегка покачиваясь, пошел к своему дому.

Он, как тень, прошел в свою комнату. Потом прошел в кухню и поглядел на хозяйский будильник.

Было четверть девятого.

Сергей Петрович усмехнулся и, сняв пиджак и штаны, долго ходил по комнате в одних подштанниках. Он соображал, где именно он был в семь часов вечера. И никак не мог решить.

Вдруг кровь ударила ему в голову. Он мысленно представил себе растерянное лицо девушки, ждущей его час и более.

Потом, снова усмехнувшись, Сергей Петрович лег на постель. Он спал беспокойно, часто мычал во сне и перекладывал подушку.

6

Сергей Петрович проснулся рано. Было семь часов утра.

Он сидел на постели в одних подштанниках и задумчиво зашнуровывал ботинок.

В этот момент постучали в дверь, и в комнату тихо вошла младшая старуха Белоусова.

Сергей Петрович страшно побледнел и встал с постели. Он дрожал, и зубы его отбивали барабанную дробь. Старуха замахала на него руками, заявив, что пусть он зря не стыдится своего вида, он вполне ей годится в правнуки, и что она на своем веку много перевидала мужчин в самых разнообразных подштанниках.

Старуха, присев на табурет, скорбно высморкалась в головной платок и торжественно сказала, что сегодня под утро померла его тетка, Наталия Ивановна Тупицына.

Сергей Петрович сперва просто не понял, о чем идет речь. Он предполагал услышать от старухи кое-какие намеки и подозрения относительно вчерашнего происшествия, однако старуха говорила о другом.

Но вот гостья, выждав для приличия несколько минут и безутешно всплакнув о безвременно погибшей тетке, принялась длинно и подробно рассказывать об ужасах вчерашнего налета.

Сергей Петрович снисходительно слушал, потом стал думать о своем.

Конечно, думал Сергей, можно бы пойти сейчас к Катюше и объяснить — вот, мол, вчера померла

тетка. Так сказать, семейные обстоятельства не дозволили вчера провести прилично время. Он, мол, сидел у постели умирающей родственницы.

Конечно, это можно сделать. Но вчерашнее волнение, вчерашние ужасные потрясения несколько притупили охоту Сергея Петровича. Он снова стал слушать старухину речь.

Старуха длинно нахально врала о вчерашнем бандитском нападении, совершенно не предполагая, что перед ней сидит человек, кое-что знавший об этом деле. Старуха уверяла, что налетчиков было трое и ими командовала одна женщина. И что, кроме этих четырех, был еще пятый — наводчик — совершенно безусый парень.

Тут Сергей Петрович несколько не выдержал и высказал предположение, что старуха, видимо, с перепугу, обмишурилась и приняла своего белоусовского родственника за безусого наводчика, а свою многоуважаемую сестрицу за атамана.

На что старуха с обидой заявила, что пущай он при себе оставит свои лишние сентенции и что только ее находчивость и смелость не допустили разбойников разграбить имущество их, а также Сергея Петровича.

Тут старуха подошла вплотную к наиболее острому и занимательному вопросу. Она дели-

катно повела речь об оставшемся наследстве.

Ах, да! Сергей Петрович с этими волнениями вовсе позабыл об этом наследстве. Это же прямо великолепно!

Снова бодрость и счастье охватили Сергея Петровича. Снова радужные перспективы и счастливые горизонты открылись перед ним. Он мысленно примерял теткины костюмы и жилеты. Он мысленно шел в новеньком пиджаке под руку с Катюшей Червяковой. Он мысленно торговался с татарином, загоняя ему всякое ненужное теткино барахло.

Долой уныние и долой меланхолию! Да здравствуют бодрые слова, бодрые мысли и прекрасные желания! Как хорошо и отлично жить на свете. Как хорошо и какое счастье чувствовать жизнь такой, какая она есть, а не такой, как иной раз кажется.

Сергей Петрович чувствовал себя семнадцатилетним мальчиком. Он пустился бы в пляс, он пошел бы отплясывать фокстрот с младшей Белоусовой, если бы было прилично танцевать сразу после смерти родственников.

Сергей Петрович вежливо попрощался со старухой, великосветски заявил, что он непременно будет сегодня на панихиде. Он не пойдет на служ-

бу. Он, конечно, сейчас же смотается до Катюши Червяковой и оставит ей прискорбное письмо с наилучшими извинениями. И потом пойдет отдать последний долг родственнице.

Сергей Петрович несколько даже заволновался. Он забоялся, как бы в последний момент старухи не почистили его наследство.

Он быстро присел к столу и, барабаня пальцами, стал обдумывать текст письма.

Радость и счастье давили грудь и мешали сосредоточиться.

Сергей Петрович взглянул в окно и замер в полном восхищении. Вставало прелестное утро. Голубое небо и спокойные верхушки деревьев предвещали отличный день.

— Как хорошо жить, — бормотал Сергей, открывая форточку. — Как хорошо дышать утренней прохладой. Как хорошо любить какую-нибудь миловидную барышню.

Сергей Петрович решительно присел к столу. Он написал несколько слов Катюше с объяснениями и просьбой непременно прийти сегодня, в семь часов, в назначенное место. Он запечатал конверт, оделся и вышел на улицу.

Он шел с гордо поднятой головой. Вчерашний ужас и волнения отошли куда-то в вечность. Вче-

рашний маленький страх перед жизнью исчез и сменился энергичным мужеством.

И в чем, собственно, дело? Да, действительно, вчера он немножко как будто сдал. Вчера он слегка поволновался. Но все остается по-прежнему. Прекрасная жизнь продолжается. И продолжается его веселое любовное приключение. За ним идут счастье и удача.

Сергей Петрович отдал письмо дворнику для передачи Катюше Червяковой и сам, глубоко вдыхая утреннюю прохладу, пошел легкой танцующей походкой к бывшей своей тетке.

Сергей пришел к самой панихиде. Старый батюшка тянул свою канитель. Старухи Белоусовы тихонько хрюкали, оплакивая свою последнюю жилицу. Но, вместе с тем, все это веяло яркой бодростью и повседневной жизнью.

Сама покойная тетка удобно расположилась на столе, на лучших кружевных наволочках. Спокойствие и счастье лежали на ее добродушном лице. Старуха была как живая. Некоторый даже румянец пробивался сквозь ее желтую кожу. Казалось, как будто она, устав, на минуту прилегла на столе и вот-вот сейчас, отдохнув, встанет и скажет: «А вот и я, братцы мои». Сергей Петрович долго смотрел на нее добрыми глазами.

«Тетка, тетка, — думал он. — Экая ты, брат, тетка. Подохла-таки...»

Сергей Петрович стоял неподвижно, склонив голову. Он думал о кратковременной жизни, и о непрочности человеческого организма, и о том, что надо эту жизнь заполнять погуще всякими отличными делами и веселыми приключениями. И эти мысли не горем и меланхолией наполняли его сердце — на сердце его были мир и тишина.

И Сергей Петрович, не дождавшись конца панихиды, тихо поклонился неподвижной тетке и вышел из помещения.

Он пошел по коридору в комнату своей тетки. Там было все аккуратно прибрано. И ничто не говорило о смерти.

Сергей Петрович беглым взглядом оглядел комнату, прикинул на глаз стоимость каждой вещицы. И, насчитав до кругленькой суммы — сто рублей, тихонько улыбнулся, вышел из комнаты и, закрыв дверь на ключ, пошел на улицу.

Он шел по улице и радостно смеялся. Солнце, несмотря на осень и несмотря на свои все растущие пятна, обжигало его всем своим стремительным пылом. Ветра никакого не было.

7

Вечером, в тот же день, Сергей Петрович встретился со своей дамочкой.

Она пришла несколько позже его. Он, волнуясь и подыскивая приличные слова, взял ее руки и тут же, на углу, стал объяснять причины вчерашнего отсутствия.

Да, он ни на минуту не мог уйти. Его родная тетка предпочитала помирать на его руках.

Он в сильных красках описывал теткину смерть. Засим перешел на описание оставленного имущества.

Девушка мило моргала ресницами и, добродушно усмехаясь, говорила, что вчера, действительно, она сильно разобиделась, но сегодня не высказывает никаких претензий.

Они, мило обнявшись, сидели в зрительном зале. И под стрекот аппарата Сергей Петрович шептал ей всякие порядочные слова о своих чувствах и намерениях. Девушка благодарно пожимала ему руку и говорила, что он с первого взгляда ей приглянулся своей внешностью.

После кино Сергей Петрович со своей мамзелью долго шлифовал тротуары. А немного попозже она посетила его скромное жилище.

В половине двенадцатого ночи Сергей Петрович выпускал ее от себя. Это видел гражданский инвалид Жуков. Он в это время искал свою кошку на лестнице и слышал, как Сергей Петрович сказал: «В крайнем случае можно и записаться». Через две недели они записались.

А через полгода Сергей Петрович с молодой своей супругой выиграли пятьдесят рублей по Крестьянскому займу, доставшемуся им от бывшей тетки. Радости их не было границ.

Сирень цветет

1

Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение.

Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.

И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные.

И герои не горазд такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами.

Конечно, об чем говорить — персонажи, действительно, взяты не высокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие, незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством. Что же касается клеветы на человечество, то этого здесь определенно и решительно нету.

Это раньше можно было упрекать автора, если

и не за клевету, то за некоторый, что ли, излишек меланхолии и за желание видеть разные темные и грубые стороны в природе и людях. Это раньше, действительно, автор горячо заблуждался в некоторых основных вопросах и доходил до форменного мракобесия.

Еще какие-нибудь два года назад автору и то не нравилось и это. Все он подвергал самой отчаянной критике и разрушительной фантазии. Теперь, конечно, неловко сознаться перед лицом читателя, но автор в своих воззрениях докатился до того, что начал обижаться на непрочность и недолговечность человеческого организма и на то, что человек, например, состоит главным образом из воды, из влаги.

— Да что это, помилуйте, гриб или ягода! — восклицал автор. — Ну зачем же столько воды? Это ну прямо оскорбительно знать, из чего человек состоит. Вода, труха, глина и еще что-то такое в высшей степени посредственное. Уголь, кажется. И вдобавок в этом прахе еще чуть что микробы заводятся. Ну что это такое! — восклицал в те годы автор не без огорчения.

Даже в таком святом деле — во внешнем человеческом облике — автор и то стал видеть только грубое и нехорошее.

— Только что мы привыкли к человеку, — бывало, говорил автор своим близким родственникам, — а если чуть отвлечься или, к примеру, не видеть человека пять-шесть лет, то прямо удивиться можно, какое безобразие наблюдается в нашей наружности. Ну рот — какая-то небрежная дыра в морде. Оттуда зубы веером выступают. Уши с боков висят. Нос — какая-то загогулина, то есть как нарочно посреди самой морды. Ну некрасиво! Неинтересно глядеть.

Вот, примерно, до таких глупых и вредных для здоровья идей доходил автор, находясь в те годы в черной меланхолии. Даже такую несомненную и фундаментальную вещь, как ум, автор и то подвергал самой отчаянной критике.

— Ну ум, — говорил автор, — предположим. Действительно, спору нет, много чего любопытного и занимательного изобрели люди благодаря уму: микроскоп, бритва «Жиллет», фотография и так далее, и так далее. Но чтоб, значит, такое изобрести, чтоб каждому человеку жилось бы совершенно припеваючи, — этого еще окончательно нету. А столетия, промежду прочим, идут, века идут. Солнце уж пятнами стало покрываться. Остывает, видите ли. Год-то у нас, скажем, одна тысяча девятьсот двадцать девятый. Эвон

сколько времени уже промигали.

Вот примерно такие недостойные мысли мелькали у автора.

Но эти мысли мелькали, без сомнения, по случаю болезни автора.

Его острая меланхолия и раздражение к людям доводили его форменно до ручки, заслоняли горизонты и закрывали глаза на многие прекрасные вещи и на то, что у нас сейчас кругом происходит.

И теперь автор бесконечно рад и доволен, что ему не пришлось писать повести в эти два или три прискорбные года. Иначе большой позор лег бы на его плечи. Вот это был бы действительно злостный поклеп, это была бы действительно грубая и хамская клевета на мировое устройство и человеческий распорядок.

Но теперь вся эта меланхолия прошла, и автор снова видит своими глазами все, как оно есть.

Причем, хворая, автор отнюдь не отрывался от масс. Напротив того, он живет и хворает в самой, можно сказать, человеческой гуще. И описывает события не с планеты Марс, а с нашей уважаемой Земли, с нашего Восточного полушария, где как раз и находится в одном из домов коммунальная квартирка, в которой жительствует автор и в

которой он, так сказать, воочию видит людей, без всяких прикрас, нарядов и драпировок.

И по роду такой жизни автор замечает, что к чему и почему. И сейчас упрекать автора в клевете и в оскорблении людей словами просто не приходится. Тем более автор последнее время особенно горячо полюбил людей со всеми ихними пороками, недостатками и прочими вышеуказанными особенностями.

Конечно, другие интеллигенты, действительно, верно, иной раз произносят разные слова. И, дескать, люди определенно еще дрянь. И, дескать, их надо еще подровнять, привести в порядок. Надо из них вытряхнуть всякие грубые элементы. Надо их подутюжить. Только тогда жизнь может засиять в полном своем дивном блеске. Остановка, так сказать, за небольшим. Но автор как раз не имеет такого мнения. Он решительно отмежевывается от таких взглядов. Конечно, безусловно надо изжить такие печальные недостатки механизма, как бюрократизм, мещанство, канцелярская волокита, чубаровщина и так далее. Но все остальное, пока что, более или менее стоит на месте и не мешает постепенному улучшению жизни.

И если б автора спросили:

— Чего ты хочешь? Чего бы ты хотел, например, в ударном порядке изменить в своих близких людях, кроме этих вышеуказанных недостатков?

Автор затруднился бы сразу ответить.

Нет, кроме этого он ничего не хочет изменять. Так, разве самую малость. В смысле, что ли, корысти. В смысле повседневной грубости материального расчета.

Ну, чтобы люди в гости стали ходить, что ли, так, для приятного душевного общения, не имея при этом никаких задних мыслей и расчетов. Конечно, все это блажь, пустая фантазия, и автор, вероятно, с жиру бесится. Но такая уж сентиментальная у него натура — ему желательно, чтоб фиалки прямо на тротуарах росли.

2

Конечно, все, что сейчас говорилось, может, и не имеет прямого отношения к нашему художественному произведению, но уж очень, знаете, все это наболевшие, актуальные вопросы. И такой уж каторжный характер у автора — покуда он не выскажется перед читателем, — прямо, знаете ли, не до повестушки.

Хотя как раз в данном случае эти слова отчасти все же имеют некоторое отношение к нашей

повести. Тем более мы беседовали тут про разные корыстные расчеты. И в повести как раз выведен такой герой, который столкнулся лицом к лицу с такими же обстоятельствами и прямо рот раскрыл, утомленный целым вихрем событий, которые разыгрались на этой почве.

В молодые, прекрасные годы, когда жизнь казалась утренней прогулкой, вроде как по бульвару, автор не видел многих теневых сторон. Он просто не замечал этого. Не на то глядели его глаза. Его глаза глядели на разные веселые вещицы, на разные красивые предметы и переживания. И на то, как цветки растут и бутончики распускаются, и как облака плавают, и как люди друг дружку взаимно горячо любят.

А как все это происходит, и что чем движется и чем толкается, автор не видел по молодости лет, по глупости характера и по наивности своего зрения.

А после, конечно, стал себе автор приглядываться. И вдруг видит разные вещи.

Вот он видит — седовласый человек жмет другому ручку, и в глаза ему глядит, и слова произносит. Вот раньше поглядел бы на это автор — душевно бы порадовался. «Эвон, — подумал бы, — какие все милые, особенные, до чего любят

друг друга и до чего жизнь прелестно складывается».

Ну, а сейчас не доверяет автор галлюцинации своего зрения. Автора гложут сомнения. Он беспокоится — а может, это седовласая борода руку жмет и в глаза глядит, чтоб поправить пошатнувшееся свое служебное положение или чтоб заиметь кафедру и читать с этой кафедры лекции о красоте и искусстве.

Автор запомнил на всю жизнь одно небольшое событие, случившееся совсем недавно. И это событие буквально режет автора без ножа. Вот один милый дом. Гости туда шляются. Днюют и ночуют. В картишки играют. И кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают и ручки ей лобызают. И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не околевает. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лобызает. И вообще пугаются, как бы это бывшее знакомство не кинуло на них тень.

Но вот после инженера освободили — никакой особой вины за ним не нашли. И все снова опять завертелось. Хотя инженер стал грустный и к гостям не всегда выходил, а если и выходил, то глядел на них с некоторым испугом и удивле-

нием.

Ну, что? Может быть, это клевета? Может быть, это есть злобное измышление? Нет, это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота да величие, да звучит гордо. А как до дела дойдет, так просто, ну пустяки получаются.

Но автор не поддается унынию. Тем более иногда, раз в пять лет, он и встречает чудаков, которые резко отличаются от всех прочих граждан.

Но все это есть теоретическое размышление, а то, что автор хочет рассказать, есть подлинная история, взятая из самого источника жизни.

Но прежде чем приступить к описанию событий, автор хочет поделиться еще некоторыми сомнениями.

Дело в том, что по ходу сюжета в повести имеются две-три дамы, которые выведены не так чтоб слишком симпатично.

Автор не жалел на них никаких красок и старался придать им свеженький актуальный вид, тем не менее не получилось того, что хотелось бы. И по этой причине женские фигуры получились одна другой хуже.

И многие, в особенности читательницы, могут

вполне оскорбиться за эти женские типы и постараются уличить автора в нехорошем подходе к женщинам и в нежелании, чтоб женщины сравнивались в своих законных правах с мужчинами. Тем более что некоторые знакомые женщины уже обижаются: да уж, — говорят, — у вас всегда дамские типы малосимпатичные.

Но автор горячо просит за это его не бранить. Автор и сам диву дается, чего это у него из-под пера такие малоинтересные дамочки определяются.

И это тем более странно, что автор, может, всю жизнь видел, главным образом, только довольно хороших, добродушных и не злых дам.

И вообще на этот вопрос автор так глядит, что женщины, пожалуй, даже лучше, нежели мужчины. Что ли они как-то сердечней, мягче, отзывчивей и приятней.

И в силу таких взглядов автор никогда не позволит себе оскорблять женщину. А если в повести другой раз и получаются неясности по этому вопросу, то это просто недоразумение, и автор умоляет на это не обращать внимания и тем более не расстраиваться по пустякам.

Для автора безусловно все равны.

Другое дело, если взять, любопытства и смеха

ради, мир животных.

Там бывает разница. Там даже птицы имеют свою разницу. Там самец всегда как-то несколько дороже стоит, чем самка.

Там, для примеру, чижик стоит два целковых по теперешней калькуляции, а чижиха в том же магазине — копеек пятьдесят, сорок, а то и двугривенный. А по виду птички — как две капли воды. То есть буквально не разобрать, которая что, которая ничего.

И вот сели эти птички в клетку. Они зернышки жуют, водичку пьют, на палочках прыгают и так далее. Но вот чижик перестал водичку пить. Он сел поплотней, устремил свой птичий взор в высоту и запел.

И за это такая дороговизна. За это гони монету.

За пение и за исполнение.

Но что в птичьем мире прилично, то среди людей не полагается. И дамы у нас в одной цене находятся, как и мужчины. Тем более у нас и дамы поют, и мужчины поют. Так что все вопросы и все сомнения в этом отпадают.

А кроме того, в нашей повести все грубые нападки на женщину и подозрения относительно ее корысти идут со стороны нашего самого главного героя — человека определенно мнительного и

больного. Бывшего прапорщика царской армии, к тому же слегка контуженного в голову и потрепанного революцией. В девятнадцатом году он в камышах сколько раз ночевал — боялся, что его коммунисты арестуют, схватят и разменяют.

И эти все страхи печальным образом отразились на его характере.

И в двадцатых годах он был нервный и раздражительный субъект. У него тряслись руки.

И даже стакана он не мог поставить на стол, не кокнув его своей дрожащей ручкой.

Тем не менее в житейской борьбе руки его не дрожали.

По этой самой причине он не погиб, а с честью выжил.

3

Безусловно, человеку не так-то легко погибнуть. То есть автор думает, что не так-то просто человек может с голоду помереть, находясь даже в самых крайних условиях. И если есть некоторая сознательность, если есть руки и ноги и башка на плечах, то, безусловно, как-нибудь можно расстараться и найти себе пропитание, хотя бы, в крайнем случае, милостыней.

Но тут до милостыни не дошло, хотя у Володина

и было довольно пиковое положение в первые годы революции.

Тем более он много лет провел на военном фронте, совершенно, так сказать, оторвался от жизни, ничего такого особенно полезного делать не умел, кроме стрельбы в цель и по людям. Так что он еще не понимал — какое найти себе применение.

И конечно, родственников у него не было. И квартиры у него не имелось. Буквально ничего.

Была у него одна мамаша, и та в военные годы скончалась. Квартирка ее, по случаю смерти, перешла в другие быстрые руки. И остался наш бывший военный гражданин по приезде совершенно не у дел и, как бы сказать, без портфеля. Тем более революция выбила его из седла, и он остался, так сказать, в стороне и даже как бы лишний и вредный элемент.

Однако он не допустил слишком большой паники в этот ответственный момент своей жизни. Он поглядел своими ясными очами, что к чему и почему. Видит — расположен город. Он окинул город своим орлиным взором и видит — идет вращение жизни тем же почти манером, как и всегда. По улицам народ ходит. Граждане спешат туда и сюда. Девушки ходят с зонтиками.

Он поглядел, что к чему и что чем движется и толкается. И видит, что революция хотя и многое изменила, но не настолько, чтоб поддаться панике.

«Что ж, — думает, — кидаться в озеро не приходится, а надо без сомнения в ударном порядке что-нибудь придумать. Можно, в крайнем случае, дрова грузить, или какую-нибудь хрупкую мебель перевозить, или, для примеру, мелкой торговлишкой заниматься. Или же, наконец, можно жениться не без выгоды».

И вот от этих мыслей он даже повеселел.

«То есть особой выгоды, — думает, — в этом последнем случае сейчас, конечно, не найти, но, скажем, помещение, отопление и себе пища — это, безусловно, можно».

И, конечно, не такой он отпетый человек, чтобы дама его содержала, но подать первую помощь в минуту жизни трудную — это не порок.

Тем более он был молодой и не старый. Ему было тридцать с небольшим лет.

И хотя его центральная нервная система была довольно потрепана бурями и житейскими треволнениями, однако он был мужчина еще ничего себе. Причем, у него была выгодная и приятная наружность. И хотя он был блондин, но блондин

все-таки довольно мужественного вида.

К тому же он носил на щеках небольшие итальянские бачки. И от этого его лицо еще более выигрывало и давало что-то демоническое и смелое, что заставляло женщин вздрагивать всем корпусом, опускать глаза долу и быстро одергивать свои юбки на коленях.

Вот какие блага и преимущества имел он, когда начал завоевывать свою жизнь.

Он приехал после военной службы в город и временно поселился в проходной комнате у своего знакомого фотографа Патрикеева, который пустил его, хотя и по доброте сердечной, однако рассчитывал снять кое-какие пенки с этого дела. Он записал на него часть квартирной площади и, кроме того, ожидал, что Володин иной раз, из чувства живейшей благодарности, будет принимать посетителей — будет открывать им двери и записывать ихние фамилии. Однако Володин не подтвердил этих хозяйственных надежд — он мотался целые дни напролет невесть где и даже сам в ночное время иной раз трезвонил и тем самым вносил в дом полное беспокойство и дезорганизацию.

Фотограф Патрикеев очень от этих дел грустил и расстраивал свое здоровье, и даже, иной раз,

вскакивая ночью в кальсонах, ужасно как ругался, называя его прохвостом, золотопогонником и бывшим беспорточным барином.

Однако Володин, не более как через полгода, начал все-таки приносить явную выгоду своему патрону. Правда, под конец, когда он уже съехал с его квартиры и благополучно женился.

Дело в том, что еще в мелком своем возрасте он имел некоторую склонность и любовь к художественному рисованию. И, будучи абсолютно крошкой, он любил марать карандашом и красками разные картинки и рисуночки.

И в настоящее время это художественное дарование ему неожиданно пригодилось.

Сначала шутя, а после более серьезно он стал помогать фотографу Патрикееву, ретушируя ему снимки и пластинки.

Разные приходящие барышни обязательно требовали прилично заснятого лица, без складок, морщин, угрей и прочих досадных особенностей, которые, к сожалению, имелись в натуральном человеческом виде.

Эти угри и бутоны Володин зарисовывал карандашом, ловко кладя тени и просветы на заснятые личности.

В короткое время Володин сделал в этой обла-

сти изрядный успех и даже стал подрабатывать себе деньги, сердечно радуясь такому обороту дела.

4

И, научившись этому хитрому искусству, он понял, что занял в жизни определенную позицию и что с этой позиции его выбить довольно затруднительно и даже почти что невозможно. Ибо для этого потребуется уничтожение всех фотографий, категорическое запрещение жителям сниматься на карточку или же полное отсутствие фотографической бумаги на рынке.

Но, к сожалению, жизнь обернулась так выгодно только после того, как Володин сделал решительный шаг — он женился на одной гражданке, никак еще не предполагая, что его искусство даст полную возможность стать на ноги самостоятельно.

И, живя у фотографа и не имея пока никаких особых перспектив, он, естественным образом, кидал взоры на окружающих людей, и в особенности, конечно, на дам и на женщин, которые могли бы подать ему руку помощи, дружбы и участия.

И такая дама нашлась и откликнулась на при-

зыв гибнущего человека.

Это была жилица из соседнего дома, Маргарита Васильевна Гопкис.

Она занимала целую квартиру, проживая там совместно со своей младшей сестрицей Лелей, которая, в свою очередь, была замужем за братом милосердия товарищем Сыпуновым.

Эти две сестрицы были довольно еще молоденькие, и занимались они пошивкой рубашек, кальсон и прочих гражданских предметов.

Они этим занимались в силу необходимости. И не на такую ничтожную судьбу они рассчитывали, заканчивая до революции свое высшее образование в женской гимназии.

Получив такое приличное образование, они, естественно, мечтали зажить достойным образом, выйдя замуж за исключительных мужчин или за профессоров, которые окружили бы их-нюю жизнь роскошью, баловством и красивыми привычками.

Но жизнь, между тем, проходила. Бурные годы нэпа и революции не дозволяли подолгу осматриваться и кидать якорь в том месте, в котором желательно.

И вот младшая сестрица Леля, погоревав о превратностях судьбы, выходит поскорее замуж за

Сыпунова, совершенно грубого, небритого субъекта — брата милосердия, вернее, санитара из городской больницы.

А старшая сестрица, Маргариточка, вздыхая о невозможном, прогоревала все сроки и к тридцати годам, спохватившись, начала метаться туда и назад, желая заполучить в мужья хотя бы какого-нибудь завалявшегося человечка.

И вот как раз в ее расставленные сети попадает наш приятель Володин.

Он давно мечтал о более подходящей жизни, о некотором семейном уюте, о непроходной комнате, о кипящем самоваре и о всех таких житейских вещицах, которые, безусловно, украшают жизнь и дают тихую прелесть мелкобуржуазного существования.

И вот тут имелось все это налицо плюс прочное положение и самостоятельный заработок, что было как бы приданым и несомненно оживляло сделку, придавая ей определенный живой интерес.

Конечно, будь это знакомство позже, Володин, имея свои заработки, не пошел бы так стремительно на этот шаг. Тем более ему совершенно не нравилась Маргарита Гопкис с ее тусклым, однообразным лицом.

Володину нравились и влекли девицы другого порядка — такие с темненькими усиками на верхней губе. Очень такие веселые, бравурные, быстрые в своих движениях, умеющие танцевать, плавать, нырять и болтать всякую чепуху. А его Маргариточка была, благодаря профессии, малоподвижная и слишком скромная в своих движениях и действиях.

Но жребий был брошен, и пружина разворачивалась без остановки.

И, проходя теперь мимо соседнего дома, Володин всякий раз останавливался подле ее окон и подолгу разговаривал, беседуя о том, о сем. И, стоя перед ней в профиль или в три четверти и теребя бачки, Володин говорил разные иносказательные вещи о приличной жизни и о хорошей судьбе. И из разговоров с ней он определенно понял, что комната в ее квартире к его услугам, если, конечно, он не остановится на своих намеках.

И он, быстро обмозговав все дело и оглядев более внимательным и требовательным взором свою даму, с победным криком ринулся в бой.

Так состоялся этот знаменитый брак.

И Володин перебрался в квартиру Гопкис, внеся туда, в общий котел, свою скромную одинокую подушку и другой жидковатый скарб.

Фотограф Патрикеев провожал Володина, тряс ему руку и советовал не кидать только что начатого познания в ретушерском деле.

Маргарита Гопкис с досадой махала руками, говоря, что навряд ли Володину понадобится такое кропотливое занятие.

Итак, Володин вошел в новую жизнь, считая, что произошла довольно выгодная комбинация, построенная на точном и правильном расчете.

И он бодро потирал свои руки и мысленно хлопал себя по плечу, говоря:

— Ничего, брат Володин, жизнь и тебе, кажись, начинает улыбаться.

Но это была улыбка не так чтобы слишком веселая.

5

Слов нет, жизнь нашего Володина переменилась к лучшему. Из проходной, неуютной комнаты он переехал в дивную спальню с разными этажерками, подушками и статуэтками.

Кроме того, питаясь раньше плохо и скромно всякими огрызками и требухой, он и тут остался в крупном выигрыше. Он кушал теперь разные порядочные блюда — супы, мясо, фрикадельки, помидоры и так далее. Кроме того, раз в неделю,

вместе со всей семьей, он пил какао, удивляясь и восторгаясь этому жирному напитку, вкус которого он позабыл за восемь-девять лет своей походной и неуютной жизни. Однако Володин не был на содержании у своей законной жены.

Не переставая работать на поприще фотографии, он сделал крупные успехи и стал получать за свою работу не только благодарность, но и, так сказать, живые деньги.

Хорошая свежая пища дозволяла Володину с особенным вдохновением кидаться на работу. И, не имея особого счастья со своей молодой супругой, он уходил в силу этого в работу. И эту работу исполнял до того тонко и художественно, что все снятые физиономии выходили у него теперь совершенно ангельскими, и ихние живые владельцы искренно удивлялись такой счастливой неожиданности и снимались все более и более охотно, не жалея никаких денег и засылая, кроме того, в фотографию все новых и новых клиентов.

Фотограф Патрикеев чрезвычайно дорожил теперь своим работником и делал ему надбавку всякий раз, когда клиенты особенно восторгались художественным исполнением.

Вот тут Володин и почувствовал под ногами почву и понял, что теперь его немыслимо согнать

с занятой позиции.

И он начал полнеть, округляться и приобретать спокойно-независимый вид. Его не стало развозить, а просто его организм начал мудро запасаться жирами и витаминами на черный день и на всякий случай.

Конечно, особого спокойствия и довольствия Володин не имел.

Покушав вволю и побеседовав с женой на хозяйственные темы и заказав ей обед на завтра, он оставался в печальном одиночестве, искренне горюя, что у него нету особой нежной привязанности к молодой супруге, той привязанности, которая достойно украшает жизнь и делает всякую обыденную собачью ерунду — событием и красивой подробностью счастливой жизни. И, имея такие мысли, Володин надевал свою шляпу и выходил на улицу, конечно, предварительно побрившись, попудрив свой элегантный нос и подровняв свои итальянские бачки.

Он шел по улицам и посматривал на проходящих женщин, живо интересуясь, какие они, как они ходят и какие у них лица и мордочки. Он останавливался, смотрел вслед и насвистывал какой-нибудь особенный мотивчик. Так незаметно проходило время. Проходили дни, недели,

месяцы. Так незаметно прошло три года. Молодая супруга, Маргарита Гопкис, буквально не могла налюбоваться на своего выдающегося супруга.

Она работала все равно, как слон, буквально не разгибая спины, желая предоставить своему хозяину наибольшие выгоды. Она, желая скрасить его существование, покупала всякие приличные и забавные мелочишки, красивые подтяжки, ремешки для часов и прочие вещицы семейного обихода. Но он глядел хмуро и скупо подставлял свои щеки под обильные поцелуи своей сожительницы. Иногда он просто грубо огрызался и отгонял ее, как назойливую муху.

Он начал ясно и открыто грустить, задумываться и проклинать свою жизнь.

— Нет, не удалася жизнь, — бормотал наш Володин, стараясь понять, какую ошибку он сделал в своей жизни и в своих планах.

6

Но вот весной, если не изменяет нам память, 1925 года произошли крупные события в жизни нашего друга, Николая Петровича Володина. Ухаживая за одной довольно миленькой девушкой, он горячо влюбился, или, скажем более проще, — втюрился в нее и даже стал подумывать

о коренной перемене своей жизни. Имея теперь приличный заработок, он уже мог думать о новой, более счастливой жизни.

Все ему было мило и прелестно в этой молодой девице. Она, одним словом, вполне отвечала его духовным запросам, имея именно такую внешность, о которой он мечтал всю свою жизнь. Она была худенькая поэтическая особа с темными волосами и с блестящими, как звезды, глазами. Ее небольшие крошечные усики особенно приводили в восторг Володина и заставляли его более серьезно обдумывать создавшееся положение.

Но разные семейные подробности и предчувствия громких скандалов и, пожалуй, даже мордобоя заставляли его холодеть и отгонять решительные мысли прочь.

Он стал на всякий случай несколько даже приветливей со своей супругой и, уходя из дому, вкручивал ей что-то относительно своих знакомых друзей, к которым он спешит, и, похлопывая ее по спине, говорил ей разные приветливые и неоскорбительные слова.

И мадам Володина, понимая, что происходит что-то такое исключительное по своей важности, хлопала глазами и не знала, как ей вести себя — то ли ей кричать и скандалить, то ли несколько

обождать, собрав предварительно обличительный материал и улики.

Володин уходил из дому и, встречаясь со своей малюткой, вел ее торжественно по улицам, полный остроумных фраз, вдохновения и бурной, кипящей жизни.

Девица висла на его ручке, щебеча про свои невинные мелкие делишки и про то, что многие женатые кавалеры вообще стремятся к разным несбыточным фантазиям, но что она, несмотря на теперешнюю полную распущенность, глядит все же совершенно иначе. И только серьезные обстоятельства могут склонить ее к более определенным фактам. Или уж, конечно, слишком сильная любовь сможет тоже, пожалуй, поколебать ее принципы. Чувствуя в этих словах любовное признание, Володин особенно энергично волок свою даму, бормоча разные безответственные мысли и пожелания.

Они уходили по вечерам на озеро и там, на высоком берегу, на скамейке, а то и просто на траве под сиренью сидели, нежно обнявшись, переживая каждую секунду свое счастье.

Был май месяц, и это дивное время года особенно вдохновляло их своей красотой, свежими красками и легким, упоительным воздухом.

Автор, к сожалению, не имеет крупного поэтического дарования, и он не в силах с легкостью владеть поэтическим лексиконом. Автор искренно горюет, что у него мало способностей к художественному описанию и вообще к художественной прозе.

Иначе величественные картины создал бы автор, описывая эти свежие чувства двух влюбленных сердец на чудном фоне весеннего пейзажа, наших природных богатств и душистой сирени.

Автор признается, что он не раз пробовал проникать в секрет художественного описания, в тот секрет, которым с такой завидной легкостью владеют наши современные гиганты литературы.

Однако бледность слов и нерешительность мыслей не дозволяли автору слишком углубляться в девственные дебри русской художественной прозы.

Описывая волшебные картины свидания наших друзей, полные поэтической грусти и трепета, автор все же не может побороть в себе искушение окунуться в запретные и сладкие воды художественного мастерства.

И несколько строк описания ночной панорамы автор с любовью посвящает нашим влюбленным.

Только пущай опытные литераторы-художники не будут слишком строги в оценке этих скромных упражнений. Это нелегкое занятие. Это тяжелый труд.

Однако автор все же попробует окунуться в высокую художественную литературу.

Море булькотело… Вдруг кругом чего-то закурчавилось, затыркало, заколюжило. Это молодой человек рассупонил свои плечи и засупонил руку в боковой карман.

В мире была скамейка. И вдруг в мир неожиданно вошла папироска. Это закурил молодой человек, любовно взглянув на девушку.

Море булькотело… Трава немолчно шебуршала. Суглинки и супеси дивно осыпались под ногами влюбленных.

Девушка шамливо и раскосо капоркнула, крюкая сирень[1]. Кругом опять чего-то художественно заколюжило, затыркало, закурчавилось. И спектральный анализ озарил вдруг своим дивным несказанным блеском холмистую местность…

А ну его к черту! Не выходит. Автор имеет мужество сознаться, что у него нету дарования к так

---

[1] Примечания: 1

Девушка шаловливо и весело улыбнулась, нюхая сирень.

называемой художественной литературе. Кому что дано. Одному господь бог дал простой грубоватый язык, а у другого язык способен каждую минуту проделывать всякие тонкие художественные ритурнели.

Но автор и не задается на крупное мастерство и снова со своим суконным языком приступает к описанию событий.

Одним словом, не вдаваясь в искусство речи, скажем, что наши влюбленные сидели над озером и вели длинные и нескончаемые любовные беседы, время от времени вздыхая и молча слушая, как булькотело море и шебуршала растительность.

Автор очень всегда удивляется, когда люди говорят о предметах, не задумываясь об их сущности и причинах.

Многие наши видные литераторы и даже крепкие сатирики обычно с легкостью пишут такие, например, слова: «Влюбленные вздыхали».

А почему вздыхали? Отчего они вздыхали? По какой причине влюбленные имеют такую определенную привычку вздыхать?

Объясни, растолкуй неискушенному читателю, если ты носишь звание писателя. Так этого нет. Сказал, и до свиданья — отошел к другому пред-

мету с преступной небрежностью.

Автор попробует встрять и в это не его дело. По популярному описанию одного германского зубного врача, вздох есть не что иное, как задержка. То есть он говорит, в вашем организме происходит, — говорит, — такое, как бы сказать, торможение, задержка каких-то сил, которым мешают пойти по ихнему прямому пути и назначению, и вот происходит вздох.

Человек вздохнул — значит, человеку мешают выполнить его желания. И раньше, когда любовь не была слишком доступна, влюбленным приходилось прежестоко вздыхать. Но, впрочем, и теперь это иногда случается.

Так просто и славно происходит течение нашей жизни и так ведется скромная, незаметная, героическая работа нашего организма.

Но автору все это не мешает с любовью относиться ко многим превосходным вещам и желаниям.

Итак, наша молодая парочка беседовала и вздыхала. Но уже в июне месяце, когда над озером зацвела сирень, — они вздыхали все реже и реже и, наконец, совершенно перестали вздыхать и сидели на скамье, склонившись друг к другу, счастливые и упоенные.

Море булькотело. Суглинки и супеси…

А ну его к черту…

В одну из таких славных сердечных встреч, когда Володин сидел с барышней и говорил ей разные поэтические сравнения и рифмы, он обмолвился довольно красивой фразой, которую, без всякого сомнения, он спер откуда-нибудь из хрестоматии, хоть и уверял в противном.

Однако навряд ли он мог бы так сформулировать такую причудливую и поэтическую фразу, достойную разве пера крупного мастера прежней формации.

Наклонившись к барышне и одновременно нюхая с ней ветку сирени, он сказал: «Сирень цветет неделю и отцветает. Так и ваша любовь».

Барышня замерла в совершенном восторге, требуя повторить еще и еще раз эти дивные музыкальные слова.

И он повторял цельный вечер, читая в промежутках стихи Пушкина — «Птичка прыгает на ветке», Блока и других ответственных поэтов.

7

Вернувшись после этого возвышенного вечера домой, Володин был встречен дикими криками, воплями, грубыми словами.

Вся семья Гопкис, совместно с пресловутым братом милосердия Сыпуновым, накинулась на Володина и честила его почем зря, называя его жуликом, прохвостом и бабником.

Брат милосердия Сыпунов ходил буквально колесом по квартире, крича, что если женщина слабая, так он заместо нее очень свободно может проломить голову, если понадобится и если такая неблагодарная тварь, как Володин, будет мотаться по ночам, задеря хвост, и будет разрушать семейную слаженную идиллию.

Сама Маргарита, чувствуя неминуемую беду, пронзительно, как свисток, орала и сквозь свист и стенания кричала, что такую бесчувственную и безобразную скотину надо было бы попросту выгнать и что только любовь, а главное, затраченная молодость удерживает ее от такого поступка.

Володина особенно неприятно поразило, что ревела младшая сестрица, Леля, которая, казалось, никакой корысти от него не имела. И своим ревом она только создавала тревожную атмосферу и увеличивала беду до большого семейного скандала.

Эта грубая и некультурная сценка убивала в Володине все возвышенные мысли. Вернувшись домой полный самых глубоких элегантных пере-

живаний, благородных чувств и запаха сирени, он хватался теперь за голову и мысленно проклинал свой опрометчивый шаг в смысле женитьбы на этой оголтелой бабе, которая теперь губит его молодость. И, не повышая голоса, в ответ на скандалы и крики он, послав к черту всю семью, заперся в своей комнате. И наутро, чуть свет, тихо сложив свои вещицы и гардероб, приготовился к отбытию.

И когда брат милосердия ушел на службу, Володин, забрав свои узлы, покинул квартиру, несмотря на стенания и поминутные истерические и обморочные припадки своей дражайшей половины.

Он ушел к своему фотографу, который встретил его с распростертыми объятиями и с неподдельной радостью, предполагая, что Володин начнет ему теперь ретушировать если не даром, то на более экономных основаниях.

Взволнованный собственным своим поступком, Володин наобещал разных дружеских и даровых услуг, не задумываясь о своих словах. Он горел одним желанием поскорей увидеть свою малютку, чтобы поделиться с ней новым и счастливым оборотом дела.

И в два часа дня он встретился с ней, как всегда,

у озера, у часовенки.

И, схватив свою крошку за руки, он стал взволнованно рассказывать ей, украшая свой поступок героическими подробностями и мелочами. Да, он ушел из дому, порвав ненавистные цепи и набив морду брату милосердия.

Барышня была до чрезвычайности обрадована таким сообщением. Она говорила, что вот наконец-то он свободный гражданин и наконец-то он сможет назвать свою рыбку фактической женой.

И как все будет очаровательно, когда они заживут вместе, в одной квартире, под одной кровлей — он — работая, как слон, не покладая рук, она — в хлопотах по хозяйству, за шитьем, за уборкой мусора и так далее и тому подобное.

Володина неприятно вдруг поразило такое слишком нескрываемое желание заполучить его в мужья и оседлать его, сделав добытчиком до конца дней.

Он несколько хмуро поглядел на барышню и стал говорить, что все это очень мило, однако еще требуется всесторонне рассмотреть все вопросы, так как он не привык, чтобы любимый человек подвергался лишениям и бедности.

Собственно говоря, это он сказал просто так, желая одернуть барышню в ее материальных

расчетах и перевести ее на более возвышенный лад. Ему показалось оскорбительным, что барышня может рассматривать его именно с этой практической корыстной стороны.

И, в одно мгновенье вспомнив свой брак и свои расчетливые построения, Володин стал испытующе глядеть на девицу, желая проникнуть в ее мысли и в ее сердце, чтоб узнать, нет ли у нее таких же мыслей, какие в свое время были у него.

И Володину показалось, что в глазах девицы горели алчный расчет, выгода и желание поскорей устроить свою судьбу.

— И потом я просто не имею денег, чтобы сейчас жениться, — сказал он. И вдруг, мгновенно обдумав план действия, он решил выдать себя за бедняка и безработного.

— Да, — повторил он уже более твердо и даже, как бы сказать, торжественно, — я не имею денег, у меня нету денег, и я, к сожалению, не могу обеспечить вас своей работой и своими достатками.

Это было, конечно, неправда, он жил хорошо и работа у него была, но ему захотелось услышать из уст девушки прелестные и бескорыстные слова — мол, ну как-нибудь, что за счеты, и так далее, и зачем, мол, деньги, когда на сердце такое чувство.

А Оленька Сисяева, как назло, пораженная не столько уверениями, сколько его тоном, зашмыгала носиком и забормотала какие-то несложные слова, которые можно было, скорее всего, принять за досаду и сорвавшиеся мечты.

— Как же, — молвила она наконец, — давеча вы говорили как раз совершенно другие вещи и, напротив того, рисовали разные планы, а сейчас выходит другое. Ну, как же это так?

— А очень просто, — грубо сказал он, — у меня, знаете, уважаемый товарищ, не государственное учреждение, у меня, знаете, положение слишком шаткое и одинокое. И, может, в настоящее время у меня почти что нету работы. Я почти что нуждаюсь в работе. И в дальнейшем сам не знаю, как и чем я буду сводить концы с концами. Возможно даже, что мне придется босиком ходить по дорогам и просить себе пропитание, уважаемый товарищ.

Барышня глядела на него выпуклыми стеклянными глазами, туго соображая, что происходит.

А он нес околесицу и закидывал свою даму картинами бедности, неуютности и предстоящей нужды.

После, перед прощанием, они оба старались смягчить эту небольшую грубую сценку и, гуляя

минут десять, беседовали о самых посторонних и даже поэтических вещах. Однако беседа у них не клеилась. И они расстались, она — удивленная и непонимающая, а он — все более и более уверенный в ее тонких расчетах и соображениях.

И, вернувшись в свою пустую проходную комнату, Володин лег на диван и старался разобраться в чувствах и пожеланиях барышни. «Ловко сработано, — думал он, — поддела карася! Небось удивилась, когда про бедность услышала».

Нет, он еще поглядит, какая такая ее любовь. Может быть, просто расчет.

И, хотя у него не было точной и полной уверенности в ее расчетах, однако он думал так, желая поскорей услышать ее слова и уверения в обратном. Настоящая любовь не останавливается при виде бедности и нищеты. И если она его любит, она возьмет его за руку и скажет ему разные слова, — мол, об чем речь, об чем беспокойство? Ваша бедность не пугает меня, будем работать и к чему-нибудь стремиться.

Так раздумывая, он лежал в беспокойстве и нерешимости. Как вдруг на лестнице позвонили. Это звонил брат милосердия Сыпунов, который суровым тоном попросил его следовать за собой на нейтральное место, во двор, чтобы там, на

свободе, побеседовать о происшедших делах и поступках.

Беспокоясь и не смея отказаться, Володин надел шляпу и спустился во двор.

Там уже стояла вся семья, оживленно беседуя и горячась.

Не теряя драгоценного времени и слов, брат милосердия Сыпунов подошел к Володину и ударил его булыжником, весом, вероятно, побольше фунта.

Володин не успел отдернуть голову, он только мотнулся в сторону и тем самым несколько ослабил удар. Булыжник, скользнув по шляпе, слегка рассек ухо и кожу щеки.

Володин, закрыв руками лицо, бросился назад. И тотчас ему вдогонку полетело еще два-три камня, пущенных энергичной рукой защитника слабых женщин. Володин одним духом взмахнул по лестнице и поспешно закрыл за собой дверь.

Брат милосердия кинулся за ним и некоторое время, из хулиганских побуждений, бил ногами в дверь, приглашая Володина выйти и поговорить еще раз, но уже более спокойно и без мордобития.

Володин, зажав рукой раненое ухо, стоял за дверью, удерживая дыхание. Сердце его отчаянно

колотилось. Испуг сковал ему ноги.

Брат милосердия, поколотив еще в дверь, сказал, что если так пойдет, то его, подлеца, схватят всей семьей и обольют серной кислотой. Если, конечно, он не одумается и не вернется к исполнению своих обязанностей.

Побитый и потрясенный, Володин лежал на диване, думая, что все рухнуло и все погибло.

Он не видел никакого утешения. Даже любовь была теперь под сомнением. Его чувство было обмануто и оскорблено грубым расчетом и соображением.

И, подумав об этом, Володин снова стал сомневаться, так ли это.

Ну, а если это не так, то он пойдет к ней и целиком убедится.

Да, он пойдет к ней и все скажет. Он скажет, что жизнь обостряется, что он с опасностью для своей жизни идет к намеченным идеалам, но зато она должна знать, окончательно и раз навсегда, что он ничего буквально не имеет. Он нищий, без куска хлеба и без всякой работы. Хочет она — пущай на риск выходит замуж за такого. Не хочет — пожмем друг другу ручки и разойдемся, как в море корабли.

Он хотел было тотчас побежать к ней, чтоб

доложить ей эти последние слова, но было уже поздно, и он, сняв окровавленный пиджак, промыл под краном свое разорванное ухо и, обвязав голову полотенцем, лег спать.

Он плохо спал, ворочался и громко мычал во сне, так что фотограф принужден был дважды окликать его, чтоб перебить ему мычание.

8

Брат милосердия Сыпунов — этот грубый и некультурный субъект — действительно припер откуда-то бутылку с серной кислотой.

Он поставил ее на окно и прочел обеим сестрицам краткую лекцию о пользе этой жидкости.

— Маленько плеснуть никогда не мешает, — говорил он сестрам, картинно изображая в лицах момент облития. — Особенно, конечно, глаза не надо вытравлять, но нос и другие предметы безусловно можно потревожить. Тем более, имея после того красную морду, пострадавший не будет слишком привлекательный господин, и девицы, без всякого сомнения, перестанут на него кидаться, и он тогда, как миленький, снова вернется в свое стойло. А суд, конечно, найдет разные обстоятельства и даст условное покаяние.

Маргарита Гопкис ахала, вздыхала и заламы-

вала свои руки, говоря, что если это так нужно, то она предпочла бы плеснуть в лицо этой усатой черномазой бабенке, которая испортила ее счастье.

Однако, считая, что вернуть его обратно с неиспорченной личностью нету возможности, она снова, ахая, соглашалась, говоря, что надо бы слегка, из гуманных соображений, разбавить эту ядовитую жидкость.

Брат милосердия гремел своим голосом и стучал бутылкой о подоконник, говоря, что в крайнем случае, если на то пошло, можно, конечно, и двоих облить к чертовой матери, что оба они два весьма ему примелькались и беспокоят его характер. И что он еще бы и третьего кого-нибудь облил, хотя бы, для примеру, ту же мать этой чернявой девчонки — зачем она настолько распускает свою дочку, позволяет трепаться с уже занятым человеком.

Что же касается до разбавления жидкости, то это ни к чему не приведет, так как химия есть точная наука и она требует определенный состав. И не с ихним образованием менять научные формулы.

Всю эту семейную сцену покрывала своим рыданием младшая сестрица Леля, которая пред-

чувствовала новые крупные потрясения.

Автор спешит успокоить уважаемых читателей, что особо серьезного дела не вышло из этого. И все окончилось если и не совсем благополучно, то приблизительно. Но испуг был громадный. И много горя в связи с этим потрясением пришлось хлебнуть нашему другу Володину.

На другой день, побрившись и попудрив свое поврежденное ухо, Володин вышел на улицу, спеша к своей крошке.

Он шел по улице и бурно жестикулировал, беседуя вслух с самим собой.

Он придумывал всякие каверзные вопросы, которые он задаст ей и которые должны вскрыть подпольную и корыстную игру молодой девушки.

Она находится в бедности, она висит на своей мамаше, она желает устроить свою судьбу. Но она жестоко ошибается. Да, он, пусть она знает, ничего не имеет. Он весь тут. Вот один галстук и одни штаны. И к тому же он безработный, без всяких надежд на будущее. А его фотографическое дело ничего ему не дает. И, кроме непосильных расходов на карандаши и резинки, он ничего не видит. И если он этим занимается, то исключительно из любезности и дружбы к фотографу Патрикееву,

уступившему ему свой диван и комнату.

Так он ей скажет и посмотрит, в чем дело. Он шел торопливо, не замечая никого и ничего не слыша.

На углу у пустыря навстречу шла его бывшая супруга, Маргариточка Гопкис.

Увидав ее, Володин смертельно побледнел и, как зачарованный, не сводя с нее глаз, медленно пошел к ней.

На расстоянии трех шагов Маргарита, тихо что-то закричав, взмахнула рукой и, снизу вверх, плеснула в Володина кислотой.

Было большое расстояние, и пузырек был с узким горлышком, так что только несколько капель попало Володину на костюм.

Володин побежал в сторону, пронзительно визжа и хлопая себя ладонями по лицу, желая удостовериться, цела ли его физиономия.

И, уверившись в благополучном исходе, он снова повернулся и бросился на Маргариту Гопкис, которая, как тень, стояла подле забора. Володин схватил ее за горло и начал трясти, ударяя ее головой об забор, крича какие-то несвязные фразы.

Это все происходило на пустынной и глухой улице, по которой Володин имел обыкновение ходить на свидание к своей крошке.

Но, несмотря на это, народ стал подходить с других улиц, с любопытством всматриваясь, какое зрелище им предстоит увидеть.

Но зрелище подходило к концу. Беспокоясь, что его поволокут в часть, Володин перестал трясти свою мадам и быстро, не оглядываясь, пошел домой.

Он был потрясен и взволнован. Зубы его били барабанную дробь.

Почти бегом он вернулся домой и заперся в квартире. Конечно, он не мог теперь, в таком виде, пойти к своей крошке.

Его била лихорадка. Его ноги дрожали и зубы лязгали.

Володин полежал некоторое время на диване. Потом стал ходить по комнате, с испугом поглядывая в окно и прислушиваясь к шуму.

И он не выходил весь день, боясь, что брат милосердия прикончит его во дворе или сделает его калекой, переломав ему руки и ребра.

Он провел день в смертельной тоске, без всякой пищи. Он только пил воду в неимоверном количестве, охлаждая и заливая внутренний жар.

И целую ночь, не сомкнув глаз, он обдумывал создавшееся положение, стараясь найти какой-нибудь приличный и неоскорбительный выход.

И такой выход он нашел, придя к мысли, что необходимо заключить перемирие с бывшей женой и ее ангелом-хранителем, товарищем Сыпуновым. Он не подаст на них в суд за покушение на убийство, а за это пусть они его не добивают до смерти.

Успокоившись на этом, он мысленно перекинулся на другой, не менее важный фронт и стал думать в сотый раз, как и какие новые решительные слова он скажет своей малютке для того, чтобы получить настоящего человека с бескорыстным чувством, а не хитрую бабу с ее практическими штучками. И для достижения этой цели он не остановится ни перед какими трудностями и затратами. Да, он объявит себя безработным человеком и первое время будет тайком от нее работать у своего фотографа, с тем чтобы окончательно убедиться, что барышня не имеет никаких расчетов и внутренних соображений.

И Володину уже мысленно рисовались сцены, когда он, подняв воротничок своего пиджачка и тщательно занавесив окна, тайком работает, не покладая рук, день и ночь ретушируя фотографические снимки. Он работает так цельный месяц, или два месяца, или даже год и отклады-

вает деньги, абсолютно не тратя их. И, наконец, убедившись в своей крошке, он приносит к ее ногам груду денег и умоляет простить его за такой поступок и проверку.

И барышня, со слезами на глазах, отстранит, возможно что, его деньги, — мол, что вы, к чему это, зачем столько много, это, мол, портит отношения.

И тут наступит безоблачное счастье, и наступит дивная, неповторимая жизнь.

Слезы радости показывались на глазах Володина, когда он думал о таком исходе дела. И он энергично вращался на своем диване, скрипя всеми пружинами и вытирая глаза рукавом рубашки.

Но потом он снова думал о своих горестях, о мордобое и о всех последних мрачных делах.

И тогда он буквально холодел и, пугаясь задним числом за свою нетронутую наружность, вскакивал со своего дивана и снова подбегал то к зеркалу, чтоб еще раз удостовериться в сохранности лица, то к костюму, разглядывая прожженную ткань.

Так беспокойно и тяжело он провел целую ночь, слегка вздремнув только под самое утро.

А утром, с серым лицом и с мутными глазами,

он стал торопливо собираться по своим делам, решив в первую очередь навестить свою барышню, чтобы приступить поскорей к выполнению своего плана. После того он выкинет белый флаг и войдет в переговоры со своими родственничками.

И, выйдя на лестницу, Володин стал, по своей привычке, чистить сапоги, лакируя их бархаткой до ослепительного блеска.

Он уже вычистил один сапог, как вдруг, вероятно от холода лестницы, икнул. Он икнул раз, потом еще раз, потом, через несколько секунд, еще несколько раз.

Откашлявшись и сделав тут же небольшую зарядовую гимнастику, Володин принялся энергично тереть другой сапог. Но так как икота не проходила, он пошел на кухню и, взяв там кусочек сахару, принялся сосать его, находя совершенно неловким разговаривать с любимым человеком, имея такой дефект речи.

Однако икота все еще не проходила. И он икал теперь правильно, как машина, через определенный промежуток времени в полминуты.

Слегка взволнованный новым неожиданным препятствием, мешающим увидеть дорогого человека, он принялся ходить по комнате, распевая

полным голосом веселые и комические песенки, чтобы не поддаться внутренней тревоге и тоске.

Походив так около часу, он присел на край дивана и вдруг с ужасом убедился, что его икота не только не уменьшилась, но, наоборот, стала гуще и звучней, и только промежутки между двумя схватками увеличились почти до двух минут.

И эти промежутки Володин сидел неподвижно, почти затаив дыхание, со страхом поджидая новой горловой судороги. И, икнув, он вскакивал, взмахнув руками, и убитым, потусторонним взором смотрел вперед, ничего не видя.

Промаявшись так до двух часов дня, он поделился этой бедой со своим сожителем фотографом. Фотограф Патрикеев легкомысленно засмеялся и назвал это сущим пустяком и вздором, который с ним случается почти что всякий день. Тогда Володин, собрав остатки своего мужества, отправился к своей Оленьке Сисяевой.

Он икал всю дорогу, вздрагивая всем телом и махнув рукой на всякие приличия.

И, подходя к дому девушки, он, как назло, стал икать до того часто и энергично, что прохожие оборачивались и ругали его ослом и другими словами.

И, вызвав девушку стуком в окно, Володин

приготовился к решительному объяснению, перезабыв, правда, по случаю новой беды, все свои каверзные вопросы.

Извинившись за свою чисто нервную икоту, которая вызвана, видимо, простудой и малокровием, Володин элегантно поцеловал ручку Оленьке, икнув пару раз при этом несложном процессе.

Думая, что он выпил с горя, Оленька Сисяева заморгала ресницами, приготовившись дать ему суровую отповедь. Но он, думая больше о своей болезни, несвязным языком залепетал слова о том, что он безработный, у которого только и капиталу, что один галстук и штаны. И что пусть Оленька по этой причине скажет лучше сейчас, согласна ли она пойти за такого, которого ждет жалкая судьба и с которым, может, придется ходить по миру, как со слепцом, и просить на пропитание. Или она действительно его любит, несмотря ни на что.

Оленька Сисяева, слегка покраснев, сказала, что, к сожалению, довольно поздно сейчас задавать тому подобные вопросы. Тем более она, как выяснилось вчера, находится в положении, и довольно странно и глупо в ее положении слышать подобные речи. И что муж — это есть муж, и его

долг как-нибудь кормить свою будущую семью.

Пораженный новым открытием и не получив решительного ответа на свои мысли и сомнения, Володин, сбитый с толку, окончательно потерял нить своего плана и изумленно глядел теперь на барышню, икая при этом время от времени.

Затем он, схватив ее за руки, сказал, что пусть она хотя бы в таком случае скажет — любит ли она его и охотно ли идет на такой шаг.

И девушка, мило улыбнувшись, сказала, что, конечно, без сомнения, она его любит, но только ему необходимо серьезно полечиться от его нервной икоты и что она не мыслит себе мужа с подобным странным дефектом.

И здесь, распрощавшись, они расстались, она — уверенная в себе, он — полный нерешимости и даже отчаяния оттого, что ему так и не удалось достоверно узнать про чувство барышни.

9

Это было очень странно и удивительно, но икота у Володина не проходила.

Вернувшись домой, он пораньше лег спать с тайной надеждой, что утром все пройдет и снова наступит простая великолепная человеческая жизнь. Однако, проснувшись, он убедился, что

беда не проходит. Правда, он икал теперь редко, примерно один раз в три минуты, но все же икал и не видел никаких признаков облегчения.

И, не вставая со своего дивана и холодея от мысли, что это недомогание останется у него на веки веков, Володин пролежал цельный день и ночь, изредка выбегая на кухню попить холодной водички.

Наутро, снова подняв голову с подушки и убедившись, что икота продолжается, Володин совершенно упал духом. Он перестал сопротивляться природе и, покорно отдавшись судьбе, лежал, как покойник, время от времени вздрагивая телом под бременем своей нервной икоты.

Фотограф Патрикеев, обеспокоенный странным положением своего жильца, начал всерьез пугаться, как бы на его шее не остался инвалид, который будет круглые сутки икать и тем самым отпугивать его клиентов и посетителей.

И, ничего не сказав Володину, он побежал до этой роковой Оленьки Сисяевой, чтобы пригласить ее к кровати больного, желая тем самым поскорей снять с себя всякую моральную и материальную ответственность и заботы по уходу.

Он пришел к ней и стал умолять ее прийти, говоря, что ее дружок если и не совсем плох, то

находится в крайне странном положении. И что ему необходима помощь.

Девица, сконфуженная такой исключительной болезнью своего жениха, не могла особенно высказывать свою печаль и тревогу. Тем не менее она тотчас согласилась навестить больного.

Несколько взволнованная бедным и неуютным видом комнаты и скудостью имущества, барышня остановилась на пороге, не решаясь сразу подойти к больному.

При виде барышни больной вскочил с дивана, потом снова лег, поскорее прикрывая свой растерзанный туалет.

Барышня, придвинув к дивану табурет, присела, с тоской глядя, как ее жениха дергала болезнь.

Весть о больном, который икает трое суток, несколько взбудоражила местное население ближайших домов. Слухи о любовной драме усилили любопытство граждан. И в квартиру началось буквально паломничество, которое невозможно было остановить силами одного фотографа. Все хотели поглядеть, как невеста относится к жениху, и чего она ему говорит, и как он, при своей икоте, ей отвечает.

Тут же, среди других граждан, колбасился и наш

брат милосердия Сыпунов, не рискуя, впрочем, входить в комнату, чтобы не напугать больного.

Как ближайший родственник и медработник, он, окруженный толпой любопытных, авторитетно говорил о состоянии больного, объясняя, что к чему и в чем дело.

Безусловно, он не предполагал такого исхода. Он попугал человека, слов нет, но его двигало чувство справедливости, а также родственные связи с Маргаритой Гопкис, которая на склоне лет остается как-никак без человека.

Однако печальные картины болезненного состояния очень его растрогали, тем более он совершенно считается с чувством любви и, безусловно, никому теперь не дозволит пальцем тронуть его бывшего родственника, Николая Петровича Володина. А Маргариточка, в крайнем случае, пущай сама как-нибудь проведет свою жизнь. Что же касается болезни, то это, скорей всего, чисто нервное заболевание на простудной почве. И что у них в больнице на простудной почве черт знает какие болезни происходят — и ничего, многие остаются живы.

Фотограф Патрикеев, боясь, что в толкотне и сумятице разворуют его фотографические принадлежности, поднял крик, убеждая публику

разойтись, иначе он вызовет милицию и силой прекратит безобразие.

Брат милосердия, получив директивы от фотографа, стал выпирать назойливую публику, махая треножником и оттесняя посетителей на кухню и лестницу. Он честью просил расходиться и не вызывать его на более решительные действия.

Увидев такое безобразие, полную огласку дела и открытый срам, барышня Оленька Сисяева стала лепетать, что надо бы больного отвезти в больницу или же, в крайнем случае, хотя бы пригласить коммунального врача, который может удалить лишнюю публику.

Среди посетителей находился, между прочим, один такой бывший интеллигент, некто Абрамов, который заявил, что врач тут, безусловно, ни при чем, что врач сорвет трояк и наделает таких делов, после которых уже больного навряд ли можно поправить.

И что лучше пущай дозволят ему произвести опыт, который в самом корне подорвет это заболевание.

Этот некто Абрамов не носил звания врача или ученого, но он глубоко понимал многие вопросы и любил лечить граждан от всяких болезней и страданий своими домашними средствами.

Так и тут он сказал, что картина заболевания ему слишком ясна. Что это есть неправильное движение организма. И что надо поскорее перебить это движение. Тем более организм имеет, так сказать, свою инерцию и как заладит на одно, так прямо нет спасения. От этого, дескать, происходят почти что все наши болезни и недомогания. И это, дескать, необходимо лечить энергично, давая сильную встряску и другой, обратный толчок всему организму, который, дескать, слепо работает, не разбираясь, куда его колесья крутятся и что из его работы выйдет.

Он велел посадить больного на стул, а сам, грубо насмехаясь над врачами и медициной, вышел на кухню, чтобы там начать свои научные приготовления.

Там он, с помощью брата милосердия, нацедил полное ведерко холодной воды и, выбежав осторожно, на цыпочках из-за двери, вдруг с криком опрокинул всю эту воду на голову больному, который, мало чего соображая, беспечно сидел до этого на стуле, как мешок с картофелем.

Позабыв про свою болезнь, Володин полез было драться и вообще стал после этой процедуры буйствовать, выгоняя народ из помещения и порываясь побить своего доморощенного лекаря.

Но вскоре Володин утих и, переменив платье, задремал, положив голову на колени своей малютки.

На другое утро он встал совершенно здоровый и, побрившись и приведя себя в порядок, стал жить как обычно.

Конечно, автор не собирается утверждать, что это домашнее лечение подействовало исцеляюще. Скорей всего, болезнь сама по себе прошла. Тем более, что три-четыре дня — срок изрядный, хотя, конечно, медицина знает и более длительные сроки для этой болезни. Так что прохладная водица могла все же доброкачественно подействовать на замороченные мозги нашего больного и тем самым ускорила исцеление.

10

Через несколько дней Володин записался со своей малюткой и перебрался на жительство в ее скромные апартаменты.

Ихний медовый месяц прошел тихо и вполне безмятежно.

Брат милосердия окончательно сменил гнев на милость и даже раза два заходил к молодым с визитом — причем один раз милостиво занял трешку, не обещая, впрочем, ее вернуть. Зато он

дал торжественное обещание не убивать и не трогать больше Володина ни при каких обстоятельствах.

Что касается заработка и вообще содержания, то Володину пришлось сознаться в своей клевете. Ну да, он немного приврал, желая испытать ее любовь. В этом нет ничего оскорбительного.

И, говоря об этом, он умолял ее еще раз сказать, знала ли она, что он нарочно соврал, или же она не знала и пошла за него по бескорыстному чувству.

И дамочка, задумчиво смеясь, уверяла его в последнем, говоря, что она сначала, конечно, не знала о его вранье и боялась, что он, действительно, ничего за душой не имеет. Но потом-то она определенно догадалась о его прозрачных действиях. Ну, да она не имеет на него претензий — это его законное право узнать про свою будущую супругу.

И, слушая эти дамские речи, Володин мысленно сердился и называл себя ослом и бараном за то, что не смог досконально подловить и проверить барышню.

Впрочем, конечно, что ж он мог сделать? Тем более его злокачественная болезнь подкузьмила — она лишила его энергии и воли и окончательно

заморочила ему голову. И в силу этого он не мог решить задачу достойным образом. Тем более барышня запросто обыграла его, козырнув с туза своим положением. Но в дальнейшем как-нибудь все само выяснится.

Что же касается Маргариточки Гопкис, то она продолжала сердиться и однажды, встретившись с Володиным на улице, не ответила на его сдержанный поклон, отвернув в сторону свой профиль.

Это мелкое событие тяжело тем не менее отразилось на Володине, который последнее время хотел, чтобы в жизни все было гладко и мило и чтоб голуби по воздуху порхали.

В тот день он снова несколько заволновался, вспоминая последние события своей жизни.

Ночью ему не спалось. Он ворочался в кровати и хмуро, испытующе смотрел на свою супругу.

Молодая дама спала, распустив свои губы, причмокивая и всхлипывая.

У нее был расчет, думал Володин. Она, безусловно, все знала. И, конечно, не пошла бы за него, если б он ничего не имел. И в своей тоске и беспокойстве Володин поднялся с кровати, походил по комнате, подошел к окну. И, прижав пылающий лоб к стеклу, долго глядел, как в темном саду от

ветра покачивались деревья.

Потом, беспокоясь, что ночная прохлада может снова вызвать заболевание, Володин заспешил к кровати. И долго лежал с открытыми глазами, водя пальцем по рисунку обоев.

«Да, без сомнения, она знала, что я приврал», — снова подумал Володин, засыпая.

А наутро он встал веселый и спокойный и о грубых вещах старался больше не думать. А если и думал, то вздыхал и махал ручкой, предполагая, что без корысти никто, никогда и ничего не делает.

Мудрость

1

Одиннадцать лет подряд незадолго до революции жил мой родственник Иван Алексеевич Зощенко уединенно и замкнуто. Он никуда не ходил, он совершенно перестал бывать в обществе и даже категорически порвал все прежние короткие отношения со своими приятелями.

И, живя на одной из улиц Петербургской стороны, он казался каким-то чудаком — отшельником, случайно и на время поселившимся среди людей. Он все меньше и меньше стал разговаривать с людьми, а если и говорил, то брезгливая болезненная гримаса раздражения не сходила с его лица. Казалось, что человеку было невыносимо трудно всякое общение с людьми. И это была правда.

Кое-кто из прежних его приятелей говорил, будто Иван Алексеевич страдает хроническим катаром кишечника и нервными коликами, и будто бы болезнь эта наложила на него неизгладимый скучный след. Другие приятели, знавшие Ивана Алексеевича еще короче и настроенные слегка

романтически, уверяли, что, напротив, он здоров, как бык, но в жизни его произошла не то какая-то тайна, не то какая-то любовная интрига, которая скомкала и изменила ровное течение его жизни.

Впрочем, неизвестно, кто был прав. Может быть, были правы обе стороны, тем более что врач, пользовавший одно время Ивана Алексеевича, с улыбкой отговаривался незнанием, но категорически болезни не отрицал и при этом отделывался двусмысленными шуточками. А что касается до любовной стороны, то любовная сторона жизни Ивана Алексеевича не только была известна в области шуток, но и вполне достоверна.

В молодые годы был Иван Алексеевич красивый, полный брюнет с определенно ярким южным темпераментом. При этом некоторая независимость в средствах позволяла Ивану Алексеевичу в достаточной мере пользоваться прелестью и утехами жизни.

И в разгульной своей жизни он сошелся по пьяной лавочке с одной пустенькой драматической актрисой, но связь эта, длившаяся с полгода, была несчастлива. Повздорив из-за своей дамы с одним лицеистом, который при многочисленных свидетелях обозвал ее шкурой, Иван Алексеевич

ударил его по морде в фойе академического театра, при этом сбил с носа пенсне и разбил ухо. Результатом была дуэль, которая и состоялась на пулях вблизи Комендантского аэродрома. Раненный слегка в мякоть левой ноги, Иван Алексеевич уехал из Петербурга на несколько лет. Потом вернулся. Год или два жил чрезвычайно разгульно, предаваясь по временам нестерпимому пьянству и разврату. И, наконец, стих. И, поселившись на Петербургской стороне, с дальней своей родственницей, старушкой Капитолиной Георгиевной Шнель, перестал показываться.

Но зачем это он сделал, почему, кому было нужно его уединение — никто не знал. Знали только, что жил человек, и вдруг все в жизни показалось ему жалким и ненужным. Все лучшие человеческие качества, как, например, благородство, гордость, тщеславие, показались смешной забавой и бирюльками. А вся прелесть прежнего существования — любовь, нежность, вино — стала смешной и даже оскорбительной.

Но было ли это на почве физиологической, так сказать, от пресыщения, или же было это в связи с душевными отклонениями — никто не знал и не мог знать, ибо с каждым годом разрыв его с людьми увеличивался.

Его квартира, уставленная различной мебелью, увешанная люстрами и всевозможными дорогими безделушками, вскоре затянулась паутиной и пылью. И цветы, некогда поставленные на окнах, — завяли. И огромные мозерские часы остановили свое движение. Даже полуопущенная штора в столовой так и оставалась полуопущенной в течение нескольких лет.

Какое-то веяние смерти сообщалось всем вещам. На всех предметах, даже самых пустяковых и незначительных, лежали тление и смерть, и только хозяин квартиры по временам подавал признаки жизни. Он вставал со своего ложа, ходил из угла в угол, сося папироску, или, согнувшись и покачивая левой ногой, сидел перед толстенной книгой, или, наконец, открыв форточку и не боясь простудиться и схватить воспаление легких, смотрел на звездное небо, держа перед собой карту небесного свода. И так тянулось почти одиннадцать лет.

2

Но однажды, без всякой видимой причины, в жизни Ивана Алексеевича произошли чрезвычайные перемены.

Однажды, проснувшись поутру, он почувство-

вал в себе какой-то прилив необыкновенной свежести и здоровья. Он с удивлением и недоверчивостью отнесся к этому и, наскоро одевшись и зашнуровав ботинки, вышел на улицу, сохраняя по старой привычке прежнее брезгливое выражение лица.

И странное дело: все на улице показалось ему приветливым и умилительным. Недоумевая, Иван Алексеевич вернулся домой. Доброе состояние не покидало его и дома.

Привыкнув думать и анализировать свои поступки и движения, Иван Алексеевич, еще не изменяя на лице гримасы, принялся решать, что, в сущности, произошло. Но не знал.

Тогда, цинически смеясь, он пытался уверить себя в каком-то физическом перерождении, тем более что условия к тому были благоприятны — в течение одиннадцати лет, после разгула и пьянства, он вел спокойную размеренную жизнь.

Но это было не совсем так. Вернее, это было именно так, но, наряду с этим, было нечто иное.

Тогда, обдумывая и поражаясь, Иван Алексеевич вдруг понял, что совершенно помимо его воли вместе с бодростью к нему вернулась та прелесть существования, которую он потерял одиннадцать лет назад.

Раньше он с горечью стал бы обдумывать, как, в сущности, унизительна для человека такая анатомическая зависимость, но теперь ему было все равно. Он чувствовал в себе радость; ему были приятны и серое тусклое небо, и дым из трубы, и кошка на крыше, и мухи, назойливо присаживающиеся то на его лоб, то на нос. Он не сгонял их даже и, в добром состоянии духа, весело подсмеивался и хлопал себя по коленям. Все, что раздражало его, — исчезло.

В несколько дней Иван Алексеевич совершенно переродился. Он просыпался теперь с улыбкой, шутил сам с собой и, надевая костюм или зашнуровывая ботинки, пел вполголоса, стыдясь и радуясь своему оживлению.

А однажды, позвав к себе в комнату дальнюю родственницу, старушку Капитолину Георгиевну Шнель, он принялся ей говорить о том, как, в сущности, хороша и прекрасна жизнь и как он был нестерпимо глуп, что ханжески потратил одиннадцать лет неизвестно на что.

И, говоря об этом, он жестикулировал руками, подходил к зеркалу и, причесывая свои давно не тронутые волосы, смеялся.

— Ах, — говорил он, — как я был глуп! Как глуп! Ну, кому радость от того, что я небрит и волосы

мои до плеч? Кому это нужно, чтоб я презирал людей, и весь мир, и все существование? Да никому не нужно. Но я теперь знаю, как жить. Я сумею теперь жить. Мудрость не в том, чтобы людей презирать, а в том, чтобы делать такие же пустяки, как и они: ходить к парикмахеру, суетиться, целовать женщин, пить, покупать сахар. Вот мудрость!

Дальняя родственница, ничего не поняв на старости лет, сморкаясь в платок, ушла из комнаты, не зная, плакать ли ей или радоваться.

Но Иван Алексеевич не оставил ее в неведении. Он снова и за руку привел ее в комнату и стал умолять ее, чтобы она, несмотря на дальнее родство, честно и открыто сказала бы ему, как он выглядит, не очень ли он осунулся и похудел, не очень ли стал безобразен и может ли снова, как равный, войти в общество. При этом, страшно конфузясь, он широко открывал рот, показывая указательным пальцем на недостающий зуб.

Слегка развеселившаяся старушка утешала его, чем могла, говоря, что вид вполне еще бодрый и свежий, а что отсутствие зуба вовсе даже и совершенно незаметно, если не открывать рта.

Тогда Иван Алексеевич принялся хохотать, потирая свои руки и вспоминая, как и он был

молодцом и задирой в свое время, как лихо он дрался на дуэли и сколько имел любовниц.

Старушка, не желая нарушать его доброго настроения, принялась также рассказывать приключения о любви из собственной жизни, но, вспомнив начало, она никак не могла восстановить конца и, спутавшись окончательно, обиженно замолчала, стараясь больше ничем не раздражать Ивана Алексеевича.

Но Иван Алексеевич не оставил ее в покое. Он стал вместе с ней вспоминать о своих знакомых, оставшихся в живых. Ему хотелось немедленно, в ближайшее же время позвать их всех к себе, устроить маленькую веселую пирушку, перецеловать всех и сказать, что он их, как и раньше, по-прежнему всех любит и хочет жить, потому что он знает теперь, что такое жизнь и как нужно жить.

И, взяв дальнюю родственницу за руки, Иван Алексеевич категорически сказал ей, что он в ближайшие же дни устроит эту пирушку — праздник своего обновления.

С трудом понимая, что он ей говорит, старушка хитро трясла головой, говоря, что, несмотря на дальнюю кровь и родство, он все же весь пошел в нее.

Иван Алексеевич тихо и благодарно смеялся.

3

В тот же день вечером Иван Алексеевич принялся составлять список своих знакомых, смеясь и добродушно издеваясь над ними.

Наконец список был составлен. Было записано пятнадцать человек, о которых Иван Алексеевич знал, что они живы и по-прежнему благополучно здравствуют в городе.

Тогда Иван Алексеевич, имея перед собой список, стал писать в витиеватых, смешливых тонах пригласительные записки, которые, на другой же день, он лично повез развозить по своим приятелям.

Приятели встречали его крайне удивленно и холодно, а некоторые даже враждебно, не приглашая его в комнаты и держа дверь на цепочке. Приятели предполагали, что он, обнищав, явился к ним за денежным пособием или вспоможением, кто чем может, но, узнав истинную причину, делали круглые глаза и дьявольски хохотали, и иные весело подмигивали, теребили его за плечи и обещали непременно быть.

Иван Алексеевич сам хохотал, стараясь при этом не слишком открывать рот, дабы пока ни-

кто не заметил в нем отсутствие зуба. Но друзья не замечали. Они рассказывали всякие веселые сплетни и новости, веселились над тем или иным лицом, а Иван Алексеевич поддакивал, кивал головой и всячески иронизировал над собой, желая этим показать, что он по-прежнему молодец и веселый парень.

И в самом деле: ему казалось, что он искренно весел и радостен и что одиннадцать лет — это какой-то нелепый и ненужный сон, о котором просто-напросто не нужно думать.

От приятелей Иван Алексеевич пошел домой совершенно радушный и помолодевший. Он несколько раз по дороге заходил к парикмахеру, требуя устроить ему то одну, то другую прическу, категорически приказывая одеколона и туалетных вод не жалеть.

И, вернувшись домой, он тотчас же, слегка покушав, облачился в старый костюм, снял паутину и пыль со всех углов, вытер полусырой тряпкой все карнизы, а также и двери и этажерки, и повесил в спальной зеленоватый фонарь.

Несмотря на это, работы предстояло еще много. Нужно было перебрать все книги, убрать с окна сухие цветы и придать всей квартире жилой и уютный вид.

Чуть не падая от усталости, Иван Алексеевич бросался в кресло, потом снова вскакивал, хватаясь то за то, то за другое, время от времени восклицая:

— Ах, как я был глуп! Как глуп!

И, перетаскивая с места на место то или иное кресло и поправляя без нужды скатерть на столе или перебирая книги, Иван Алексеевич тихонько смеялся и потирал руки, говоря:

— Такова жизнь!

Потом снова бросался в кресло и снова звал старушку, теребил ее и почти торжественно рассказывал, как он заживет в дальнейшем, умудренный жизненным опытом.

Дальняя родственница тоже не отставала от него. Она помогала ему перетаскивать мебель; она доставала посуду и в сотый раз спрашивала:

— Когда же? — подразумевая под этим — вечер.

Иван Алексеевич, гордый и утомленный, отвечал:

— Завтра! Завтра, многоуважаемая Капитолина Георгиевна.

4

И вот пришло завтра — торжественный день вечеринки, праздник обновления.

Еще с утра, тщательно побрившись, Иван Алексеевич мотался из угла в угол, наводя последний, ослепительный лоск на каждый предмет.

И к полдню все было готово.

Дальняя родственница Ивана Алексеевича, старушка Шнель, достала для себя из сундука слежавшееся от времени, но еще вполне пристойное, темное шанженевое платье, со старинными рюшками и многочисленными фестонами, и надела его. Острый запах нафталина и давно не тронутой материи наполнил всю квартиру. Старушка, поминутно чихая и дергая головой, переходила из комнаты в комнату, наполняя нестерпимым зловонием небольшую квартиру.

У старушки мелькала мысль, что неплохо было бы снять это торжественное платье, но она не хотела огорчить Ивана Алексеевича, которому к тому же было не до запаха.

В самом деле: ни минуты не оставаясь спокойным, Иван Алексеевич бегал из прихожей в столовую, из столовой в кухню и обратно. Он даже самолично и несколько раз спускался на

улицу, ходил по магазинам и покупал все новые и новые вещи, прося отпустить самого лучшего качества, намекая, что у него предстоит торжественная вечеринка. А еще недавно, заходя в тот же магазин и покупая что-либо, он скупо бросал несколько слов и, взяв покупки, молча уходил, высоко подняв воротник. Теперь же, напротив, он медлил в магазине, разговаривая и смеясь с любым, невзрачным на вид, продавцом. Ему хотелось, чтобы каждый, даже посторонний гражданин, знал бы о его торжестве.

Весь день проходил в неимоверной суете и оживлении. А к вечеру, когда сумерки наполнили комнату, Иван Алексеевич зажег свет и принялся убирать стол. Раздвинув его на двенадцать персон и постелив белоснежную скатерть, он стал украшать и раздраконивать его, вспоминая, как это делалось раньше.

И вскоре чисто вымытые тарелки, ножи, рюмки и всевозможные изысканные блюда давили своей тяжестью стол.

Тут была и икра всех сортов, и малосольная семга, и сижки копченые, и английские паштеты из дичи, и прочая снедь. И среди всего этого, гордо оттеснив закуску, стояли бутылки разных вин.

Когда все это было готово, Иван Алексеевич,

утомленный и вспотевший, присел к столу, придвинув для этой цели стул.

Руки Ивана Алексеевича дрожали, и грудь вздымалась высоко и порывисто. Он хотел слегка отдохнуть за полчаса до гостей, но ему не сиделось. Ему казалось, что не все еще сделано. Ребяческая улыбка не сходила с его лица. Тогда, смеясь и кривляясь, он достал из ящика письменного стола цветную тонкую бумагу, из которой некогда делались цветы, взял ножницы и стал вырезывать ровные полосы, делая из них нечто вроде цветов.

Потом, свернув их вместе пушистым букетом, он стал прилаживать к хвосту жареной тетерки. Получилось, действительно, крайне эффектно, и стол от этого только выиграл.

Тогда, взяв еще лист розовой бумаги, Иван Алексеевич хотел то же самое проделать и с окороком ветчины и уже стал вырезать, как вдруг неосторожным движением руки обронил ножницы на пол. Нагнувшись моментально за ними и коснувшись уже пальцами холодной стали, он почувствовал, как какая-то тяжелая, густая волна крови прилила ему к лицу. Тряхнув слегка головой, он хотел выпрямиться, но захрипел и ничком свалился на пол, зацепив ногой за стул,

далеко и гулко отодвинув его.

Странная, ровная синева прошла откуда-то снизу и спокойно покрыла его лицо.

Вбежавшая на шум дальняя родственница, старушка Шнель, констатировала смерть, последовавшую от удара.

Потрясенная, с дрожащими руками, старушка метнулась к столу, потом к умершему и, не зная, что ей предпринять, замерла в одной позе.

И вот — ярко освещенная комната, стол, уставленный всевозможными яствами, и у стола, лицом в пол, у самых ножниц, Иван Алексеевич. На это невозможно было долго смотреть, и, нечеловеческим усилием воли взяв умершего за плечи, старушка поволокла его в соседнюю комнату. Цепляя ногами за стулья и странно раскидывая руками и стуча головой об пол, Иван Алексеевич с трудом поддавался усилиям старухи.

И, наконец, втащив его в спальню и прикрыв простыней, старушка, накинув на плечи черную косынку, вышла в столовую. И в столовой снова замерла в неподвижной позе, дожидаясь гостей.

И вот, ровно в восемь, раздался звонок. Старуха не двигалась. И тогда, открыв незапертую дверь, в комнату вошли, подталкивая друг друга, два приятеля, страшно хохоча и гремя сапогами. И,

увидев странную старуху, поклонились ей и, морщась от нестерпимого запаха нафталина, спросили, где же хозяин и как он здравствует.

На что старуха, как-то конфузясь и почти не открывая рта, отвечала:

— Он умер.

— Как? — вскричали они в один голос.

Тогда старуха пальцем показала им на запертую дверь в соседнюю комнату. И они поняли.

Они, тихо поохав и потолкавшись у стола, ушли на цыпочках, съев по куску семги.

Старуха оставалась почти неподвижной.

Вслед за ними от восьми до девяти приходили все приглашенные. Они входили в столовую, радостно потирая руки, но, узнав о смерти, тихонько ахали, поднимая удивленно плечи, и уходили, стараясь негромко стучать ногами. При этом, проходя мимо стола, дамы брали по одной груше или по яблоку, а мужчины кушали по куску семги или выпивали по рюмке малаги.

И только один из старых приятелей и ближайший друг Ивана Алексеевича, странно заморгав глазами, спросил:

— Позвольте, как же так? Я нарочно не пошел в театр, чтобы не обидеть своего друга, и — вот… К чему же тогда звать? Позвольте, как же так?

Он ковырнул вилкой в тарелку с семгой, но, поднеся ко рту кусок, отложил его обратно и, не прощаясь со старухой, вышел, бормоча что-то под нос.

И, когда ушел пятнадцатый гость, старуха вошла в соседнюю комнату и, достав из комода простыню, завесила ею зеркало. Потом, достав с полки Евангелие, принялась вслух читать, покачиваясь всем корпусом, как от зубной боли.

И голос ее, негромкий и глухой, прерывался и дрожал.

Коза

1

Без пяти четыре Забежкин сморкался до того громко, что нос у него гудел, как труба иерихонская, а бухгалтер Иван Нажмудинович от испуга вздрагивал, ронял ручку на пол и говорил:

— Ох, Забежкин, Забежкин, нынче сокращение штатов идет, как бы тебе, Забежкин, тово, — под сокращение не попасть... Ну, куда ты торопишься?

Забежкин прятал платок в карман и тряпочкой начинал обтирать стол и чернильницу.

Двенадцать лет сидел Забежкин за этим столом. Двенадцать лет! Подумать даже страшно, какой это срок немаленький. Ведь если за двенадцать лет пыль, скажем, ни разу со стола не стереть, так, наверное, и чернильницы не видно будет?

В четыре ровно Забежкин двигал нарочно стулом, громко говорил: «Четыре», четыре костяшки отбрасывал на счетах и шел домой. А шел Забежкин всегда по Невскому, хоть там и крюк ему был. И не потому он шел по Невскому, что на какую-нибудь встречу рассчитывал, а так

— любопытства ради: все-таки людей разнообразие, и магазины черт знает какие, да и прочесть смешно, что в каком ресторане люди кушают.

А что до встреч, то бывает, конечно, всякое… Ведь вот, скажем, дойдет Забежкин сейчас до Садовой, а на Садовой, вот там, где черная личность сапоги гуталином чистит, — дама вдруг… Черное платье, вуалька, глаза… И побежит эта дама к Забежкину… «Ох, — скажет, — молодой человек, спасите меня, если можете… Ко мне пристают, оскорбляют меня вульгарными словами и даже гнусные предложения делают»… И возьмет Забежкин даму эту под руку, так, касаясь едва, и вместе с тем с необыкновенным рыцарством, и пройдут они мимо оскорбителей презрительно и гордо… А она, оказывается, дочь директора какого-нибудь там треста.

Или еще того проще — старичок. Старичок в высшей степени интеллигентный идет. И падает вдруг. Вообще, головокружение. Забежкин к нему… «Ах, ах, где вы живете?»… Извозчик… Под ручку… А старичок, комар ему в нос, — американский подданный… «Вот, — скажет, — вам, Забежкин, триллион рублей…»

Конечно, все это так, вздор, романтизм, бессмысленное мечтание. Да и какой это человек

может подойти к Забежкину? Какой это человек может иметь что-либо вообще с Забежкиным? Тоже ведь и наружность многое значит. А у Забежкина и шея тонкая, и все-таки прически никакой нет, и нос загогулиной. Ну, еще нос и шея куда ни шло — природа, а вот прически, верно, — никакой нету. Надо будет отрастить в срочном порядке. А то прямо никакого виду.

И будь у Забежкина общественное положение значительное, то и делу был бы оборот иной. Будь Забежкин квартальным надзирателем, что ли, или хотя бы агрономом, то и помириться можно бы с наружностью. Но общественное положение у Забежкина не ахти было какое. Впрочем, даже скверное. Да вот, если сделать смешное сравнение, при этом смеясь невинно, если бухгалтера Ивана Нажмудиновича приравнять щуке, а рассыльного Мишку — из Союза молодежи — сравнить с ершом, то Забежкин, даром что коллежский регистратор бывший, а будет никак не больше уклейки или даже колюшки крошечной.

Так вот, при таких-то грустных обстоятельствах, мог ли Забежкин на какой-нибудь романтизм надеяться?

2

Но однажды приключилось событие. Однажды Забежкин захворал. То есть не то чтобы слишком захворал, а так, виски заломило это ужасно как.

Забежкин и линейку к вискам тискал, и слюнями лоб мазал — не помогает. Пробовал Забежкин в канцелярские дела углубиться.

Какие это штаны? Почему две пары? Не есть ли это превышение власти? Почему бухгалтеру Ивану Нажмудиновичу сверх комплекта шинелька отпущена, и куда это он, собачий нос, позадевал шинельку эту? Не загнал ли, подлая личность, на сторону казенное имущество?

Виски заломило еще пуще.

И вот попросил Забежкин у Ивана Нажмудиновича домой пораньше уйти.

— Иди, Забежкин, — сказал Иван Нажмудинович и таким печальным тоном, что и сам чуть не прослезился. — Иди, Забежкин, но помни — нынче сокращение штатов…

Взял Забежкин фуражку и вышел.

И вышел Забежкин по привычке на Невский, а на Невском, на углу Садовой, помутилось у него в глазах, покачнулся он, поскреб воздух руками и от слабости необыкновенной к дверям магазина

прислонился. А из магазина в это время вышел человек (так, обыкновенного вида человек, в шляпе и в пальто коротеньком) и, задев Забежкина локтем, приподнял шляпу и сказал:

— Извиняюсь.

— Господи! — сказал Забежкин. — Да что вы? Да пожалуйста…

Но прохожий был далеко.

«Что это? — подумал Забежкин. — Чудной какой прохожий. Извиняюсь, говорит… Да разве я сказал что-нибудь против? Да разве он пихнул меня? Это же моль, мошкара, мошка крылами задела… И кто ж это? Писатель, может быть, или какой-нибудь всемирный ученый… Извиняюсь, говорит. Ах ты, штука какая! И ведь лица даже не рассмотрел у него…»

— Ах! — громко сказал Забежкин и вдруг быстро пошел за прохожим.

И шел Забежкин долго за ним — весь Невский и по набережной. А на Троицком мосту вдруг потерял его из виду. Две дамы шли — шляпки с перьями, — заслонили, и как в Неву сгинул необыкновенный прохожий.

А Забежкин все шел вперед, махал руками, сиял носом, просил извинения у встречных и после неизвестно кому подмигивал.

«Ого, — вдруг подумал Забежкин, — куда же это такое я зашел? Каменноостровский… Карповка… Сверну», — подумал Забежкин. И свернул по Карповке.

И вот — трава. Петух. Коза пасется. Лавчонки у ворот. Деревня, совсем деревня!

«Присяду», — подумал Забежкин и присел у ворот на лавочке.

И стал свертывать папиросу. А когда свертывал папиросу, увидел на калитке объявление:

«Сдается комната для одинокого. Женскому полу не тревожиться».

Три раза кряду читал Забежкин объявление это и хотел в четвертый раз читать, но сердце вдруг забилось слишком, и Забежкин снова сел на лавку.

«Что ж это, — подумал Забежкин, — странное какое объявление? И ведь не зря же сказано: одинокому. Ведь это что же? Ведь это, значит, намек. Это, дескать, в мужчине нуждаются… Это мужчина требуется, хозяин. Господи, твоя воля, так ведь это же хозяин требуется!»

Забежкин в волнении прошелся по улице и вдруг заглянул в калитку. И отошел.

— Коза! — сказал Забежкин. — Ей-богу, правда, коза стоит… Дай бог, чтоб коза ее была, хозяй-

кина… Коза! Ведь так, при таком намеке, тут и жениться можно. И женюсь. Ей-богу, женюсь. Ежели, скажем, есть коза — женюсь. Баста. Десять лет ждал — и вот. Судьба… Ведь ежели рассуждать строго, ежели комната внаймы сдается, — значит, квартира есть. А квартира — хозяйство, значит, полная чаша… Поддержка… Фикус на окне. Занавески из тюля. Занавесочки тюлевые. Покой… Ведь это же ботвинья по праздникам!.. А жена, скажем, дама солидная, порядок обожает, порядком интересуется. И сама в сатиновом капоте павлином по комнате ходит. И все так великолепно, все так благородно, и все только и спрашивает: «Не хочешь ли, Петечка, покушать?» Ах ты, штука какая! Хозяйство ведь. Корова, возможно, или коза дойная. Пускай коза лучше — жрет меньше.

Забежкин открыл калитку.

— Коза! — сказал он, задыхаясь. — У забора коза. Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно, ежели коза, то смешно даже… Пускай Иван Нажмудинович завтра скажет: «Вот, дескать, слишком мне тебя жаль, Забежкин, но уволен ты по сокращению штатов»… Хе-хе, ей-богу, смешно… Удивится, сукин сын, поразится до чего, ежели после слов таких в ножки не упаду, просить не буду… Пожа-

луйста. Коза есть. Коза, черт меня раздери совсем! Ах ты, вредная штука! Ах ты, смех какой!.. А женскому-то полу плюха какая, женский-то пол до чего дожил — не тревожиться. Не лезь, дескать, комар тебе в нос, здесь его величество, мужчина, требуется…

Тут Забежкин еще раз прочел объявление и, выпятив грудь горой, с необыкновенной радостью вошел во двор.

3

У помойной ямы стояла коза. Была она безрогая, и вымя у ней висело до земли.

«Жаль, — с грустью подумал Забежкин, — старая коза, дай бог ей здоровья».

Во дворе мальчишки в чижика играли. А у крыльца девка какая-то столовые ножи чистила. И до того она с остервенением чистила, что Забежкин, забыв про козу, остановился в изумлении.

Девка яростно плевала на ножи, изрыгала слюну прямо-таки, втыкала ножи в землю и, втыкая, сама качалась на корточках и хрипела даже.

«Вот дура-то», — подумал Забежкин.

Девка изнемогала.

— Эй, тетушка, — сказал Забежкин громко, — где же это тут комната внаймы сдается?

Но вдруг открылось окно над Забежкиным, и чья-то бабья голова с флюсом, в платке вязаном, выглянула во двор.

— Товарищ, — спросила голова, — вам не ученого или агронома Пампушкина нужно будет?

— Нет, — ответил Забежкин, снимая фуражку, — не имею чести… я насчет, как бы сказать, комнаты, которая внаймы.

— А если ученого агронома Пампушкина, — продолжала голова, — так вы не ждите зря, он нынче принять никак не может, он ученый труд пишет про что-то.

Голова обернулась назад и через минуту снова выглянула.

— «Несколько слов в защиту огородных вредителей»…

— Чего-с? — спросил Забежкин.

— А это кто спрашивает? — сказал агроном, сам подходя к окну. — Здравствуйте, товарищ!.. Это, видите ли, статья: «Несколько слов в защиту огородных вредителей»… Да вы поднимитесь наверх.

— Нет, — сказал Забежкин, пугаясь, — я комнату, которая внаймы…

— Комнату? — спросил агроном с явной грустью. — Ну, так вы после комнаты… Да вы не

стесняйтесь… Третий номер, ученый агроном Пампушкин… Каждая собака знает…

Забежкин кивнул головой и подошел к девке.

— Тетушка, — спросил Забежкин, — это чья же, например, коза будет?

— Коза-то? — спросила девка. — Коза эта из четвертого номера.

— Из четвертого? — охнул Забежкин. — Да это не там ли, извиняюсь, комната сдается?

— Там, — сказала девка. — Только сдана комната.

— Как же так? — испугался Забежкин. — Не может того быть. Да ты что, опупела, что ли? Как же так — сдана комната, ежели я и время потратил, проезд, хлопоты…

— А не знаю, — ответила девка, — может, и не сдана.

— Ну, то-то — не знаю, дура такая. Не знаешь, так лучше и не говори. Не извращай событий. Ты вот про кур лучше скажи — чьи куры ходят?

— Куры-то? Куры Домны Павловны.

— Это какая же Домна Павловна? Не комнату ли она сдает?

— Сдана комната! — с сердцем сказала девка, в подол собирая ножи.

— Врешь. Ей-богу, врешь. Объявление есть. Еже-

ли бы объявления не было, тогда иное дело, — я бы не сопротивлялся. А тут — объявление. Колом не вышибешь… Заладила сорока Якова: «Сдана, сдана…» Дура такая. Ты лучше скажи: индейский петух — наверное уже не ее?

— Ее.

— Ай-я-яй! — удивился Забежкин. — Так ведь она же богатая дама?

Девка ничего не ответила, икнула в ладонь и ушла.

Забежкин подошел к козе и пальцем потрогал ей морду.

«Вот, — подумал Забежкин, — ежели сейчас лизнет в руку — счастье: моя коза».

Коза понюхала руку и шершавым тонким языком лизнула Забежкина.

— Ну, ну, дура! — сказал, задыхаясь, Забежкин. — Корку хочешь? Эх, была давеча в кармане корка, да не найду что-то… Вспомнил: съел я ее, Машка. Съел, извиняюсь… Ну, ну, после дам…

Забежкин в необыкновенном волнении нашел четвертую квартиру и постучал в зеленую рваную клеенку.

— Вам чего? — спросил кто-то, открывая дверь.

— Комната…

— Сдана комната! — сказал кто-то басом, пыта-

ясь закрыть дверь. Забежкин крепко ее держал руками.

— Позвольте, — сказал Забежкин, пугаясь, — как же так? Позвольте же войти, уважаемый товарищ… Как же так? Я время потратил… Проезд… Объявление ведь…

— Объявление? Иван Кириллыч! Ты что ж это объявление-то не снял?

Тут Забежкин поднял глаза и увидел, что разговаривает он с дамой и что дама — размеров огромных. И нос у ней никак не меньше забежкинского носа, а корпус такой обильный, что из него смело можно двух Забежкиных выкроить, да еще кой-что останется.

— Сударыня, уважаемая мадам, — сказал Забежкин, снимая фуражку и для чего-то приседая, — мне бы хоть чуланчик какой-нибудь отвратительный, конурку, конуренушку…

— А вы из каких будете? — спросила изрядным басом Домна Павловна.

— Служащий…

— Ну, что ж, — сказала Домна Павловна, вздыхая, — пущай тогда. Есть у меня еще одна комнатушка. Не обижайтесь только — подле кухни…

Тут Домна Павловна по неизвестной причине еще раз грустно вздохнула и повела Забежкина

в комнаты.

— Вот, — сказала она, — смотрите. Скажу прямо: дрянь комната. И окно — дрянь. И вид никакой, а в стену. А вот с хорошей комнатой опоздали, батюшка. Сдана хорошая комната. Военному телеграфисту сдана.

— Прекрасная комната! — воскликнул Забежкин. — Мне очень нравятся такие комнаты подле кухни… Разрешите — я и перееду завтра…

— Ну, что ж, — сказала Домна Павловна. — Пущай тогда. Переезжайте.

Забежкин низенько поклонился и вышел. Он подошел к воротам, еще раз, с грустью, прочел объявление, сложил его и спрятал в карман.

«Да-с, — подумал Забежкин, — с трудом, с трудом счастье дается… Вот иные в Америку и в Индию очень просто ездят и комнаты снимают, а тут… Да еще телеграфист… Какой это телеграфист? А ежели, скажем, этот телеграфист да помешает? С трудом, с трудом счастье дается!»

4

Забежкин переехал. Это было утром. Забежкин вкатил тележку во двор, и тотчас все окна в доме открылись, и бабья голова с флюсом, высунувшись из окна на этот раз по пояс, сказала: «Ага!»

И ученый агроном Пампушкин, оставив ученую статью «Несколько слов в защиту вредителей», подошел к окну.

И сама Домна Павловна милостиво сошла вниз.

Забежкин развязывал свое добро.

— Подушки! — сказали зрители.

И точно: две подушки, одна розовая с рыжим пятном, другая синенькая в полоску, были отнесены наверх.

— Сапоги! — вскричали все в один голос.

Перед глазами изумленных зрителей предстали четыре пары сапог. Сапоги были новенькие, и сияли они носками, и с каждой пары бантиком свешивались шнурки. И бабья голова с флюсом сказала с уважением: «Ого!» И Домна Павловна милостиво потерла полные свои руки. И сам ученый агроном прищурил свои ученые глаза и велел мальчишкам отойти от тележки, чтобы видней было.

— Книги… — конфузясь, сказал Забежкин, вытаскивая три запыленные книжки.

— Книги?

И ученый агроном счел необходимым спуститься вниз.

— Очень приятно познакомиться с интел-

лигентным человеком, — сказал агроном, с любопытством рассматривая сапоги. — Это что же, — продолжал он, — это не по ученому ли пайку вы изволили получить сапоги эти?

— Нету, — сказал Забежкин, сияя, — это в некотором роде частное приобретение и, так сказать, движимость. Иные, знаете ли, деньги предпочитают в брильянтах держать… а, извиняюсь, что такое брильянты? Только что блеск да бессмысленная игра огней…

— М-м, — сказал агроном с явным сожалением, — то-то я и смотрю — что такое? — будто бы и не такие давали по ученому. Цвет, что ли, не такой?

— Цвет! — сказал Забежкин в восторге. — Это цвет, наверное, не такой. Такой цвет — раз, два и обчелся…

— Катюшечка! — крикнул агроном голове с флюсом. — Вынеси-ка, голубчик, сапоги, что давеча по ученому пайку получали.

Сожительница агронома вынесла необыкновенных размеров рыжие сапоги. Вместе с сожительницей во двор вышли все жильцы дома. Вышла даже какая-то, очень древнего вида, старушка, думая, что раздают сапоги бесплатно. Вышел и телеграфист, ковыряя в зубах спичкой.

— Вот! — закричал агроном, обильно брызгая в Забежкина слюной. — Вот, милостивый государь, обратите ваше внимание!

Агроном пальцем стучал в подметку, пробовал ее зубами, подбрасывал сапоги вверх, бросал их наземь, — они падали как поленья.

— Необыкновенные сапоги! — орал агроном на Забежкина таким голосом, точно Забежкин вел агронома расстреливать, а тот упирался. — Умоляю вас, взгляните! Нате! Бросайте их на землю, бросайте — я отвечаю!

Забежкин сказал:

— Да. Очень необыкновенные сапоги. Но ежели их на камни бросать, то они могут не выдержать…

— Не выдержат? Эти-то сапоги не выдержат? Да чувствуете ли вы, милостивый государь, какие говорите явные пустяки? Знаете ли, что вы меня даже оскорбляете этим. Не выдержат! — горько усмехнулся агроном, наседая на Забежкина.

— На камни безусловно выдержат, — с апломбом сказал вдруг телеграфист, вылезая вперед, — а что касается… Под тележку если, например, и тележку накатить враз — нипочем не выдержат.

— Катите! — захрюкал агроном, бросая сапоги. — Катите, на мою голову!

Забежкин налег на тележку и двинул ее. Сапоги помялись и у носка лопнули.

— Лопнули! — закричал телеграфист, бросая фуражку наземь и топча ее от восторга.

— Извиняюсь, — сказал агроном Забежкину, — это нечестно и нетактично, милостивый государь! Порядочные люди прямо наезжают, а вы боком… Это подло даже, боком наезжать. Нетактично и по-хамски с вашей стороны!

— Пускай он отвечает, — сказала сожительница агроному. — Он тележку катил, он и отвечает. Это каждый человек начнет на сапоги тележку катить — сапог не напасешься.

— Да, да, — сказал агроном Забежкину, — извольте теперь отвечать полностью.

— Хорошо, — ответил печально Забежкин, интересуясь телеграфистом, — возьмите мою пару.

Телеграфист, выплюнув изо рта спичку и склонившись над сапогами, хохотал тоненько с привизгиваньем, будто его щекотали под мышками.

«Красавец! — с грустью думал Забежкин. — И шея хороша, и нос нормальный, и веселиться может…»

Так переехал Забежкин.

5

На другой день все стало ясно: телеграфист Забежкину мешал.

Не Забежкину несла Домна Павловна козье молоко, не Забежкину пеклось и варилось на кухне, и не для Забежкина Домна Павловна надела чудный сиреневый капот. Все это пеклось, варилось и делалось для военного телеграфиста, Ивана Кирилловича.

Телеграфист лежал на койке, тренькал на гитаре и пел нахальным басом. В песнях ничего смешного не было, но Домна Павловна смеялась.

«Смеется, — думал Забежкин, слушая, — и, наверное, сидит в ногах телеграфистовых. Смеется… Значит, ей, дуре, весело, а весело, значит, ощущает что-нибудь. Так ведь и опоздать можно».

Целый день Забежкин провел в тоске. Наутро пошел в канцелярию. Работать не мог. И какая, к чертовой матери, работа, ежели, скажем, такое беспокойство. Мало того, что о телеграфисте беспокойство, так и хозяйство все-таки. Тоже вот домой нужно прийти. Там на двор. Кур проверить. Узнать — мальчишки не гоняли ли, а если, скажем, гонял кто — вздрючить того. Козе тоже корку отнести нужно… Хозяйство…

«А хоть и хозяйство, — мучился Забежкин, — да чужое хозяйство. И надежда малюсенькая. Малюсенькая, оттого что телеграфист мешает».

Придя домой, Забежкин прежде всего зашел в сарай.

— Вот, Машка, — сказал Забежкин козе, — кушай, дура. Ну, что смотришь? Грустно? Грустно, Машка. Телеграфист мешает… Убрать его, Машка, требуется. Ежели не убрать — любовь корни пустит.

Коза съела хлеб и обнюхивала теперь Забежкину руку.

— А как убрать его, Машка? Он, Машка, спортсмен, крепкий человек, не поддастся на пустяки. Он, сукин сын, давеча в трусиках бегал. Закаленный. А я, Машка, человек ослабший, на меня революция подействовала… И как убрать, ежели он и сам заметно хозяйством интересуется. Чего это он, скажи, пожалуйста, заходил в сарай давеча?

Коза тупо смотрела на Забежкина.

— Ну, пойду, Машка, пойду, может, и выйдет что. Тут с телеграфиста начать надо. Телеграфист — главная запятая. Не будь его, я бы, Машка, вчера еще с Домной Павловной кофей бы пил… Ну, пойду…

И Забежкин пошел домой. Он долго ходил по своей узкой комнате, бубнил под нос невнятное, размахивая руками, потом вынул из комода сапоги и, грустно покачивая головой, завернул одну пару в бумагу. И пошел к телеграфисту.

В комнату Забежкин вошел не сразу. Он постоял у двери Ивана Кирилловича, послушал. Телеграфист кряхтел, ворочался по комнате, двигал стулом.

«Сапоги чистит», — подумал Забежкин и постучал.

Точно: телеграфист чистил сапоги. Он дышал на них, внимательно обводил суконкой и ставил на стул то одну, то другую ногу.

— Пардон, — сказал телеграфист, — я ухожу, извиняюсь, скоро.

— А ничего, — сказал Забежкин, — я на секундочку… Я, как сосед ваш по комнате и, так сказать, под одним уважаемым крылом Домны Павловны, почел долгом представиться: сосед и бывший коллежский регистратор Петр Забежкин.

— Ага, — сказал телеграфист, — ладно. Пожалуйста.

— И, как сосед, — продолжал Забежкин, — считаю своим долгом, по кавказскому обычаю, подарок преподнесть — сапожки.

— Сапоги? За что же, помилуйте, сапоги? — спросил телеграфист, любуясь сапогами. — Мне даже, напротив того, неловко, уважаемый сосед… Я не могу так, знаете ли.

— Ей-богу, возьмите…

— Разве что по кавказскому обычаю, — сказал телеграфист, примеряя сапоги. — А вы что же, позвольте узнать, уважаемый сосед, извиняюсь, на Кавказ путешествовали?.. Горы, наверное? Эльбрус, черт его знает какой? Нравы… Туда, уважаемый сосед, и депеши на другой день только доходят… Чересчур отдаленная страна…

— Нет, — сказал Забежкин, — это не я. Это Иван Нажмудинович на Кавказ ездил. Он даже в Нахичевани был…

Еще Забежкин хотел рассказать про кавказские нравы, но вдруг сказал:

— Батюшка, уважаемый сосед, молодой человек! Вот я сейчас на колени опущусь…

И Забежкин встал на колени. Телеграфист испугался и закрыл рот.

— Батюшка, уважаемый товарищ, бейте меня, уничтожайте! До боли бейте.

Телеграфист, думая, что Забежкин начнет его сейчас бить, размахнулся и ударил Забежкина.

— Ну, так! — сказал Забежкин, падая и вставая

снова. — Так. Спасибо! Осчастливили. Слезы у меня текут… Дрожу и решенья жду — съезжайте с квартиры, голубчик, уважаемый товарищ.

— Как же так? — спросил телеграфист, закрывая рот. — Странные ваши шутки.

— Шутки! Драгоценное слово — шутки! Батюшка сосед, Иван Кириллович, вам с Домной Павловной баловство и шутки, а мне — настоящая жизнь. Вот весь перед вами заголился… Съезжайте с квартиры, в четверг же съезжайте… Остатний раз прошу. Плохо будет.

— Чего? — спросил телеграфист. — Плохо? Мне до самой смерти плохо не будет… А если приспичило вам… да нет, странные шутки… Не могу-с.

— Батюшка, я еще чем-нибудь попрошу…

— Не могу-с… Да и за что же мне с квартиры съезжать? Мне нравится эта квартира. Да вы, впрочем, хорошенько попросите… Расход ведь в переездах, и, вообще, вы попросите. Я люблю, когда меня просят.

Забежкин бросился в свою комнату и через минуту вернулся.

— Вот! — сказал он задыхаясь. — Вот сапожки и шнурки вот запасные.

Телеграфист примерил сапоги и сказал:

— Жмут. Ну, ладно. Дайте срок — съеду. Только

странные ваши шутки…

Забежкин ушел в свою комнату и тихонько сел у окна.

6

Забежкин на службу не пошел. С куском хлеба он пробрался в сарай и сел перед козой на корячки.

— Готово, Машка. Шабаш. Убрал вчера телеграфиста. Кобенился и сопротивлялся, ну, да ничего — свалил… Сапоги ему, Машка, отдал… Теперь что же, Машка? Теперь Домна Павловна осталась. Тут, главное, на чувства рассчитывать нужно. На эстетику, Машка. Розу сейчас пойду куплю. Вот, скажу, вам роза — нюхайте… Завтра куплю, а нынче запарился я, Машка… Ну, ну, нету больше. Хватит.

Забежкин прошел в свою комнату и лег на кровать. Розу он купить не успел. Домна Павловна пришла к нему раньше.

Она сказала:

— Ты что ж это сапогами-то даришься? Ты к чему это сапоги телеграфисту отдал?

— Подарил я. Домна Павловна. Хороший он очень человек. Чего ж, думаю, ему не подарить? Подарил, Домна Павловна.

— Это Иван Кириллыч-то хороший человек? — спросила Домна Павловна. — Неделю, подлец, не живет, и до свиданья. С квартиры съезжает… Это он-то хороший человек? Отвечай, если спрашиваю?!

— А я, Домна Павловна, думал…

— Чего ты думал? Чего ты, раззява, думал?

— Я думал, Домна Павловна, — он и вам нравится. Вы завсегда с ним хохочете…

— Это он-то мне нравится? — Домна Павловна всплеснула руками. — Да он цельные дни бильярды гоняет, а после с девчонками… Чего я в нем не видала? Да он и вниманья-то своего на меня не обратит… Ну, и врать же ты… Да он, прохвост ты человек, при наружности своей любую тонконогую возьмет, а не меня. Ну, и дурак же ты…

— Домна Павловна, — сказал Забежкин, — про тонконогую это до чего верно вы сказали — слов нет. Это такой человек, Домна Павловна… Он заврался давеча: люблю, — говорит, — тонконогих, а на полненькую и внимания не обращу. Ведь это он, Домна Павловна, про вас намекал.

— Ну? — спросила Домна Павловна.

— Ей-богу, Домна Павловна… Он тонкую возьмет, ей-богу, правда — уколоться об локоть можно, а он и рад, гадина. А вот я, Домна Павловна, я на

крупную фигуру всегда обращу свое вниманье. Я, Домна Павловна, такими, как вы, увлекаюсь.

— Ври еще!

— Нет, Домна Павловна, мне нельзя врать. Вы для меня это очень превосходная дама… И для многих тоже… Ко мне, помните, Домна Павловна, человек заходил — тоже заинтересовался. Это, — спрашивает, — кто же такая гранд-дам интереснейшая?

— Ну? — спросила Домна Павловна. — Так и сказал?

— Так и сказал, дай бог ему здоровья. Это, — говорит, — не актриса ли Люком?

Домна Павловна села рядом с Забежкиным.

— Да это какой же, не помню чего-то? Это не тот ли — рыжеватый будто и угри на носу?

— Тот, Домна Павловна. Тот самый, и угри на носу, дай бог ему здоровья!

— А я думала, он к Ивану Кириллычу прошел… Так ты бы его к столу пригласил. Сказал бы: вот, мол, Домна Павловна кофею просит выкушать… Ну, а что он еще такое говорил? Про глаза ничего не говорил?

— Нет, — сказал Забежкин, задыхаясь, — нет, Домна Павловна, про глаза это я говорил. Я говорил: люблю такие превосходные глаза, млею

даже, как посмотрю… Вообще, многоуважаемые глаза…

— Ну, ну, уж и любишь? — удивилась Домна Павловна. — Поел, может, чего лишнего, — вот и любишь.

— Поел! — вскричал Забежкин. — Это я-то поел, Домна Павловна! Нет, Домна Павловна, раньше это точно я превосходно кушал, рвало даже, а нынче я, Домна Павловна, на хлебце больше.

— Глупенький, — сказала Домна Павловна, — ты бы ко мне пришел. Вот, сказал бы…

— А я вас, Домна Павловна, совершенно люблю! — вскричал Забежкин. — Скажите: упади, Забежкин, из окна — упаду, Домна Павловна! Как стелечка на камни лягу и имя еще прославлять буду!

— Ну, ну, — сказала Домна Павловна, конфузясь.

И ушла вдруг из комнаты. И только Забежкин хотел к козе пройти, как Домна Павловна снова вернулась.

— Побожись, — сказала она строго, — побожись, что верно сказал про чувства…

— Вот вам крест и икона святая…

— Ну, ладно. Не божись зря. Кольца купить нужно… Чтоб венчанье и певчие.

— И певчие! — закричал Забежкин. — И певчие, Домна Павловна. И все так великолепно, все так благородно… Дозвольте же в ручку поцеловать, Домна Павловна! Вот-с… А я-то, Домна Павловна, думал — чего это мне не по себе все? На службе невтерпеж даже, домой рвусь… А это чувство…

Домна Павловна стояла торжественно посреди комнаты.

Вокруг нее ходил Забежкин и говорил:

— Да-с, Домна Павловна, чувство… Давеча я, Домна Павловна, опоздал на службу — размечтался на разные разности, а когда пришел, Иван Нажмудинович ужасно так строго на меня посмотрел. Я сел и работать не могу. Сижу и на книжке «де» и «пе» рисую. А Иван Нажмудинович галочки сосчитал (у нас, Домна Павловна, всегда, кто опоздал, галочку насупротив фамилии пишут), так Иван Нажмудинович и говорит: «Шесть галочек насупротив фамилии Забежкин… Это не поперли бы его по сокращению штатов»…

— А пущай! — сказала Домна Павловна. — И так хватит.

Венчанье Домна Павловна назначила через неделю.

7

В тот день, когда телеграфист собрал в узлы свои вещи и сказал: «Не поминайте лихом, Домна Павловна, завтра я съеду», — в тот день все погибло.

Ночью Забежкин сидел на кровати перед Домной Павловной и говорил:

— Мне, Домна Павловна, счастье с трудом дается. Иные очень просто и в Америку ездят, и комнаты внаймы берут, а я, Домна Павловна… Да вот, не пойди я тогда за прохожим, ничего бы и не было. И вас бы, Домна Павловна, не видеть мне, как ушей своих… А тут прохожий. Объявление. Девицам не тревожиться. Хе-хе, плюха-то какая девицам, Домна Павловна!

— Ну, спи, спи! — строго сказала Домна Павловна. — Поговорил и спи.

— Нет, — сказал Забежкин, поднимаясь, — не могу я спать, у меня, Домна Павловна, грудь рвет. Порыв… Вот я, Домна Павловна, мысль думаю… Вот коза, скажем, Домна Павловна, такого счастья не может чувствовать…

— А?

— Коза, я говорю, Домна Павловна, не может ощущать такого счастья. Что ж коза? Коза — дура.

Коза и есть коза. Ей бы, дуре, только траву жрать. У ней и запросов никаких нету. Ну, пусти ее на Невский — срамота выйдет, недоразумение… А человек, Домна Павловна, все-таки запросы имеет. Вот, скажем, меня взять. Давеча иду по Невскому — тыква в окне. Зайду, — думаю, — узнаю, какая цена той тыкве. И зашел. И все-таки человеком себя чувствуешь. А что ж коза, Домна Павловна? Вот хоть бы и Машку нашу взять — дура, дура и есть. Человек и ударить козу может, и бить даже может, и перед законом ответственности не несет — чист, как стеклышко.

Домна Павловна села.

— Какая коза, — сказала она, — иная коза при случае и забодать может человека.

— А человек, Домна Павловна, козу палкой, палкой по башке по козлиной.

— Ну и коза, коза может молока не дать, как телеграфисту давеча.

— Как телеграфисту? — испугался Забежкин. — Да чего ж он ходит туда? Да как же это коза может молока не дать, ежели она дойная?

— А так и не даст!

— Ну, уж это пустяки, Домна Павловна, — сказал Забежкин, расхаживая по комнате. — Это уж… Что ж это? Это бунт выходит.

Домна Павловна тоже встала.

— Что ж это? — сказал Забежкин. — Да ведь это же, Домна Павловна, вы про революцию говорите… А вдруг да когда-нибудь, Домна Павловна, животные революцию объявят. Козы, например, или коровы, которые дойные. А? Ведь может же такое быть когда-нибудь? Начнешь их доить, а они бодаются, копытами по животам бьют. И Машка наша может копытами… А ведь Машка наша, Домна Павловна, забодать, например, Иван Нажмудиныча может?

— И очень просто, — сказала Домна Павловна.

— А ежели, Домна Павловна, не Иван Нажмудиныча забодает Машка, а комиссара, товарища Нюшкина? Товарищ Нюшкин из мотора выходит, Арсений дверку перед ним — пожалуйте, дескать, товарищ Нюшкин, а коза Машка спрятавшись за дверкой стоит. Товарищ Нюшкин — шаг, и она подойдет, да и тырк его в живот, по глупости.

— Очень просто, — сказала Домна Павловна.

— Ну, тут народ стекается. Конторщики. А товарищ Нюшкин очень даже рассердится. «Чья, — скажет, — это коза меня забодала?» А Иван Нажмудиныч уж тут, задом вертит. «Это коза, — скажет, — Забежкина. У него, — скажет, — кроме того, насупротив фамилии шесть

галочек». — «А, Забежкина, — скажет товарищ комиссар, — ну, так уволен он по сокращению штатов». И баста.

— Да что ты все про козу-то врешь? — спросила Домна Павловна. — Откуда это твоя коза?

— Как откуда? — сказал Забежкин. — Коза, конечно, Домна Павловна, не моя, коза ваша, но ежели брак, хотя бы даже гражданский, и как муж, в некотором роде…

— Да ты про какую козу брендишь-то? — рассердилась Домна Павловна. — Ты что, у телеграфиста купил ее?

— Как у телеграфиста? — испугался Забежкин. — Ваша коза, Домна Павловна.

— Нету, не моя коза… Коза телеграфистова. Да ты, прохвост этакий, идол собачий, не на козу ли нацелился?

— Как же, — бормотал Забежкин, — ваша коза. Ей-богу, ваша коза, Домна Павловна.

— Да ты что, опупел? Да ты на козу рассчитывал? Я сию минуту тебя наскрозь вижу. Все твои кишки вижу…

В необыкновенном гневе встала с кровати Домна Павловна и, покрыв одеялом обильные свои плечи, вышла из комнаты. А Забежкин прилег на кровать да так и пролежал до утра не двигаясь.

8

Утром пришел к Забежкину телеграфист.

— Вот, — сказал телеграфист, не здороваясь, — Домна Павловна приказала, чтобы в двадцать четыре часа, иначе — судом и следствием.

— А я, — закричала из кухни Домна Павловна, — а я, так и передай ему, Иван Кириллыч, скотине этому, я и видеть его не желаю.

— А Домна Павловна, — сказал телеграфист, — и видеть вас не желает.

Домна Павловна кричала из кухни:

— Да посмотри, Иван Кириллыч, не прожег ли он матрац, сукин сын. Курил давеча. Был у меня один такой субчик — прожег. И перевернул, подлец, — не замечу, думает. Я у них, у подлецов, все кишки наскрозь вижу. Сволочь!..

— Извиняюсь, — сказал телеграфист Забежкину, — пересядьте на стул.

Забежкин печально пересел с кровати на стул.

— Куда же я перееду? — сказал Забежкин. — Мне и переехать-то некуда…

— Он, Домна Павловна, говорит, что ему и переехать некуда, — сказал телеграфист, осматривая матрац.

— А пущай куда хочет, хоть кошке под хвост! Я

в его жизнь не касаюсь.

Телеграфист Иван Кириллыч осмотрел матрац, заглянул, без всякой на то нужды, под кровать и, подмигнув Забежкину глазом, ушел.

Вечером Забежкин нагрузил тележку и выехал неизвестно куда.

А когда выезжал из ворот, то встретил агронома Пампушкина. Агроном спросил:

— Куда? Куда это вы, молодой человек?

Забежкин тихо улыбнулся и сказал:

— Так, знаете ли… прогуляться…

Ученый агроном долго смотрел ему вслед. На тележке поверх добра на синей подушке стояла одна пара сапог.

9

Так погиб Забежкин.

Когда против его фамилии значилось восемь галок, бухгалтер Иван Нажмудинович сказал:

— Шабаш. Уволен ты, Забежкин, по сокращению штатов.

Забежкин записался на биржу безработных, но работы не искал. А как жил — неизвестно.

Однажды Домна Павловна встретила его на Дерябкинском рынке. На толчке. Забежкин продавал пальто.

Был Забежкин в рваных сапогах и в бабьей кацавейке. Был он не брит, и бороденка у него росла почему-то рыжая. Узнать его было трудно!

Домна Павловна подошла к нему, потрогала пальто и спросила:

— Чего за пальто хочешь?

И вдруг узнала — это Забежкин.

Забежкин потупился и сказал:

— Возьмите так, Домна Павловна.

— Нет, — ответила Домна Павловна, хмурясь, — мне не для себя нужно. Мне Иван Кириллычу нужно. У Ивана Кириллыча пальто зимнего нету… Так я не хочу, а вот что: денег я тебе, это верно, не дам, а вот приходи — будешь обедать по праздникам.

Пальто накинула на плечи и ушла.

В воскресенье Забежкин пришел. Обедать ему дали на кухне. Забежкин конфузился, подбирал грязные ноги под стул, качал головой и ел молча.

— Ну, как, брат Забежкин? — спросил телеграфист.

— Ничего-с, Иван Кириллыч, терплю, — сказал Забежкин.

— Ну, терпи, терпи. Русскому человеку невозможно, чтобы не терпеть. Терпи, брат Забежкин.

Забежкин съел обед и хлеб спрятал в карман.

— А я-то думал, — сказал телеграфист, смеясь и подмигивая, — я-то, Домна Павловна, думал — чего это он, сукин сын, икру передо мной мечет? А он вот куда сети закинул — коза.

Когда Забежкин уходил, Домна Павловна спросила тихо:

— Ну, а сознайся, соврал ведь ты насчет глаз вообще?

— Соврал, Домна Павловна, соврал, — сказал Забежкин, вздыхая.

— Н-ну, иди, иди, — нахмурилась Домна Павловна, — не путайся тут!

Забежкин ушел.

И каждый праздник приходил Забежкин обедать. Телеграфист Иван Кириллович хохотал, подмигивал, хлопал Забежкина по животу и спрашивал:

— И как же это, брат Забежкин, ошибся ты?

— Ошибся, Иван Кириллыч…

Домна Павловна строго говорила:

— Оставь, Иван Кириллыч! Пущай ест. Пальто тоже денег стоит.

После обеда Забежкин шел к козе. Он давал ей корку и говорил:

— Нынче был суп с луком и турнепс на вто-

рое…

Коза тупо смотрела Забежкину в глаза и жевала хлеб. А после облизывала Забежкину руку.

Однажды, когда Забежкин съел обед и корку спрятал в карман, телеграфист сказал:

— Положь корку назад. Так! Пожрал, и до свиданья. К козе нечего шляться!

— Пущай, — сказала Домна Павловна.

— Нет, Домна Павловна, моя коза! — ответил телеграфист. — Не позволю… Может, он мне козу испортит по злобе. Чего это он там с ней колдует?

Больше Забежкин обедать не приходил.

Рассказы и фельетоны

Огни большого города

К одному жильцу с нашей коммунальной квартиры прибыл из деревни его отец.

Конечно, он прибыл по случаю болезни своего сына. Без этого он, наверное, до конца своих дней не увидел бы Ленинграда. Но поскольку захворал его сын, вот он и прибыл.

А сын его был наш жилец. И он служил в одном ресторане официантом. Он там порции подавал и был на хорошем счету.

И, может быть, стараясь еще больше, он однажды, разгорячившись своим ночным трудом, выскочил на улицу, с тем чтобы пойти домой, и, конечно, через это простудился на своем, так сказать, кулинарном посту. Он захворал сначала насморком и семь дней чихал. Но потом простуда перешла к нему на грудь, и температура вдруг поднялась до плюс сорока градусов выше нуля.

Вдобавок еще до этого, желая в свободный день культурно провести время, он поехал в Павловск осмотреть дворцы, и там он немного надорвался, помогая своей супруге войти в вагон.

Так что все это вместе взятое дало печальную картину заболевания человека в полном расцве-

те его сил.

И, будучи от природы мнительным, наш бедный официант был уверен, что он уже не поправится и уже, как говорится, не приступит больше к исполнению своих прямых обязанностей.

И вот через это он и пригласил своего папу приехать в Ленинград, чтобы сказать ему последнее «прости».

Не то чтобы он горячо любил своего папеньку, и вот теперь на закате своей жизни он во что бы то ни стало захотел его увидеть, напротив, он в течение сорока лет о нем не справлялся и совершенно как бы безучастно относился к факту его существования. Но его супруга, увидя у своего мужа такую невозможно высокую температуру, скорее из самолюбия, — мол, все, как у людей, — дала папе телеграмму: дескать, приезжайте в Ленинград, ваш сын захворал.

И когда сын уже начал поправляться, в Ленинград, всем на удивление, прибыл из весьма далеких мест его папáнька в лаптях, с мешком за спиной и с палкой. Правда, потом оказалось, у старика в мешке были сапоги, но он их принципиально не носил, говоря об этом: «Богатый бережет рожу, а бедный — одежу».

Конечно, все, и в том числе сын, рассчиты-

вали, что приедет скромный, отчасти даже религиозный старец лет семидесяти и будет тут произносить постные речи и всего пугаться. Но оказалось совершенно, как говорится, напротив.

Оказалось, что старикан был на редкость задиристый, немного скандалист, грубиян и брехун. И вдобавок он был не то чтобы контрреволюционер, но он отличался исключительной отсталостью в политическом смысле.

Он моментально во дворе дома схлестнулся с дворником и отодрал за уши одного подростка, пришедшего в гости к своему дяде, живущему тут двенадцать лет.

Потом он у нас в жакте резко беседовал с председателем, так что тот удивился, какие бывают взгляды на современность, и даже хотел об этом сообщить по месту его жительства.

В довершение всего приезжий отец напугал своего сына тем, что с места в карьер навел в конторе справку, не может ли он тут получить площадь для постоянного проживания в Ленинграде.

Конечно, сам по себе старик, наверное, был сравнительно хороший, но тут с первого дня его приезда почти все жильцы оказались не на высоте в смысле культуры. Они все начали над

ним подтрунивать, шутили над ним, как над дураком, смеялись насчет его провинциальных, деревенских манер. И каждый старался сказать ему какую-нибудь чушь, вроде того, как ему при встрече всякий раз говорил дворник петушиным голосом: «С какого именно колхоза прибыли, молодой человек?»

Да и сын его, официант Гаврилов, тоже, конечно, не отставал от общего настроения и в другой раз, давясь от смеха, говорил старику, нарочно глядя в газету:

— Сегодня, папаня, не ходите на улицу — ожидается облава на седых и рыжих.

Конечно, все это делалось довольно любовно и без злобы, но все-таки, как говорится, это, наверное, не было чем-нибудь приятным для приезжего старика, который прожил семьдесят два года и был, наверное, умнее их всех, вместе взятых. А они думали, что это — простофиля, дурак и серый мужик, и вот что с ним делали.

И это, конечно, имело отрицательную реакцию на его поведение.

И сколько дней он тут прожил, столько скандалов имело место. Были крики, сцены грубости и так далее.

В довершение всего на седьмой день своего

пребывания он в пивной надрызгался и стал там буянить. И даже его хотели представить в милицию. Но он от всех скрылся и пошел шляться по улицам.

И вот он идет по улице и песни играет. А сам старенький, седенький и одетый по-деревенски, в высшей степени незатейливо.

И вот он идет по улицам и вдруг видит, что заблудился.

Конечно, это абсурд — тут заблудиться. Тем более он адрес знает. Но с пьяных глаз он испугался и даже протрезвел.

И спросил прохожего, куда ему идти. Но прохожий не знал и велел ему обратиться к органам милиции.

Конечно, наш старик оробел сразу подойти к стоящему на посту милиционеру и от волнения прошел еще два-три квартала.

Но потом подошел к постовому с опаской, думая, что тот засвистит и закричит на него.

Но тот, согласно внутренней инструкции, отдал честь подошедшему, приложив к козырьку свою руку в белой перчатке.

Приготовившись к скандалу и привыкши к этому, старик от неожиданности немного растерялся и залепетал разные слова, не идущие к делу.

А постовой, спросив у него, какая ему нужна улица, показал, куда идти, и, снова отдав честь, занялся своим делом.

Но этот маленький жест почтения и вежливости, рассчитанный в свое время на генералов и баронов, произвел исключительное впечатление на нашего приезжего старика.

Старик аж задрожал, когда ему постовой отдал честь вторично и, стало быть, тем самым показал, что тут ошибки не было, а было то, что ему полагалось.

И тогда старик, как потом выяснилось, снова еще раз подошел уже к другому милиционеру и снова получил приветствие, которое с еще большей силой запало в его слабую душу.

Конечно, я не знаю, может ли быть, чтоб это сразу отразилось на характере, но все заметили, что старикан вернулся домой в высшей степени сдержанный и, проходя мимо дворника, не вступил с ним в обычные пререкания, а молча отдал ему честь и проследовал к себе.

Не знаю, может ли быть, что такая мелочь и такой, в сущности, пустяк могли сыграть известную роль в смысле перековки характера, но все заметили, что с папашей Гавриловым что-то произошло другое и в высшей степени ориги-

нальное.

Кое-кто видел, как он на углу около своего дома пару раз подходил к милиционеру и с ним вежливо беседовал.

И многие, грубоватые в своем уме, увидев перемену, приписали ее страху, который старик испытал, когда его хотели волочить в милицию. Но некоторые поняли по-другому.

И один интеллигент с нашей квартиры, страдающий сахарной болезнью, сказал про этот случай:

— Я завсегда отстаивал ту точку зрения, что уважение к личности, похвала и почтение приносят исключительные результаты. И многие характеры от этого раскрываются буквально как розы на рассвете.

Большинство с ним не согласилось, и даже у нас в квартире произошла безрезультатная дискуссия.

А дня через три папаша Гаврилов заявил своему сыну, что срочные дела требуют его отбытия в деревню.

Некоторые из нашей квартиры, желая загладить перед стариком свои неуклюжие шутки, пошли его провожать на вокзал.

И когда поезд тронулся, папа, стоя на площадке,

отдал всем провожающим честь.

И все засмеялись, и папа засмеялся и уехал к себе на родину.

И там он, наверное, внесет теперь некоторую любезность в свои отношения к людям. И от этого ему в жизни станет еще более светло и приятно.

Загадочное происшествие

В начале революции я служил младшим следователем уголовного розыска.

Конечно, тогда не было крупных специалистов в этом деле. А каждый гражданин, умеющий читать и писать, мог поступить на эту интересную службу.

И действительно, много интересных и забавных дел проходило через наши руки.

Но из всех дел мне наибольше всего запомнилось одно загадочное происшествие в Лигове.

Сижу я, представьте себе, на службе и чай пью.

Вдруг прибегает ко мне запыхавшийся человек и говорит:

— Я стрелочник Фролов. Служу в Лигове. Ночью воры у меня украли козу. Это такая для меня беда, что я весь дрожу от огорчения… Умоляю вас — раскройте это преступление и верните мне украденную козу.

Я ему говорю:

— Ты не волнуйся. Сядь и расскажи подробней. А я с твоих слов составлю протокол, после чего мы сразу поедем на место происшествия, найдем вора и отберем от него твою козу.

Стрелочник говорит:

— Два дня назад я купил себе козу, чтобы пить молоко и поправляться. Я за эту козу дал мешок муки. Это была дивная породистая коза. Я вчера ее на ночь закрыл в сарай на замок, но воры пробрались ко мне во двор, сломали этот замок и украли козу. Что я теперь буду делать без козы и без муки, я и сам не представляю.

Вот я составляю убийственный для вора протокол, вызываю старшего следователя и советую ему сразу поехать, чтобы по горячим следам раскрыть эту кражу.

А старший следователь у нас был довольно опытный работник. И только у него был единственный недостаток: он если сильно поволнуется, то в обморок падает. Потому что в него однажды один вор стрелял из револьвера. И вот он с тех пор стал немного пугливый. Если какой-нибудь стук раздается, или там доска упадет, или кто-нибудь громко крикнет, то он моментально падает без сознания. Так что его одного никогда у нас не пускали, а всегда его кто-нибудь сопровождал.

А так-то он был хороший агент и очень часто раскрывал кражи. Его все у нас звали дядя Володя.

Вот дядя Володя и говорит мне:

— Давай быстрей собирайся, поедем в Лигово, чтобы выяснить, кто у стрелочника украл козу.

Через десять минут мы вместе с пострадавшим стрелочником садимся в поезд и едем в Лигово.

И вот стрелочник приводит нас к себе на двор. И мы видим небольшой одноэтажный домик. Двор, огороженный высоким забором. И небольшой сарай, в котором была заперта коза.

Теперь этот сарай настежь раскрыт. Замок на нем сломан и еле висит на железном кружке. И в сарае пусто. Никакой козы нету. Только немного сена лежит.

Дядя Володя, моментально осмотрев сарай, говорит:

— Перед нами, товарищи, типичная картина ночной кражи со взломом. Вор перелез через забор, железным предметом сломал замок и, проникнув в сарай, увел с собой козу. Сейчас обследую почву, найду следы и доложу вам, какую вор имел наружность.

И с этими словами дядя Володя ложится на землю и разглядывает следы.

— Перед нами, — говорит он, — типичная воровская походка. Вор, судя по следам, высокий худощавый гражданин средних лет. И сапоги у

него подбиты железной подковкой.

Стрелочник говорит:

— Поскольку у меня сапоги подбиты железной подковкой, то вы там не спутайте меня с вором, умоляю вас. А то, чего доброго, я через вас попаду в тюрьму. Тем более — я тоже худощавый и средних лет. Вы наденьте на нос очки и глядите получше, нет ли там еще каких-нибудь других следов.

Дядя Володя говорит:

— Кроме этих следов, имеются еще одни обыкновенные следы. И рядом с этими следами видны отпечатки ног маленького мальчика или девочки. Так что перед нами типичная картина ночной кражи. Два вора и их маленький помощник, пробравшись во двор, взламывают сарай и втроем угоняют козу…

Стрелочник, чуть не плача, говорит:

— Откуда же два вора? Ведь одни следы с подковкой мои. Что же, значит, я сам у себя козу украл? Что вы наводите тень на плетень. Нет, я, кажется, зря вас пригласил.

Тут во дворе собирается громадная толпа. Все с интересом смотрят, что будет дальше.

Дядя Володя говорит:

— В таком случае я допускаю, что вор был один

со своим маленьким помощником. Причем этот маленький помощник обут в дырявые сандалии на босу ногу и сам он лет шести или семи.

Только он так сказал, вдруг в толпе детский плач раздается.

И вдруг все видят, что это плачет маленький подросток Минька, племянник своего дяди, этого стрелочника, живущий тут же.

Все на него смотрят и видят, что он обут в дырявые сандалии.

Его спрашивают:

— Что ты, Минька, плачешь?

Минька говорит:

— Я встал утром и зашел в сарай. Я козе дал капустный листочек. Я козу только два раза погладил и пошел по своим делам, ловить в пруде рыбок. Но замок я не трогал. И дверь была раскрыта.

Тут все удивились. И дядя Володя тоже очень удивился.

Стрелочник говорит:

— Как же он, шельмец, мог гладить утром мою козу, если она уже была украдена. Вот так номер!

Дядя Володя, потерев свой лоб рукой, говорит:

— Это очень загадочная кража. Или нам с вами вор попался какой-то ненормальный. Ночью он

замок сломал, а днем козу украл.

Жена стрелочника говорит:

— Может быть, он ждал, чтобы Минька ее покормил. После чего он, наверное, ее увел.

Дядя Володя говорит:

— Одно из трех: либо мальчику приснился сон насчет козы, как он кормил ее капустой, — бывают такие сны в детском возрасте, — либо вор свихнулся во время кражи, либо тут хозяева ненормальные.

Я говорю:

— Есть еще четвертое предположение: вор сломал замок и украл что-нибудь другое. А утром коза решила прогуляться и, выйдя на улицу, заблудилась.

Стрелочник говорит:

— Нет, коза не могла сама уйти. У меня весь двор обнесен высоким забором, и все было заперто. И калитка у меня на пружине — сама захлопывается. А что касается сарая, то, кроме козы, там ничего не было. Там у меня лежал мешок муки, на которую я променял козу. И эту козу я закрыл в сарае. Это была породистая коза, и мне ее чересчур жалко!

Сказав это, стрелочник от волнения ударил палкой по дверям сарая. И дядя Володя, подумав-

ши, что началась стрельба, моментально упал в обморок.

Я велел принести воды, мы попрыскали водой дядю Володю, потом дали ему понюхать толченого перцу, и он снова приступил к исполнению своих обязанностей.

Он сказал:

— Теперь мне все совершенно ясно. Вор, взломав замок и найдя там, вместо ценностей, козу, расстроился и не захотел ее взять, испугавшись, что она заблеет и разбудит хозяина. Но потом, вернувшись домой, вор стал жалеть, зачем он не украл козу. И тогда он взял веревку или мешок, чтоб замотать козе морду, и снова под утро явился сюда за козой. А мальчик Минька в аккурат перед этим заскочил в сарай и покормил ее.

Тут все зааплодировали следователю. А Минька еще больше заплакал.

Какая-то тетка сказала:

— Совершенно верно. Я рано утром проходила по улице и видела, как какой-то мужчина нес в руках большой мешок и там в мешке у него что-то хрюкало.

Дядя Володя говорит стрелочнику:

— Вы вспомните хорошенько — может быть, это у вас была свинья, а не коза. Вот, может быть,

она и хрюкала, когда ее вор в мешке нес. Может быть, вчера, во время обмена, вам подсунули поросенка вместо козы. И вы, не разглядевши как следует быть, заперли его в сарай.

Стрелочник, чуть не плача, говорит:

— Нет, я чувствую, что я вас зря пригласил. У меня была в сарае коза, а то, что несли в мешке, это не у меня украдено.

Дядя Володя говорит:

— Я там не знаю, у кого украдено. Но я устанавливаю факт, что вор украл поросенка и унес его в мешке… Пусть мальчик Минька скажет, что за животное было в сарае. Отвечай, Минька, какое животное было в сарае, какого оно цвета и сколько ног? За дачу ложных показаний ответишь по закону.

Минька, отчаянно заревев, говорит:

— Оно было белого цвета. И оно имело три ноги.

Услышавши это, следователь чуть было опять в обморок не упал.

Он сказал:

— Без сомнения, это был белый поросенок, от которого вор отрезал одну ногу для производства ветчины.

Стрелочник, охнув, сел на корточки и закри-

чал:

— Ой, тошнехонько! Что они со мной делают! Я теперь вижу, что я зря пригласил сюда этих агентов. У меня была коза, а они мне навязывают поросенка без одной ноги.

Дядя Володя говорит Миньке:

— Отвечай своему дяде, что было в сарае — коза или поросенок… Блеяло оно или хрюкало?

Стрелочник добавляет:

— А если ты у меня соврешь, то я тебе, шельмецу, голову оторву.

Минька сквозь слезы говорит:

— Не знаю, что там было. Я рыбок пошел ловить. И до вашей дурацкой козы и не дотрагивался. Только я дал ей капустки покушать и сразу ушел.

Дядя Володя говорит:

— Ясно, это был поросенок.

Только он так сказал, и вдруг откуда-то сверху раздается:

— Бя-а-а.

Вся толпа ахнула, когда услышала эти звуки. Стрелочник, закачавшись на своих ногах, закричал:

— Братцы, где-то здесь моя коза! Это ее голос сверху раздается.

Тут все в одно мгновение посмотрели наверх. И все вдруг увидали, что коза стоит около трубы на крыше. И хотя дом был низенький, но все-таки было странно, что коза стоит на крыше.

Стрелочник закричал:

— Братцы! Вон моя коза. Да кто же это ее, братцы, загнал на такую вышину?

Дядя Володя говорит:

— Действительно, это коза, а не поросенок. Черт меня дернул сюда приехать. Я тут последние мозги теряю.

Стрелочник говорит:

— Братцы, может быть, это мне все снится, что моя коза на крыше стоит?

Жена стрелочника говорит:

— Поди проспись, если тебе это снится. А наша коза действительно стоит на крыше и на тебя, дурака, сверху вниз смотрит.

Дядя Володя говорит стрелочнику:

— Может быть, ты вчера, поменяв козу, от радости выпил и заместо сарая подкинул ее на крышу и теперь сам удивляешься, что она там. Иначе нельзя понять, почему твоя коза на крыше очутилась.

Стрелочник говорит:

— Знаете, я скорее вас на крышу подкину, чем

буду свою породистую козу уродовать. А там за домом у меня привезены доски для строительства. И я их прислонил к дому, чтоб они на земле не валялись. Но доски лежат довольно круто. И это удивительно, если коза по ним на крышу зашла.

Вдруг из толпы выходит вперед человек. Он говорит:

— Я доктор медицины. Я, — говорит, — могу это подтвердить. Многие козы живут и пасутся на горах и ходят по самым крутым и отвесным скалам. Есть персидские козероги, и есть швейцарские породистые козы, которые не только бегают по крутым скалам, но и прыгают до трех метров в длину. И, может быть, ваша коза имеет среди своих родителей такую породу. Тогда ничуть не удивляйтесь, что она забралась по доскам на эту крышу. Тем более на крыше у этого хозяина растет не только трава, но даже мелкие кустики и бузина.

Стрелочник Фролов с гордостью говорит:

— Когда я менял свою муку на эту козу, мне так и сказали: это породистая коза. Но я им не поверил. А теперь верю, и я так счастлив, что свои чувства я даже и передать вам не могу. Я гляжу на свою, стоящую на крыше, горную козу, и у меня от радости слезы капают.

Дядя Володя говорит:

— Теперь мне эта история совершенно ясна. Вор сломал замок, чтобы украсть какую-нибудь ценную вещь. Но, найдя в сарае только козу, плюнул и ушел красть в другое место. И вот его следы… Впрочем, нет, это мой след. А его, наверно, вот эти… Минька, вставши поутру, зашел в раскрытый сарай и покормил козу капустой. Вот и Минькины следы. Коза, желая прогуляться, вышла из сарая и, обойдя двор, увидела на крыше зелень. И, будучи горной козой, без труда забралась на крышу по этим доскам. Вот и ее маленькие, как точки, следы… Хозяин, проснувшись, увидел раскрытый сарай и сломанный замок. Прибежал к нам и сообщил о краже. И вот его следы… Теперь каждому ясно, что тут произошло… Доставайте вашу козу с крыши, и мы со спокойной совестью поедем в Ленинград раскрывать еще более сложные кражи. Наша задача выполнена тут с превышением.

И, сказавши так, он снял свою кепочку, чтоб со всеми попрощаться. И коза со своей крыши снова произнесла:

— Бя-а-а.

Вдруг стрелочник закричал:

— Братцы следователи! Моя породистая коза

забралась на крышу. Но хотел бы я знать, как я ее теперь оттуда достану. Тем более крыша довольно крутая, и если я полезу наверх, то или коза у меня упадет, или я сам к черту вниз свалюсь... Товарищи следователи, я вам дам хорошую премию: стакан молока и два фунта хлеба, если вы мне доставите козу без повреждения.

Вдруг один из толпы выходит вперед и говорит:

— Хотя я инвалид и хромаю, но за эту премию я могу вашу козу вниз доставить. Только мне нужна веревка, чтобы я мог привязать себя к трубе, поскольку я из-за вашей дурацкой козы не очень-то интересуюсь вниз падать.

Тут ему дали веревку, и он, приставив лестницу к крыше, полез под аплодисменты всех собравшихся.

Он привязал веревку к трубе и другим концом обвязал себя. И в таком виде стал тянуться к козе, которая доверчиво поджидала, что будет. Но когда он слишком потянулся, то старенькая труба покачнулась и рухнула.

Нет, привязанный не упал, он успел удержаться, но рассыпавшиеся кирпичи рухнули во двор, и один из них слегка зашиб дядю Володю, который тут же без лишних слов и восклицаний грохнулся

в обморок.

Полезший на крышу успел схватить козу. И он вместе с ней, как по горке, съехал по доскам вниз, к радости всех собравшихся.

Хозяин ему сказал:

— Что ты снял козу — это хорошо, но то, что ты мне, хромая обезьяна, трубу испортил — вот за это я тебе премии не дам.

Инвалид говорит:

— Тогда я твою козу обратно сейчас наверх закину.

Стрелочник говорит:

— Ну, ладно, дам. Только не трогай мою козу грязными руками.

И тут он нежно поцеловал свою козу и торжественно увел в сарай.

Ушибленный дядя Володя хотел уехать, но стрелочник не отпустил его. Он сказал:

— В благодарность за вашу четкую работу я хочу вас, товарищи агенты, угостить козьим молоком и свежим хлебом.

Мы сели на лавочку и стали ждать угощенья.

Дядя Володя подозвал к себе Миньку, сказал ему строго:

— Что же ты, дурной мальчишка, запутал органы следствия? Зачем же ты сказал, что у

животного было три ноги?

Минька, потупившись, говорит:

— А я только до трех считать умею.

Тут все собравшиеся весело засмеялись и не хотели уходить, хотя стрелочник открыл ворота и кричал, чтоб все посторонние моментально ушли, а то, чего доброго, коза еще раз пропадет.

Потом стрелочник, выгнав посторонних, взял горшок и побежал в сарай подоить козу.

Вдруг он оттуда возвращается бледный и говорит:

— Знаете, у козы нету молока. Ее кто-то выдоил. Вот так номер!

Дядя Володя говорит:

— Я так и думал. Картина преступления мне совершенно ясна. Вор, не найдя в сарае ничего ценного, подоил козу и, подкрепив этим свои силы, ушел.

Вдруг приходит жена стрелочника с горшком в руках. Она говорит:

— Нет, это я козу подоила, когда муж выгонял со двора людей.

Тут все рассмеялись и начали кушать хлеб и пить молоко.

Потом мы попрощались с любезным хозяином и пошли к поезду.

Но только мы вышли из калитки, как раздался крик хозяина. Он нам кричал:

— В сарае у меня были рваные валенки, и теперь их нету.

Дядя Володя ему ответил:

— Картина кражи мне ясна. Вор не хотел путаться с козой, а вместо этого украл, что было в сарае.

После этого мы еще раз попрощались и уехали.

А через полгода, когда наступила зима, это дело окончательно выяснилось.

Проходя в Лигове по улице, стрелочник увидел на одном гражданине свои валенки, которые он узнал по зеленому клейму.

Он задержал этого гражданина. И тот в милиции сознался, что это он осенью сломал замок, надеясь украсть из сарая мешок муки, о котором он слышал от одного гражданина. Но он не знал, что мешок муки стрелочник уже обменял на козу. Через это и произошла неувязка. И вор, не найдя муки, схватил валенки и с ними удрал.

Вора на полгода посадили в тюрьму. И дядя Володя, узнав об этом, сказал:

— Картина кражи теперь окончательно выясняется. Вор хотел украсть муку, но украл валенки. И теперь за это он попал в тюрьму.

Пока вор сидел в тюрьме, породистая коза принесла своему хозяину двух чудных козлят. И стрелочник Фролов был очень этим доволен.

Между прочим, эта коза очень долго у него жила и всех удивляла своими прыжками и тем, что могла ходить по самым отвесным доскам. Но на крышу она почему-то больше никогда не лазила. Наверно, у нее от этой крыши остались все-таки неважные воспоминания.

А Минька теперь вырос. Он сейчас студент Горного института — Михаил Степанович Фролов.

Между прочим, случайно узнав, что я пишу рассказ об этом происшествии, он недавно пришел ко мне и просил всем читателям кланяться. И велел сказать, что он теперь не только до трех считать умеет, но до триллиона и даже больше.

Пламенный привет читателям от меня, от Миньки и от дяди Володи.

1937

Сердца трех

Позвольте рассказать о нижеследующем забавном факте.

Один ленинградский инженер очень любил свою жену. То есть, вообще говоря, он относился к ней довольно равнодушно, но, когда она его бросила, он почувствовал к ней пылкую любовь. Это иной раз бывает у мужчин.

Она же не очень его любила. И, находясь в этом году на одном из южных курортов Черноморского побережья, устроила там весьма легкомысленный роман с одним художником.

Муж, случайно узнав об этом, пришел в негодование. И когда она вернулась домой, он, вместо того чтобы расстаться с ней или примириться, стал терзать ее сценами ревности и изо дня в день оскорблял ее грубыми и колкими замечаниями о курортных знакомствах и так далее.

Она нигде не служила, тем не менее она решила от него уйти.

И в один прекрасный день, когда муж ушел на работу, она, не желая объяснений и драм, взяла чемодан со своим гардеробом и ушла к своей подруге, чтобы у нее временно пожить до прии-

кания службы и комнаты.

И в тот же день она повидалась со своим художником и рассказала ему, что с ней.

Но мастер кисти и резца, узнав, что она ушла от мужа, встретил ее крайне холодно, если не сказать больше. И даже имел нахальство заявить, что на юге бывают одни чувства, а на севере другие и что на курорте в пять раз все бывает интересней, чем при нормальной обстановке.

Они не поссорились, но попрощались в высшей степени холодно.

Между тем муж, узнав, что она ушла из дому с чемоданом, пришел в огорчение. Только теперь он понял, как пламенно ее любит.

Он обегал всех ее родных и заходил во все дома, где она, по его мнению, могла находиться, но нигде ее не нашел.

Его бурное отчаяние сменилось меланхолией, и он даже хотел повеситься, о чем и заявил в частной беседе ответственному съемщику по своей квартире.

Председатель жакта, озабоченный судьбой этого квартиранта, поспешил навестить его, чтобы предостеречь от пагубного шага.

Он так сказал ему:

— В соревновании на лучшее, образцовое жили-

ще наш дом выходит на первое место в районе. И нам было бы крайне досадно, если бы вы со своей стороны что-нибудь сейчас допустили. И если у вас есть хоть какая-нибудь общественная жилка, то вы уж как-нибудь обойдитесь без этого.

Видя, что гражданский призыв ни с какой стороны не тронул инженера, председатель так ему сказал:

— Вы живете, замкнувшись в своем душном мире, и через это ваши страдания очень велики. Вас перевоспитывать — так это надо запастись терпением. Если хотите, я в дальнейшем займусь с вами. Но пока я вам дам хороший совет: напечатайте объявление в газете: дескать (как в таких случаях пишется), люблю и помню, вернись, я твой, ты моя и так далее. Она это прочтет и непременно явится, поскольку сердце женщины не может устоять против печати.

Этот совет нашел живейший отклик в измученной душе инженера, и он действительно среди отрезов драпа и велосипедов поместил свое объявление: «Маруся, вернись, я все прощу».

К этой классической фразе он еще добавил несколько вольных строк о своих страданиях, но эти строчки вымарали ему в конторе, поскольку уж очень, знаете ли, получалось как-то сугубо

жалостливо и вносило дисгармонию в общий стиль объявлений.

За это объявление инженер заплатил тридцать пять рублей. Но когда он заплатил деньги, он обратил внимание на дату и пришел в ужас, узнав, что его объявление появится только через пятнадцать дней.

Он стал горячиться и объяснять, что он не велосипед продает и что он не может так долго ждать. И они из уважения к его горю сбавили ему четыре дня, назначив объявление на первое августа.

Между тем на другой день после сдачи объявления его жена явилась в жакт, чтобы выписаться. И там он имел счастье с ней увидеться и объясниться.

Он так ей сказал в присутствии домоуправления:

— Семь лет я крепился и ни за что не хотел прописывать вашу преподобную мамашу в нашей проходной комнате, но, если теперь вы вернетесь, я ее, пожалуй, так и быть — пропишу.

Она дала согласие вернуться, но хотела, чтобы он прописал также ее брата. Но он уперся на своем и согласился принять на свою площадь только ее мамашу, которая буквально через несколько часов туда и переехала.

Два или три дня у них шло все очень хорошо. Но потом жена имела неосторожность встретиться со своим портретистом.

Тот, узнав, что она вернулась к мужу, проявил к ней исключительную нежность и отзывчивость. И сказал ей, что его чувства снова вспыхнули, как на юге, и что он теперь опять будет мучиться и страдать, что она все время находится с мужем, а не с ним.

Весь вечер они провели вместе и были очень счастливы и довольны.

Муж, беспокоясь, что ее так долго нет, вышел к воротам поторопить события. И тут, у ворот, он впервые увидел живописца, который под руку вел его жену.

Тут снова у них начались семейные драмы, еще более тяжелые и шумные, чем раньше, поскольку ее мама, даром что ей было шестьдесят пять лет, принимала теперь в них самое деятельное участие.

Тогда молодая женщина снова ушла от мужа и, находясь под впечатлением пылких слов художника, явилась к нему, чтобы у него, если он хочет, остаться.

Но портретист не проявил к этому горячего желания, сказав, что он человек непостоянный,

что сегодня ему кажется одно, завтра — другое и что одно дело — любовь, а другое дело — брак и что он хотел бы не менее полугода обдумать этот шаг, прежде чем на что-нибудь определенное решиться.

Тогда она поссорилась с художником и осталась жить у подруги, которая вскоре и устроила ее на службу в психиатрической лечебнице.

Между тем ее муж, погоревав несколько дней, неожиданно утешился, случайно встретив подругу своего детства.

У них и раньше что-то намечалось, но теперь, находясь в одиночестве, он почувствовал к ней большую склонность и предложил ей ПОСЕЛИТЬСЯ у него.

И она была этому рада, поскольку она только недавно прибыла из Ростова и еще, как говорится, тут не осмотрелась в смысле помещения.

В общем, ровно через одиннадцать дней вышло злосчастное объявление.

Сам муж, позабыв о нем, не принял во внимание этот день. Но его жена, томясь у подруги, как раз наткнулась на этот призыв и была очень поражена и обрадована.

«Все-таки, — подумала она, — он меня исключительно любит. В каждой его строчке я вижу

его невыразимое страдание. И я вернусь к нему, поскольку художник большой нахал и я сама виновата, что так легкомысленно отнеслась к курортному знакомству».

Не будем нервировать читателей дальнейшим описанием. Скажем только, что появление жены с газетой в руках было равносильно разорвавшейся бомбе.

Муж, лепеча и перебегая от одной женщины к другой, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных объяснений.

Жена с презрением сказала, что, если бы не это объявление, она и не переступила бы порога этого мещанского жилища. Подруга из Ростова, заплакав, сказала, что она вовсе не желает склеивать его разбитое сердце своим присутствием и что если он дал такое исключительно сильное объявление с публичным описанием своих чувств, то он, во всяком случае, должен был бы подождать какого-нибудь результата.

В общем, обе женщины, дружески обнявшись, ушли от инженера, с тем чтобы к нему не возвращаться.

Председатель жакта, узнав от инженера о новой тревоге в доме, так ему сказал:

— Всем хорош наш дом. И вышел на первое

место. И ремонт своевременно произведен. И среди жильцов полное единодушие по всем основным вопросам. И только вы вносите чепуху и бестолочь в мирное течение нашей жизни. Идите домой и поступайте теперь как хотите. Вас перевоспитывать — так это надо сначала с ума сойти.

Оставшись в квартире вместе с ее мамашей, инженер впал в бурное отчаяние, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вечером не вернулась к нему его подруга из Ростова. Тем самым она показала, что ее сердце не столь ожесточилось, как у жены.

Правда, на другой день к нему хотела вернуться также и жена, но, узнав от своей мамаши, что землячка из Ростова опередила ее, осталась у подруги.

Она вскоре втянулась в работу в своей психиатрической лечебнице и недавно вышла замуж за тамошнего психиатра. И сейчас она очень довольна и счастлива.

Художник, узнав о ее счастье, горячо поздравлял ее с новой жизнью и, нежно вздыхая, попросил разрешения почаще у нее бывать.

В общем, сердца трех после столь сильных передряг вполне утихомирились.

Четвертое же сердце — художника, — надо

полагать, вовсе не участвовало во всей нашей правдивой истории о печальных последствиях курортных романов.

Что касается объявлений, то медлительность этого дела то есть никак не отвечает требованиям жизни. Тут надо по крайней мере в шесть раз скорее.

Вынужденная посадка

Почему-то некоторые люди не умеют отдыхать.

Одни весь свой отпуск проводят в расстройстве чувств: как бы, например, нянька в их отсутствие не грохнула ребенка с рук.

Другие, приехав на курорт, ходят две недели как очумелые: не могут привыкнуть к чуждой природе или там к общежитию.

Третьи вообще не умеют без работы находиться. А как без дела остаются, так прямо теряют почву под ногами: худеют, кашляют и впадают в пессимизм.

Четвертые пугаются, как бы их землетрясение не закачало.

Пятые полны предчувствия, что во время отпуска их кто-нибудь «подсидит» на службе.

Ну, этих последних еще можно понять, поскольку это действительно бывает. Другой человек годами сидит на месте, и с ним ничего не случается. А уехал в отпуск — и что-нибудь такое непременно будет.

Через это многие не любят трогаться с места и предпочитают отдыхать безвыездно.

Но не только эти категории людей, а если вообще на всех поглядеть, то можно увидеть, что большинство не умеет отдыхать.

Недавно нам случилось быть на Черноморском побережье.

И мы из Севастополя выехали в Ялту на автобусе.

Дорога там, как известно, исключительно красивая. Некоторые новички даже ахают, когда в первый раз едут. И действительно, очень кругом художественно. Внизу Черное море плещется. Слева чертовские горы. Южное солнце с синего неба припекает. Природа отчасти дикая, но вместе с тем такая, которая заставляет желать все время тут находиться.

И вот, значит, едем мы по этой художественной дороге в автобусе. И вдруг — хлоп! — шина лопнула.

Тут начались ахи и охи. Пассажиры вышли из машины, чертыхаются, скулят, ругают шофера, зачем он поехал на такой паршивой шине.

Особенно сильно одна мадам расстраивалась. И даже у нее с шофером чуть целая баталия не произошла.

Она визгливо говорит шоферу:

— Я, — говорит, — на вас жалобу напишу. Мы

едем отдыхать. И нам каждый час дорог. А вы нас заставляете бесцельно ожидать. Вы, — говорит, — наверно, пропиваете новые шины, а нас на старых возите. Еще, — говорит, — спасибо, что с такой кручи нас не опрокинули со своей дрянной шиной. Вот был бы у меня хорошенький отпуск.

Шофер ей говорит:

— Знаете что, отвяжитесь! А то я плохо произведу ремонт, и мы снова будем иметь аварию. А если хотите знать, шина у меня была довольно хорошая, когда мы поехали. Но вас в машину столько понасело с мешками и с тючками, что даже совершенно новую шину может к черту разорвать... Отойдите, вы мне свет затемняете.

Мадам совершенно зашлась от этих слов шофера. И даже она стала заикаться. Но тут другие пассажиры морально поддержали ее и стали шоферу делать выговор.

Вдруг один довольно полный пассажир говорит:

— Слушайте, вот я гляжу на всех вас и как стопроцентный советский гражданин душевно за всех страдаю. Но особенно заставляет меня удивляться эта визгливая мадам.

Мадам было хотела с ним схлестнуться, но он ей так сказал:

— Слушайте, мадам, вот вы едете на отдых. И я так понимаю, что хотите подновить свои нервы и прибавить пару килограммов веса. Так вот и начинайте отдыхать… Вот произошла, так сказать, вынужденная посадка. Вот вы и пользуйтесь моментом. Кругом такая дивная красота. Природа. Вон, глядите, никак лиса по горе пробежала. Допустим даже, что это не лиса, а собака, — все равно интересно. Пройдитесь для моциона к этой горе. Уединитесь временно от общества, поскольку у вас, видать, центральная нервная система не в порядке и вы чуть на людей не бросаетесь. Все это вам будет исключительно полезно. А заместо этого что мы видим — вы, извините, орете, портите свою драгоценную кровь и через это, наверно, уже потеряли килограмм со своего мизерного весу.

Шофер говорит:

— Она килограмм, да я через нее килограмма три потерял. Вот и сосчитайте.

Полный пассажир говорит:

— Или я гляжу на других пассажиров. Все ахают, недовольны: зачем остановка? Торопятся, как на пожар. А среди них некоторые, видать, чахоточные, другие нервно хворают, третьи, может быть, перенесли операцию. И им всем по-

лезно полежать под целебными лучами солнца, полезно походить, посбирать цветки или просто посидеть на камешке и полюбоваться дикой природой... Или поглядите на меня. Разве я бранюсь с шофером или недоволен, что шина треснула? Напротив, я еще более повеселел. И очень рад, что могу часок-другой побеседовать с природой. Вот как я понимаю отдых. И вот как надо всем поступать.

Мадам горела, как на огне: до того ей, видать, хотелось схлестнуться с этим полным добродушным пассажиром. Но, видя, что он говорит разумные вещи, отошла в сторонку и стала собирать одуванчики, чтобы по приезде поставить их на ночной столик.

Другие пассажиры тоже отошли от шофера. Некоторые пошли к горе. А некоторые сели у дороги и стали любоваться панорамой. А одна барышня стала строчить письмо.

И тут мир и тишина воцарились вокруг.

Я подошел к этому полному пассажиру и говорю ему:

— Позвольте пожать вашу руку. Из всех нас вы отличаетесь наибольшей мудростью. Вы, — говорю, — философски подходите к вопросам отдыха. И я, — говорю, — рад с вами поближе

познакомиться.

Тут мы с ним приятно побеседовали, и я, желая с ним еще более подружиться, спросил, куда он едет отдыхать.

Он говорит:

— Да нет, я не из отдыхающих. А я тут работаю на побережье. И в такую жару еду, представьте себе, на какую-то там комиссию, переучет и так далее, черт бы их побрал!

Я говорю:

— То-то, — говорю, — вы и не торопитесь.

Тут он немножко засмеялся и говорит:

— Нет, я тороплюсь, но поскольку произошла вынужденная посадка, то отчего бы мне не посидеть вблизи с природой? А они там меня подождут. Раз такое дело — авария.

Я говорю:

— То-то вы и агитируете за отдых и разводите философию на мелком месте.

Он говорит:

— Нет, агитирую я чистосердечно, поскольку я и сам этому, откровенно скажу, обрадовался. А то сейчас приеду, как начнут смолить цифры, суммы, расходы — душа вянет. А тут такая божественная красота, такая южная симфония.

В этот момент шофер закончил свой ремонт

и дал гудок. Пассажиры бросились к машине, и вскоре мы поехали в Ялту, в эту жемчужину Крыма.

Электрификация

Похудел я, братцы мои, за эту неделю, осунулся, аппетит к пище потерял… Борщ я, например, ужасно обожаю — только давай, а нынче я и нос от него ворочу, не ем. Чудеса!

А я и причину знаю моей болезни. Очень уж мне, братцы мои, телеграфистов жалко. Обижают их. Все больше насчет освещения обижают.

Вот у меня имеется целая куча писем от телеграфистов. Плачутся телеграфисты на многое. И зачем, дескать, электричества нету, и зачем лампы неисправны, и почему лампы отпущены мелкого калибра. Один даже телеграфист с М. Казанской ж. д. по поводу неважного освещения воскликнул:

«Где же сознание человечества!»

А в самом деле, братцы, какого дьявола? Сказано — электрификация, так и пожалуйста. Уговор дороже денег. Зачем же ваньку валять?

Зачем же телеграфы освещать какими-то трехлинейными керосиновыми лампами?

Ну да лампа, куда ни шло — светит все-таки. А вот угадайте, братишки, чего горит на станции Семенкино в телеграфе? Ну? Ей-богу, на новые

свои штаны спорюсь — нипочем не угадаете.

А горит на станции Семенкино малюсенькая фитюлька, и то без стекла.

Например, на станции Ильмень — там шикарно. Там лампа в семь свечей. Это здорово! Это, пожалуй что, и Германия позавидует… Везет ильменцам! Счастье им!

То-то, наверное, телеграфисты со станции Березина обижаются, завидуют тоже ильменцам. На станции Березина — беда со светом. Там вообще — беда. Нету у меня только красноречия объяснить, как работают там телеграфисты.

Пускай уж сам телеграфист объясняет. Перо у него бойкое.

Вот чего он пишет:

«Телеграф помещается в уголке прихожей дежурного по станции. Телеграфист сидит там с удобствами загнанного зверька в клетку. Тесно, ночью коптит лампа, воздух сперт, даже повернуться негде.

А здорово, братцы, воздух сперт, ежели и повернуться негде! Этакая подлая лампа!»

Эх, братцы мои, жалко мне телеграфистов! А в особенности жалко мне телеграфистов со станции Голутвин. Попали голутвинцы в непромокаемое положение.

Казалось бы, что все там хорошо. Есть даже керосинокалильный фонарь. Но послушайте теперь, что пишет тамошний телеграфист, у него перо тоже бойкое:

«Фонарь сияет дивным, ослепительным светом! Но телеграфные аппараты установлены около окон. Работающие телеграфисты обращены лицом в том направлении. Спрашивается: куда же этот свет так ярко разливает лучи? Да телеграфистам в спину!»

Не поперло голутвинцам. Этакий свет пропадает даром. А что ж у них перед глазами?

«А перед глазами, — восклицает тот же телеграфист, — истый призрака сумрак. Это — охрана труда и их зрения!»

Здорово завинчено! Пропали голутвинцы! Не знаю даже, чего им посоветовать? Стол им, братцы, что ли, повернуть к свету? А? Как вы думаете? А то ведь глаза испортят. Чего же это, действительно, «охрана труда и их зрения» смотрит?

Ну да шутки шутками, а нельзя ли и в самом деле убрать поскорей керосиновую лампу, устранить сей злощастный феномен, как картинно выразился телеграфист, жалуясь нам на неисправную лампу.

Вот, братцы мои, написал я эту статейку — мне

и легче. Все-таки, — думаю, — прочтет ее какой-нибудь инженер-электрик.

— Ну, — скажет, — пора теперь за телеграфистов взяться. Пора, — скажет, — им электрический свет дать.

И даст. Вот будет здорово. Только чур, братцы, лампочки не вывинчивать!

Об овощах и прочем

Я, братцы, пять лет думал: с чего бы это у нас «задержка в деле транспорта» происходит? И не знал. Ну а теперь я знаю. Мне, спасибо, один стрелочник написал:

«Задержка, — говорит, — в деле транспорта происходит потому, что без пропусков ходить по путям нельзя, а машинисты, стрелочники и другие агенты пропусков не имеют. И нередко человека, идущего по служебному делу, волокут в ГПУ для выяснения личности».

Вот оно в чем дело! А чудаки... Пропуска нужно выдать — только и делов. Но, оказывается, пропуска нельзя еще выдать. Оказывается, что в административном отделе охраны М. Каз. ж. д. еще и бланки не готовы...

Это плохо. Придется мне самому за это дело взяться. Не хотелось мне ввязываться, но дело срочное. Ведь какая штука может произойти. Лопнет, скажем, проволока у семафора. Ну, побежит, конечно, мастер чинить.

Побежит он по полотну, вдруг — стоп! Охрана...

— Куда бежишь? — спросит охрана. — Предъ-

яви пропуск.

— Братцы, — скажет мастер, — нету у меня пропуска… Бланки еще не готовы…

— Ага, — скажет охрана, — хватай его, братцы! Тащи в ГПУ выяснять личность.

— Братцы, — заплачет мастер, — да какая же у меня личность, ежели я мастер с этой станции… Рази вы меня не узнаете?

— Узнаем, — скажет охрана, — как же не узнать? На одной линии работаем. Идем, что ли… Дисциплина требует.

И поволокут мастера в ГПУ.

Тут-то и начнется «задержка в деле транспорта» — остановится поезд перед закрытым семафором.

Так вот, придется мне самому за это дело взяться. Напишу-ка я письмо. Задушевное письмо начальникам. Дескать, так и так, пожалуйста, и, между прочим, как ваше здоровье… Все-таки ласковое слово сильней действует.

Только вот каким начальникам писать, я не знаю. Я плохо разбираюсь в железнодорожных тонкостях. Ну да начальники сами разберут — люди они образованные.

Веселые вечера

Есть на станции Набережная клуб. Не танцулька какая-нибудь, а настоящий политклуб. Там даже иной раз серьезные пьесы ставят. Так, например, 15 апреля шла пьеса писателя Островского. Вот как! Это вам не танцулька! Это уж настоящая культработа.

А что одна актриса в истерике забилась, так, может, у ней нервы слабые. То же и с режиссером. Бороду-то ему не настоящую оторвали. Ему бутафорскую бороденку оторвали. Дерьма тоже! Стоит ли из-за паршивой бороденки историю поднимать? Другой бы режиссер еще спасибо сказал, что оторвали. А то возись с ней, отклеивай.

А с пустяков все и началось. «Дрезина» не была на этом вечере — не пригласили, но корреспондент прислал нам полное и подробное описание того вечера. Оказывается, что… по обыкновению, в политклуб приходят похулиганить некоторые, но зачастую пьяные граждане, могущие устраивать дебош.

Так вот, эти граждане, «могущие устраивать дебош», явились на вечер и устроили скандал… разразившийся до вышибания окон клуба и по-

пыткой одного из нэпачей порвать театральную занавес.

Мало того — произошла драка. Один из «могущих устраивать дебош», изловчившийся, ударил по носу председателя культкружка товарища Маслова, отчего пошла кровь. Произошла атака артистов…

Во время контратаки режиссеру местной группы, Пономареву, оторвали бороду, которая оказалась, как мы сообщали, не настоящей.

За кулисами одна из артисток разразилась истерикой…

Да-с! Это вам не танцулька.

«Дрезина» слезно просит товарища заведывающего клубом (если ему во время контратаки не оторвало голову) сообщить в редакцию, по каким дням устраиваются вечера.

Очень уж нам охота подраться с нэпачами, «могущими устраивать дебош».

Легкая наука

Крестьяне Сев.-Зап. области кооперированы всего лишь на 10 %. Торговцы вербуют себе покупателей всеми мерами, в частности — широким кредитованием.

Владелец лавки «Труд-Прут» стоял за прилавком перед покупателем и говорил ему, сияя:

— К нам, гражданин хороший, ходит покупатель. Мы покупателя в руках держим. В казенной лавке, может, и дешевле и все такое прочее, а идут к нам. Отчего? А очень даже просто отчего, гражданин хороший.

Хозяин любовно похлопал себя по лбу и продолжал:

— Котелок варит… Башка работает… Скажем, теперь кредитование. Государственный магазин в долг отпущает, а мы еще ширше отпущаем. Государственный магазин велит вежливо относиться к покупателю, а мы покупателю ручку жмем. Те будут ручку жать, а мы чаем их будем потчевать. Те будут чаем, а мы кофеем. Те кофеем, а мы… мы им, чертям, сапожки будем чистить.

Покупатель усмехнулся.

— Так-то так, — сказал он. — Да только это пока.

Государственный магазин тоже не без башки. Научился. Наука ваша нетрудная.

— Наука легкая, — согласился хозяин, — не спорю. Легкая наука. Да только уметь надо… Скажем, крестьянин пришел — мужичок-серячок… Тут психология требуется. Мужик не любит — дескать, вот вам товар, а деньги сюда кладите. Мужичок любит, чтоб ему товар похвалили, чтоб ему пыль в глаза пустили. А кроме того, просто любит он поговорить на семейные темы — мы и потрафляем.

В лавку «Труд-Прут» вошел крестьянин. Он робко оглянулся по углам и снял шапку.

— Вот видали? — тихо сказал хозяин своему собеседнику. — Вот крестьянин пришел… Глядите, чего я с ним сделаю… Тс… Почтенье землячку…

— Это чего, — спросил крестьянин, — лавка-то казенная? Мне казенную надо…

— Лавка «Труд-Прут», — строго сказал хозяин. — Не казенная, но вроде как на паях… Для нас все равно как казенная… Садитесь на тубаретку… Покупать-то для себя пришли?

Мужик осторожно посмотрел на хозяина.

— Для себя. Ситчику мне, любезный коммерсант…

— Ситчику? — радостно воскликнул хозя-

ин. — Есть ситчик. Светленький… В полоску, в клеточку, в амбарчик, в горошек… Сейчас…

Хозяин ринулся к полкам и сбросил на прилавок несколько кусков плохого, редкого ситцу.

— Мне, любезный коммерсант, в подковку надо, — робко возразил мужик. — Чтоб подковка была раскидана по полю… А это будто в горошек…

— В горошек, — обиделся хозяин. — Горошек завсегда подковку заменяет. Подковка завсегда после стирки образуется.

Мужик потеребил ситец в руках.

— Редкой, — сказал он. — Редким мы не интересуемся.

— Этот ситец редкий?! — вскричал купец. — Да это плотненький ситец… Это не ситец — сукно, чудо столетия… Равносильный ситец… Рафинад… Сам бы покупал такой ситец, да деньги надо — жена в закладе сидит…

Мужик недоверчиво усмехнулся.

— Ей-богу! — сказал хозяин, воодушевляясь. — Мое дело сторона. Я за похвальбу не получаю. Но только это чудный, типичный ситчик… И цена недорогая… Вы чего, семейный?

— Семейный…

— Семейный ситчик, — сказал хозяин. — Внуки

спасибо скажут. Это, скажут, ситчик, действительно… Жена-то здорова ли?

— Здорова. Чего ей делается…

— Здоровая жена завсегда такой ситчик похвалит. Потому она одобрит… Хлеб-то у вас как? Не побило ли градом, оборони создатель…

Крестьянин с удовольствием присел на лавку и вздохнул:

— Малехонько побило… Малость… Стороной прошло. А так-то ничего, хлеб родится.

— А, хлеб родится, — сказал хозяин, — значит, и ситчик надо светленький брать в горошек. Тебе на две рубахи или на три?

— На рубаху, — сказал мужик. — Да только я уж и не знаю… Не интересуюсь таким ситцам.

— Надо интересоваться, как же можно, — пристыдил хозяин. — А град-то крупный был?

— Град-то крупный, в ноготь.

— Скажи на милость — в ноготь… Так как же — на две рубахи?

— На рубаху, — сказал мужик.

Хозяин тигром накинулся на ножницы. Отмерил, прикинул, попестрил ситцем перед глазами мужика и сказал:

— Рубашка будет… Чудо столетия. Антик в горошек… Завсегда к нам заходите. Можем и в долг

отпущать… Сегодня на деньги, завтра в долг… Заходите…

— Зайду, — сказал мужик.

Он потолковал еще о граде с хозяином, рассказал кой-какие подробности и, любуясь на свой ситец, вышел из лавки.

— Видали? — восхищенно сказал хозяин своему собеседнику. — Как по-вашему?

— Что ж, — сказал собеседник. — Наука ваша легкая, это верно. Да только не без обману…

— Зачем не без обману, — обиделся купец. — Мы только потрафляем покупателю. Обману нету… А ежели это обман по-вашему — идите в государственный магазин. Вам чего надо? — строго переспросил хозяин.

— Да мне ничего, — сказал собеседник. — Я так… Меня, видите ли, заведывающим назначили, в кооператив… Вот пришел поучиться… Как торгуете… Наука ваша легкая, но тово-с, неприятная наука…

Хозяин сконфуженно посмотрел на своего конкурента и сказал:

— Кому как-с…

Собеседник купил катушку ниток и, усмехаясь, вышел.

Герои

Торжество в деревне Максимовке началось с раннего утра.

Сначала всем миром ходили по деревне с флагами и пели «Интернационал», потом, собравшись у пожарного сарая, открыли заседание.

Председатель влез на ступеньки сарая и махнул шапкой.

Общество откашлялось, отсморкалось и затихло. Только с тихим треском там и сям бабы жевали семечки.

— Так вот, братцы, — начал председатель, — пущай ответит общество, надо ли зафиксировать вопрос насчет самогону ай нет?

— Безусловно, надо, — сказало общество.

— А ежели так, — сказал председатель, — то выходит такая штука… Пущай вот ответит еще общество, есть ли у Егорки Гусева лошадь ай нет?

— Нету, — сказали в толпе, — нету у него лошади. Корова, да, действительно есть, а лошадь он пропил, сукин кот.

— Так, — сказал председатель, — пропил он лошадь. Заметьте себе… Дальше, скажем, Митюшка Бочков… Спер он сбрую у Козулихи ай нет? Спер.

На какой этот самый предмет или цель спер он сбрую? На самогон… Теперича идем дальше. Лобачев Ванька. Чикнул он ножом Серегу ай нет? Чикнул. Пьяный был… А теперича я спрашиваю общество, отчего это все, беда такая, происходит?

— Да разве мы знаем? — сказали в толпе. — От самогонки, что ли?

— Братцы, — закричал председатель, — конечно, от самогонки! Братцы, враги мы себе ай нет? Не враги! А не враги, так должны мы эту самогонку тово, растово, разэтово? Уничтожить то есть?

Мужики молчали.

Председатель откашлялся и тихим голосом продолжал:

— Вы, братцы, не обижайтесь. Я против общества не иду. Я самогонку не хаю. Есть в ней вкус, не спорю…

— Конечно, есть! — крикнул кто-то. — Она вкус имеет. Она кровь полирует.

— Не спорю, — сказал председатель. — Вкус она имеет. Ежели, для примера, возьмешь горбушечку, сольцей ее присыпешь, а огурчик в это время на полусогнутой держишь, да нальешь ее в это время в стаканчик, да — хлоп-с… А она, бродяга, струей как брызнет по жилам… А тут огурчиком — джик, горбушечку — хрясь… Отдай

все, да мало…

В толпе крякнул кто-то. Два мужика, одергивая штаны, пошли от сарая.

— Стой! — закричал председатель. — Не пущу! Зафиксировать надо… Пущай общество постановит, надо варить ее ай нет?

— Что мир скажет, — уклончиво ответило общество.

— Можно, конечно, не варить, — добавил кто-то. — Можно у соседей брать… Ежели избыток у них.

Председатель вытер мокрый лоб рукавом и хрипло сказал:

— И у соседей не брать! И не варить! И аппаратов не чинить. Потому — враз надо кончать. Потому — одним пальцем блохи не поймаешь… Ась? Братцы, да что ж это? Враги мы себе ай нет?!

Мужики, кряхтя и сморкаясь и жалобясь на свою судьбу, то начинали хвалить напиток, то признавали за ним самые ужасные качества.

И наконец, после двухчасового спора, постановили: «Самогон не варить, аппаратов не чинить и у соседей добром не пользоваться».

Читатель, если ты будешь в тамошних местах, загляни, милый, чего пьют в этой деревне. Не

водочку ли, часом, глотают?

Крепкая женщина

Нынче все говорят о борьбе с проституцией и жалеют женщин. Вот, дескать, бедные: уволят их по сокращению, а они очертя голову идут на улицу.

И верно: жалко.

Но, конечно, разные бывают женщины. Бывает, такая крепкая попадется — ей и улица не страшна. Знали мы одну такую. По фамилии Беленькая. Уволили ее по сокращению, дали ей за две недели вперед, а она повертела получку в руках и думает:

«Прожру, — думает, — на пирожные. А там видно будет».

Пошла в кондитерскую, скушала, сколько могла, пирожных и домой вернулась.

«Ну, — думает, — а теперь — труба. Либо мне в Фонтанку нырять, либо в Мойку, либо на улицу идти».

Помазала она брови сажей, губы — сургучом, шляпку с пером надела и вышла на улицу.

Постояла на углу. Вдруг мужчина какой-то подходит.

— Что ж, — говорит, — мамзель-дамочка, зря

стоять простужаться. Пойдем на время.

А она развернулась — хлесь его в ухо.

— За кого, — говорит, — принимаешь, скотина? Не видишь?

Гражданин отупел, повернулся, галошу потерял и скрылся за углом. А девица гордо постояла и пошла домой.

Домой пришла.

«Нет, — думает, — это не в моем характере — проституция. Иные, конечно, уволенные по сокращению, бросаются очертя голову на улицу, а я не такая...»

Подумала она, подумала, чего ей делать, и стала мастерить для продажи дамские шляпки.

Этим она теперь и живет. И жизнь роскошная.

А материал для шляпок доставляют ей гости. Денег она с них не берет, а берет материей.

А вы говорите — проституция.

Маломыслящие

Собрание подходило к концу.

Было душно и жарко. Вспотевшие ораторы один за другим выходили на помост и с воодушевлением говорили речи.

Слушатели кричали «ура», били в ладоши и единодушно выносили резолюции.

Собрание было посвящено кооперации.

— Товарищи! — говорил один из ораторов, вытирая пот со лба. — Товарищи!.. Кооперация!.. Наляжем… Все усилия… В деревню… Крестьянам… Сами торговать…

Оратор долго говорил о значении кооперации, потом, утомившись, уступил место другому.

Ораторы чередовались один за другим.

Последний оратор вышел под гром аплодисментов. Он откинул назад свои пышные волосы, простер руку вперед и сказал:

— Кооперация!.. Вы, которые эти…

В эту минуту оратора перебили. Какой-то гражданин встал с места и, слегка заикаясь и робея, сказал, обращаясь к оратору:

— Вот, товарищ… Извиняюсь… Вы, это самое, конечно, говорите тут про ученые предметы…

Кооперация там и другие разные слова… А мы тут некоторые присутствуем маломыслящие… Я, как представитель ихний, прошу покорнейше выяснить нам, что есть такое кооперация…

В зале наступила тишина. Некоторые конфузливо переглядывались друг с другом. Представитель оглянулся назад и продолжал:

— Мы, как сознательные маломыслящие… сидящие два часа тут, просим покорнейше… одним словом, объяснить…

— Правильно! — закричали в толпе. — Пущай скажет… Какого лешего…

Оратор с простертой рукой растерянно оглянулся на председателя, хлебнул воздух ртом и сказал:

— Кооперация — это вообще, товарищи… Торговля… Ну, кооператив… Гуталин, пудра, одним словом… Мыло… Я, товарищи, тут… тово, случайно… извиняюсь… Как бы присоединяюсь к общей массе…

Председатель собрания перебил оратора и простым русским языком стал объяснять загадочное слово.

Представитель маломыслящих в такт кивал головой и бормотал:

— Вот спасибо-то, вот спасибо-то, вот спаси-

бо-то…

Закончив свое объяснение, председатель предложил присутствующим высказаться по вопросу кооперации, однако желающих не было.

Председатель покачал укоризненно головой и закрыл собрание.

Товарищ читатель! Я ничего не придумал. Все, что я рассказал, за исключением некоторых подробностей, — сущая правда. А произошло это в одном из курортов Черноморского побережья. На собрании, устроенном для домов отдыха.

А нуте-ка, дорогой читатель. Нуте-ка здесь, на месте, не отходя от журнала, ответь-ка себе: что такое кооперация…

Ага… Лавочка, говоришь? Кооператив? Торговлишка?

Вот то-то и оно.

Маломыслящие, готовься к экзамену!

Неприятная психология

Чудаки эти нэпманы. То, глядишь, сто рублей на что-нибудь кинут и не поморщатся, то за копейку грызутся и кровь себе портят.

Чудаки эти торговцы. Не сразу ихнюю психологию поймешь.

Я вот сидел раз вечером в кабачке. Кавказский погребок. Сижу, ем бифштекс. А рядом какая-то компания кутит. Вино им подают, закуски, селедочку с луком. Вообще, кутят. А по виду не поймешь, кто такие.

Я у официанта полюбопытствовал:

— Кто, — спрашиваю, — такие?

— А это, — говорит, — вроде как коммерсанты. Червонцев на двадцать хлопнут.

И действительно. Встает вскоре с ихнего столика полный мужчина с бородой и велит счет принести.

Приносят счет — двадцать червонцев. А он, который с бородой, не поморщился и говорит своим:

— Плачу за всех... Потому как мое угощение.

Ну, дамы тут ихние завизжали от восторга. Мужчины тоже добродушно кошельки свои

спрятали. А борода заплатил и пошел к выходу. И даже хоть бы что. Даже про счет не вспоминает.

Я тоже заплатил полтора рубля и вышел. Вышел на улицу. Гляжу, стоит моя борода с дамой своей и с извозчиком препирается.

Извозчик говорит, рубль. А борода дает полтинник. И ругается.

— Да ты, — говорит, — очумел — рубль брать? Обалдел? — говорит. — За такой, — говорит, — конец — рубль! Да, — говорит, — за рубль многие рабочие спины, — говорит, — не разгибают целый день… А ты — рубль! Таксы, — говорит, — на вас, бродяг, нету. Не дам больше полтинника.

А извозчик и так и этак — никак.

— Ну, — говорит, — ладно, подавитесь. Садитесь с дамой за полтинник. Все равно, — говорит, — всю ночь даром стою.

Борода еще слегка покобенился и сел с дамой. И дама тоже что-то насчет извозчика щебечет.

Сели и поехали.

А я стою посреди улицы и головой трясу.

«Ну, — думаю, — бродяги. Ну, — думаю, — прохвосты».

А впрочем, если говорить по совести, положа руку на сердце, то больше полтинника конец этот и не стоит. Я бы, например, больше двугривенно-

го не дал. А все-таки обидно. А отчего обидно, я и сам не знаю.

А впрочем, знаю: неприятна мне ихняя психология.

Спичка

У нас тут, братцы мои, несчастный случай произошел. Из-за него едва собрание не закрыли.

А выступил у нас с докладом один такой докладчик. Или он от союза деревообделочников, или он от спичечного треста. Неизвестно это. На лице у его не написано.

Длинную такую, хорошую речь произнес. Много чего сказал теплого и хорошего. «И производительность, — говорит, — эти три кита нашей жизни, улучшается. И производство, — говорит, — сильно вперед прет. И качество, — говорит, — товара становится замечательным. Сам бы, — говорит, — покупал, да деньги нужны».

Бодрые вещи говорил. Раз двадцать его народ перебивал и хлопал ему. Потому всем же приятно, когда производительность, эти три кита, повышается. Сами понимаете.

А после докладчик стал цифры приводить. Для наглядности сказанного.

Привел две цифры и чтой-то осип в голосе.

Взял стакан воды, глотнул. А после говорит:

— Устал, — говорит, — я чтой-то, братцы. Сейчас, — говорит, — закурю и буду опять про-

должать цифры.

И стал он закуривать. Чиркнул спичку. А спичечная головка, будь она проклята, как зашипит, как жиганет в глаз докладчику.

А докладчик схватился рукой за глаз, завыл в голос и упал на пол. И спичками колотит по полу. От боли, что ли.

После ему глаз промыли и платком завязали.

И снова его на кафедру вывели.

Вышел он на кафедру и говорит:

— Чего, — говорит, — цифры зря приводить и себя подвергать опасности. И так все ясно и понятно. Считаю собрание закрытым.

Ну, народ тут, конечно, похлопал докладчику, и по домам разошлись.

А когда я уходил, то поднял спички, которые докладчика жиганули.

Обыкновенная желтая коробочка. Аэроплан на ней пущен. Солнце с тучками. И еще какие-то неясные предметы. А пониже написано: «Фабрика “Красный Октябрь”, бывш. “Волхов”».

Посмотрел я на коробочку и задумался.

«Как-то, — думаю, — там производительность? Повышается ли она? Или она понижается?»

Но, наверное, она повышается из-за неограниченной сдельщины. Сразу видать.

Самодеятели

Самодеятельность, граждане, слово модное. Бывают такие, например, театры самодеятельные, кружки бывают, клубы…

В столицах это явление заурядное. Обычное явление. А вот в провинции это только что внедряется.

И веришь ли, читатель, слезы умиления на глазах появляются, когда узнаешь про провинциальную самодеятельность.

Скажем, Баку. Городишко не так уж чересчур большой. А тоже, поглядите, самодеятельность развивается.

Газета «Бакинский рабочий» пишет:

«Не так давно в Белогородском клубе им. Шаумяна по инициативе кружка друзей клуба проведен был вечер самодеятельности…»

Далее газета сконфуженно продолжает:

«Большинство членов кружка были пьяны. Между прочим, один из кружковцев до того договорился, что стал рассказывать анекдоты о евреях…»

Ей-богу, слезы на глазах появляются. Кулаки сами собой сжимаются. Так бы вот взял этого самодеятельного еврейского анекдотиста, да в темном углу по мордасам, по мордасам.

Заметку свою газета заканчивает с легкой грустью:

«На вечере за два часа выпито было 10 ведер пива».

Слезы на глазах появляются. В зубах легкий скрип. Кулаки сами собой сжимаются. Так бы вот взял эти 10 ведер, выпил бы, а после пустым ведром по головам этих самодеятелей.

Ах, ей-право, до чего в провинции эта самая, как ее, черт ее побери, ну, самодеятельность, что ли, внедряется!..

А так все остальное ужасно хорошо и благополучно. И дела идут, контора пишет.

Ключи на комоде.

Бедный Тыркин

1

Лицо свободной профессии Яков Абрамович Тыркин две недели ходил в расстроенных чувствах. Бедный Тыркин сильно сомневался: подать ли фининспектору верные сведения о своих доходах или приврать чуточку.

Выходило и так и так плохо.

— Ну, ладно, — говорил себе Тыркин. — Ну, хорошо. Ну, подал верные сведения… Да что мне, помилуйте, спасибо за это скажут? Ручку пожмут? Штаны купят? Ха! Довольно дураками жили. Пора поумнеть…

Однако умнеть Тыркину было жутковато.

«Ну, ладно, — думал Тыркин. — Ну, приврал. Ну, убавил доходы… А вдруг откроют? Вдруг какая-нибудь комиссия или там какой-нибудь черт в ступе обнаружит?.. Ведь это имущество опишут, хвост накрутят, в тюрьму посадят…»

И бедный Тыркин, вытирая холодный пот со лба, мучился в своей нерешительности.

2

Две недели ходил Яков Абрамович Тыркин осоловевший, не зная, чего ему предпринять. Но, наконец, гражданская доблесть одержала верх, и Тыркин решил подать верные сведения.

— Довольно! — говорил Тыркин. — Баста! Все мы заврались. Пора начинать честно жить… А то один приврет, другой соврет, третий надует… Каково это республике?..

И вот двадцать второго числа, в ясный солнечный день, Яков Абрамович Тыркин, восхищенный собой, своей честностью и решимостью, подал декларацию с верным указанием всех доходов со своей свободной профессии.

Больше того: Тыркин имел даже мужество указать о всех своих случайных доходах — выигрыш в преферанс 7 р. 50 к. и найденный двугривенный на передней площадке трамвая. Итого вся сумма тыркинских доходов за полугодие выразилась в точной цифре 1207 р. 70 к.

Склони голову, читатель, перед честным лицом свободной профессии Яковом Абрамовичем Тыркиным.

3

Фининспектор сорок седьмого района Иван Иванович Гусев просматривал поданные декларации.

— Так, так, — говорил фининспектор, покуривая папироску. — Тыркин Яков… Гм… Это какой же Тыркин?.. Лицо свободной профессии… Так, так… Сколько же этот Тыркин указал?.. Гм… Тысячу двести указал… Жулик народ пошел. Тысячу двести указал — значит, приврал наполовину… Знаем мы эти штучки. Гм, Тыркин… Сейчас мы ему припаяем… Считаем ему две тысячи пятьсот. Вернее будет… Так, так…

4

А в это время Яков Абрамович Тыркин, утомленный своей гражданской доблестью, спал и видел сон, будто все фининспекторы города Ленинграда и его окрестностей стоят перед ним и в порядке живой очереди жмут ему руки и восхищаются его доблестью. И будто какой-то представитель откомхоза является с золотыми часами и надевает эти часы на грудь Тыркина. А сам будто Тыркин машет руками и упрашивает

фининспекторов не напирать...

5

Пожалей, дорогой читатель, честного Тыркина.

№ 1028

Прошу запомнить. Это номер рабкора Овсянникова. Того, значит, самого Овсянникова, который на станции Обдулино живет.

Сейчас мы ему, граждане, хвост накрутим, не стесняясь расстоянием.

Дайте только объяснить по порядку.

Случилось это вечером в городе Белебее. Какой это город Белебей — не беремся описать. Не знаем этого города. И, по совести говоря, в первый раз слышим о нем. Единственно, чего знаем, это что там стенная газета выходит. Местком белебеевской кант'юстиции ее выпущает.

А какая это газетка — хороша она или дрянь газетка, — опять-таки не знаем. Не читали.

Вот рабкору Овсянникову эта газетка сильно не нравится. Не одобряет ее рабкор.

Раз как-то проходил он мимо витрины, остановился, прочитал, сплюнул в сторону.

«Эх, — думает, — плохо пишут. Учить чертей надо...»

И карандашиком, знаете ли, почиркал кое-что. И на полях приписал свои туманные заключения. А одну статеечку даже совсем вымарал, к

чертовой бабушке. И приписал сбоку: «Бросьте ерунду писать! — рабкор № 1028 “Гудок”». И, исполнив этот свой светлый гражданский долг, рабкор пошел от витрины, тихонько и весело посвистывая.

Но не свисти, рабкор Овсянников! Обожди свистать-то, милый. Дело есть.

Увидел местком, чего с ихней газетиной сделано, обиделся и распалился. И жалобу подал в белебеевское кантонное отделение. А кантонное отделение — нам: дескать, товарищ Гаврила, будьте любезны.

Вот бумажка за № 828, полученная из города Белебея:

«Препровождая при сем копию акта месткома Белебеевской Кант’юстиции, из коего усматривается, что рабкор «Гудка» № 1028 т. Овсянников позволил себе выходки, свойственные старорежимному Царскому цензору по отношению к издаваемой месткомом стенной газете, а потому Правление убедительно просит тов. Гаврилу “расписать” рабкора Овсянникова так, чтобы в будущем отбить у него аппетит на звание Царского цензора».

Поступок у рабкора вредный — не заступаемся.

Но только зачем же, товарищи, такие строгие слова выносить — царский цензор? Да ведь, может, это он по глупости делал? Просим ему снисхождения.

В другой раз пущай с нас пример берет. Разве мы чиркаем ерунду? Да вот недалеко ходить. Вот эта самая бумажка за № 828, которую нам из Белебея прислали. Да там слово «царский» дважды с большой буквы написано. Явная ерунда. А мы ничего — печатаем без особых заключений. А ведь ерунда такая, что читать от этого противно.

Так-то, товарищи. Кто из нас без греха…

Ну, а касаемо № 1028 — надо бы ему слегка хвост накрутить. Потому действительно уж очень поступок вредный. Не защищаем. Хотя и просим снисхождения.

Скверный анекдот (Марью-то Петровну)

Марью-то Петровну, оказывается, из Союза работников искусств выперли. В Бухаре дело было.

Гаврила навел справочку, отчего и почему выперли бедную Марью Петровну. Оказывается, по нижеследующим причинам:

«Девица Марья Петровна Ш-ская имеет незаконного мужа. В высшей степени недисциплинированный член союза, обливающий грязью всех членов союза, не имея на то права и данных».

Прав-то, может, и нет у Марьи Петровны грязью обливать, а вот данные-то есть. Сами теперь видим. Не спрячешь. Ишь, черти, за что барышню уволили! Сам же председатель рабиса небось дважды женат законным браком, оттого небось и выбран в председатели.

Скверный анекдот (Дело такое)

Дело это такое, граждане, что надо бы его самым крупным шрифтом набрать. Да только жалко нам такие жирные шрифты на такие дела растрачивать.

Да и контора, поди, ругаться будет.

— Что вы, — скажет, — объелись, какие шрифты изводите? Это, — скажет, — вам не реклама.

И действительно — не реклама. А напротив того. Для Пищетреста.

Ну, ладно. Пущай будет мелко. В крайнем случае близорукие граждане могут пенсне на нос надеть.

А дело все случилось в Пищетресте. Давненько. Месяца полтора назад.

Полтора, значит, месяца никто не ругал Пищетрест. И вообще многие граждане небось думали, что все уже заглохло. Но нет. Только что начинается. Держитесь, братцы!

Так вот, кажется, двадцать шестого мая был устроен грандиозный концерт. Концерт в пользу бывших политкаторжан и ссыльных, в Малом оперном театре.

Конечно, все учреждения с охотой брали биле-

ты и раздавали своим служащим и рабочим.

И Пищетрест тоже взял. Рублей, — говорят, — на триста. Ну, взял. Посмотрел, чего другие учреждения с этими билетами делают. Видит — раздают. Ну, и тоже раздал. А может, и не успел всем раздать. Мы только про одного гражданина знаем. А перед самым концертом все и случилось. Близорукие граждане, надевайте очки!

Два начальника, по фамилии, не любим сплетничать, Куклин и Еремичев, испугались. И, испугавшись, подумали:

«Эге, — подумали, — билеты-то мы купили, денежки заплатили, а где ж оправдательные документы?»

Испугались, задрожали и велят поскорее отобрать эти выданные билеты и пришить их к делу.

Так и сделали. Отобрали и пришили.

Ну, и, конечно, на концерте из Пищетреста никого не было. Да и быть не могло. Потому, сами посудите, раз билеты пришиты к отчетности, то не тащить же на концерт бухгалтерские книги и столы?

Вот и все.

А теперь, ежели спросить какого-нибудь сотрудника из Пищетреста, был ли он, например,

на концерте, сотрудник сконфузится и скажет:

— Да нет, знаете, не пришлось.

— А что так?

— Да так, знаете ли, как-то.

И махнет рукой.

И как же ему, читатель, не махать рукой, раз этакий скверный анекдот произошел в Пищетресте?

А так все остальное в Пищетресте хорошо и отлично. Дела идут, контора пишет.

А касаемо этого фактика — он проверен и подтвержден. В чем и расписуемся.

Гибель строителей

Оказывается, граждане, в Слепцовской станице Дворец труда имеется. Прямо что в Москве. Только что климат другой и постройка не та.

Постройка, прямо скажем, на манер хаты. Три оконца, дверка, ручка и труба. Вот вам и весь дворец.

Но раз так называется дворцом, то и пущай называется. Москва от зависти не подохнет.

А жизнь в этом дворце роскошная. Даже специальная уборщица имеется. Мало ли — убрать чего или, например, подмести какую-нибудь нужную бумажку.

И размещены в этом дворце разные союзы. Вообще всякие. Только что строителей нету. Был этот союз, да весь вышел. Ликвидировали его.

А почему его ликвидировали? Потому, товарищи, что он не в состоянии был поддерживать шикарную дворцовую жизнь.

Все, например, союзы плакали, а вносили уборщице свою долю — 3 рубля 61 копейку. А строителям не по карману была такая безумная роскошь и мотовство. Они не вносили. Раз или два внесли — и разорились вчистую.

Тут их и к ногтю.

— Либо, — говорят, — восстанавливайтесь в своих делах и вообще уборщице вносите, либо ликвидируйтесь налево.

Ну, и ликвидировали.

«Потому, — думают, — на кой кляп нам эти строители? И чего вообще они будут без денег строить? Только небо коптят».

Ну, и распустили.

И стоит этот дворец в станице, в Сунженском округе, что на Северном Кавказе. Разные там союзы имеются. А строителей нету. Погибли строители. Не выдержали роскошной жизни. И жалко нам этот союз. Хороший был союз, нужный.

Со временем мог бы он и построить что-нибудь. Например, настоящий дворец заместо хижины. Или, например, крылечко починить, если сломается. Или трубу вычистить.

Зря уели этот союз.

Юбилей

Юбилей, граждане, праздновать лучше всего печатникам. Все-таки, знаете, бумага под рукой, наборщики. Мало ли! Можно, например, пригласительные билеты отпечатать с золотым обрезом. Или, например, салфеточки с портретом — губы вытирать, ежели на юбилее жирное шамать придется.

Тут вот недавно праздновался юбилей одного печатника, т. Лаврикова (заведующий типографией имени т. Соколовой). Так юбилейная комиссия так и сделала. Даже больше. Кроме салфеточек и карточек еще и книженцию сварганила с застольными песенками.

Конечно, мы не хотим обидеть юбиляра. Может, он ни при чем. Может, это юбилейная комиссия расстаралась. Мы в этом не разбирались. Мы только против несправедливости идем.

Как же, помилуйте. Книженция, можно сказать, была отпечатана на лучшей бумаге. Шестнадцать страниц все-таки. Портрет, опять же… А кто видел эту книженцию? Мало кто видел. Гублит даже не видел. Несправедливо. Там славные песенки есть. Может, Гублит наизусть их хочет разучить.

Пущай разучивает. И поет, ежели голос есть.

Вот, например, на цыганский мотив — «Выпьем мы за Мишу…». Там так и сказано:

(Выпьем мы за…)

Споем, друзья, про Мишу,
Мишу дорогого,
И пока не кончим,
Не нальем другого…

Или, например, на мотив «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыплята тоже хочут жить…». Вот-с, извольте, стр. 2-я:

(Цыпленок жареный…)

…Друг Миша Лавриков,
Будь вечно жив, здоров,
Юмор тебя не покидай…
……

(Оживительная пауза)

«Оживительная пауза» — это небось рюмочку пропустить и селедочкой закусить.

После «оживительной паузы» можно опять что-нибудь более серьезное. Например, из жизни самого юбиляра. На мотив «лесом частым»:

(Лесом частым…)

«Красный наш директор» Миша твердо на посту,

Только вечером, изредка, сядет «на углу».

Сохрани нам, провиденье, еще много лет

Друга Мишу, а «Прибою» полный дай расцвет.

Ну, нальемте рюмки…

Ну, даст бог, «провиденье» не подкачает! И «Прибой» расцветет, и «Миша» по-прежнему будет «на углу» садиться.

Там, «на углу», юбиляр

«Алле нейне» кричал

И пивушку выпивал,

Пока сам не закачается.

Дру адэ, адэ друм…

Эту песенку сказано петь на мотив «Собирайтесь, друзья». Однако ее можно петь и под «Цыпленок жареный». Выходит. «Бегемот» пробовал.

Есть в книжке и гражданские мотивы. Например, о «Петропечати»:

(Похоронный марш)

Упомянем сегодня и «Петропечать».

Она жила недолго.

Друг Миша помог ее погребать

И пел при этом «По Волге»…

Есть и гимн печатников:

(Гимн печатников по-немецки, со сладким кофе)

Штост ан мейстер Гутенберг лебе хурра, хох! (2 раза)

Денн эр хат ди вархейт анс лихт гебрахт…

Далее, начиная с одиннадцатой страницы, все песни идут на немецком языке. Туго разбираясь в нем, «Бегемот» не рискует перепечатывать. Нам, знаете, до юбиляра далеко. Зато он бойко говорит по-немецки. Про него так и сказано на стр. 3:

…Каждый вечер в «Штамлокале» «байриш бир» он пил,

С немцами он по-немецки всегда говорил.

Эту песенку велено петь на мотив «Лесом частым». Но как ее ни пой — все скверно полу-

чается.

Одно хорошо. Это то, что юбиляр работает в полиграфическом производстве. А нуте-ка, работал бы он у химиков или, тьфу-тьфу, по артиллерийскому направлению? Ведь юбилейная комиссия в одночасье весь Ленинград ухлопала бы салютами по поводу его юбилея… Все же под рукой — пушки, снаряды. Стреляй — не хочу. Страшно, знаете, подумать.

В этом отношении еще поперло Ленинграду.

А так все остальное — отлично и симпатично. Дела идут, контора пишет, и полиграфическое производство улучшается.

Дорвались

Ух и накрутим же мы сейчас хвост ждановским мужикам!

Дайте, братцы, только отдышаться. Дайте только дух перевести. Очень уж мы, знаете, сердимся на этих ждановцев.

Сейчас объясним все по порядку: что, к чему и почему. Ну держись, ребята!

А есть, знаете, такое село Ждановка. И было в этом селе четыре трактора. Четыре новешеньких коммунальных трактора.

И пущай теперь ждановские мужики ответят, куда они, между прочим, щучьи дети, позадевали эти тракторы? Ась?

Ага, небось молчат. Корежатся от совести. Вот мы им еще пару поддадим. Хватай их за бороденки!

Так вот, между прочим, насчет этих тракторов.

Первый трактор у них, видите ли, сломался.

А отчего он, позвольте узнать, сломался? Не почесавшись, ведь и чирий не вскочит.

Оттого он сломался, что Васьки Великанова корова рогом чтой-то там прободала. Одним словом, какую-то нужную штуковину смяла рогом.

Ах, какие, право, несознательные хозяева эти Великановы! Ну разве ж мыслимое дело — допущать несознательную корову до трактору? Да разве ж она понимает науку и технику? Тьфу, захворать можно от таких ненормальностей!

Теперь пойдем дальше.

Второй трактор у них в воду свалился. Отчего он в воду свалился? Оттого он в воду свалился, что ждановский мужик Иван Николаев Косоглотов некультурно управлял этим трактором. И, будучи маленько под мухой, шибко попер на этом тракторе и с обрывчика сверзился.

Пущай этого Косоглотова теперь весь мир знает и его презирает.

У третьего трактора отчаянные ждановские парнишки какую-то немаловажную штуковину оторвали.

И теперь, ежели говорить прямо, по совести и без прикрас, то остался у них, у ждановцев, единственный один трактор.

Оно, конечно, и с одним трактором жить можно. Да только не такие это ждановские мужики. Это очень дико отчаянные мужики. Дорвались они, знаете, и до этого трактора. И трактор этот им теперь вроде автомобиля, только что без гудка. Истинная правда.

Чуть, знаете, они напьются маленько — сейчас велят трактор им предоставить. Ну и катаются на ем, что ответственные.

Председатель, подлая его душа, тоже ежедневно катается. Он до того, знаете, разленился через этот трактор, что идет, например, к куму своему, к Петровичу, через три дома — и то велит трактор себе подавать. И прет на нем стоя.

А касаемо свадеб в Ждановке и говорить не приходится. Молодых обязательно даже на тракторе развозят. Гостей тоже. А ведь гость, ежели он клюкнувши, он обязательно блюет на трактор. Разве ж это мыслимое дело — блевать на трактор?

А когда ребятенка недавно у Власовых октябрили, его тоже на тракторе везли. Ребятенок, знаете, дико орет и вообще истекает, а его прут и прут. Да еще сам папаша Власов сзади на трактор вскочивши и орет: ого-го!

Вот какие ядовитые делишки творятся у ждановцев. Пущай теперь вся республика про них знает и проклинает.

А так на остальном деревенском фронте все обстоит довольно отлично и симпатично. За исключением, значит, тракторов.

И хотя бы в центре на этот счет небольшой

декретик удумали — мол, не катайтесь, черти ситцевые, на тракторах. Это ж вам не моторы. Понимать надо.

Химики

Нынче, граждане, химия всем известна. До масс дошла. Все, скажем, химические и физические законы напролет известны.

Какой-нибудь, представьте себе, физический закон — например: от теплоты тело расширяется, — мало известный при царском режиме и при Временном правительстве, теперича ясен как на ладони.

Однако есть физические законы, известные и раньше, при любом государственном строе. Это, например, ежели тело водой попрыскать, то тело, тово, прибавляется в весе.

Одна текстильная фабрика так и делает: обливает шерсть водой.

Ежедневный газетный орган про это с меланхолией пишет:

«Ткачи сдают готовые куски товара на вес и, боясь нехватки в весе, спрыскивают товар водой».

Такой, конечно, химический подход к текстильной промышленности мне, граждане, не нравится.

Конечно, я бы не принял это так близко к серд-

цу, если б не брюки. А то — брюки.

Суконные брюки я люблю носить долго.

Мне не нравятся такие штаны, в которые сунешь два раза ноги, и они расползаются[2].

Вот, например, бывшие брюки я носил двенадцать лет. И все они были как новенькие.

И уже революция грянула, гражданская война, нэп, а я все ношу и ношу. Такая, представьте себе, чудная материя попалась. Даже, откровенно сознаюсь, она еще лучше от носки стала. Блеск такой богатый пошел, мягкость, элегантность — дух вон.

Я бы эти брюки еще двенадцать лет носил, если б в бане не сперли. А то сперли в бане.

Конечно, пришлось купить новые. Потому — прохладно, и милиция косится. Издевательство, — говорят, — над общественным вкусом. Ежели, то есть, гражданин не при брюках, хотя в длинном пальте.

А какое, помилуйте, издевательство, ежели из предбанника сперли? Жутко, милые…

А новые брюки — плохие удались.

На стул, скажем, сел, за гвоздь слегка тронул — рвутся. За дверную ручку карманом зацепил —

---

[2] Примечания: 2

Брюки, а не ноги расползаются. (*Примеч. авт.*)

опять рвутся. В гости пришел, нагнулся под стол, чтоб тарелку или бутерброд поднять, — обратно рвутся и расползаются. Жутко, милые.

Жена, на что уж дама прочная и сентиментальная, и то не выдержала.

— Ежедневно, — говорит, — шью ваши брюки, Григорь Иваныч. Всю, — говорит, — общественную работу или сходить к управдому — за них забросила. Пущай, — говорит, — лучше развод, или купите новые.

— Гражданка, — говорю, — погодите ерепениться. Сейчас схожу в магазин — пущай обменяют.

Хорошо. Поносил я брюки еще два месяца для ровного счета, заявляюсь в магазин.

— Что вы, — говорю, — граждане, такое дерьмо продаете?

— Да, — говорит заведывающий, — товар порченый. Товар, — говорит, — для весу водой на фабрике обливают. А он преет и портится.

— Вес, — говорю, — в брюках мне не касается. Прошу обменять.

Менять заведывающий не стал, но предложил купить новые. Так я и сделал.

А что текстильщики так поступают, то смешно и обидно. Ну случилась нехватка, ну привесь к общему куску какую-нибудь тяжелую ерунду или

гирьку. Можно даже неклейменую. А то водой обливать! Жутко, милые.

Птичье молоко

Прошли, братцы мои, те тяжелые денечки, когда кооперативы торговали только пудрой да гуталином.

Будет.

Нынче в кооперативах полным-полно. Все есть, чего твоей душе угодно. Разве что птичьего молока не достать.

И то в ином кооперативе заместо птичьего молока такое есть — только диву даешься.

Думаете, сигары или шелковые чулки?

Стара штука — сигары и чулки. Подымай, братцы, выше.

Ну да не будем понапрасну томить читателя. Прямо и начистоту скажем: в некоторых кооперативах торгуют даже собачьими намордниками. Например, кооператив Нижне-Туринского лесничества (Уральской области).

В этом кооперативе имеется целая партия такого товару.

Газета «Труд» пишет:

«Выбор намордников большой, на разные цены, разных фасонов, кожаные, металлические».

Конечно, в ином кооперативе так бы и про-

лежали эти самые намордники до скончания веков или до тех пор, пока сынишка заведывающего (даром что комсомолец) не стибрил бы их из почтительного удивления. Но не таков этот Нижне-Туринский кооператив. И не такова тамошняя администрация.

«Дело в том, — пишет «Труд», — что администрация, имеющая право согласно колдоговора 60 % жалованья выдавать не деньгами, а ордерами в кооператив, этим правом не только пользуется, но и злоупотребляет».

За октябрь 85 % зарплаты выдано ордерами.

А по ордеру бери чего хочешь. Хочешь — бери намордники, хочешь — гуталину. Потому выбор не ахти какой большой.

«Труд» с грустью сообщает:

«Нужных рабочему товаров в кооперативе нет. Рабочие берут что есть и продают на рынке за полцены.

— А на намордники спросу на базаре никакого! — жалуются рабочие».

Это странно. Такой, можно сказать, редкий, исключительный товар, вроде птичьего молока, а провинциалы отказываются покупать. Чудаки,

едят их мухи!

А на всем остальном кооперативном фронте все отлично и симпатично. Товару вволю. Есть даже птичье молоко. Налетайте, граждане!

Дефективные люди

Удивительно раньше люди жили!

Скажем, сто лет — небольшой срок, а поглядите, какая заметная разница.

Бывало, сто лет назад, развернешь газету, начнешь, к примеру, объявления читать. А объявления такие:

ПРОДАЕТСЯ ДЕВКА
Умеет шить и неприхотливо готовить.
Цена той девке 75 рублей серебром.

ОБМЕНЮ мужика на трех девок.
Мужик с бородой, дюже сильный.
Могит быть дворником али чем.
Тряпичникам не являться.

ПРОДАЕТСЯ ДЕВКА
16 лет, без обману.
Умеет жарить, парить и пятки чесать.
А цена той девки вне запроса 100 рублей.

Так раньше жили люди. Смешно жили. Глупо жили. Читать противно.

А нынче и времена другие, и песни другие, и… цена другая. Цена, прямо скажем, за «девку»

тридцать червонцев. Это по расценке Спасского уезда.

Сейчас объясним.

Недалеко от Владивостока в Спасском уезде жил некий дефективный папаша. Была у него дочка Нюрочка.

Вот папаша и думает:

«Отчего, — думает, — не продать мне Нюрочку, ежели деньги требуются?»

Так и сделал. Подыскал дефективного человека и продал ему дочку за тридцать червонцев.

Газета «Ленинградская правда» пишет:

«В Спасском уезде родители продали в жены за 300 рублей свою 16-летнюю дочь. Девушка была продана без ее ведома».

Очень торговались. Сам папаша в три ручья плакал.

— Ты, — говорит, — погляди, какая девка-то продается! Свободная, равноправная девка! Не жук нагадил. Прибавь немного.

На трехстах ударили по рукам.

Одним словом, дешево купил жених.

Однако, как говорится, дешево покупают, да домой не носят. Так и тут.

Сельсовет, обсудив этот вопрос совместно с ячейкой комсомола и женщинами-делегатками,

взял девушку под свою защиту и аннулировал родительскую «сделку». Над родителями и женихом был устроен показательный суд.

Отдал ли дефективный папаша жениху назад деньги — покрыто мраком неизвестности. Ничего про это газета не говорит.

Да нас это и не интересует. Нас интересует: а какая, к примеру, цена на «девку» в других губерниях?

Не знаем. Вот насчет Псковской губернии знаем. Там «девок» не продают, а за них приплачивают. Смотря по достатку.

Сделка называется приданым.

А на наш ничтожный взгляд — хрен редьки не слаще.

Тараканы

Конечно, не такое сейчас время, чтоб про мелкие вещи писать. Тем более про тараканов. Гаврила признает, что про тараканов прямо даже неприлично сейчас писать. Тем не менее придется все-таки слегка коснуться этого мелкого насекомого.

Вниманья долго не задержим, потому много писать нет охоты — башка с непривычки к таким мелким сюжетам пухнет от напряжения.

Начнем прямо с материалов и фактов.

Вот выписка из протокола:

ПРОТОКОЛ № 1242

Заседания Пленума Заводского Комитета при заводе

«Красный Профинтерн», 5 января 1925 г.

Слушали: Охрана труда и жилищные условия.

Постановили: 2) Вторично предложить принять меры к уничтожению тараканов в общежитиях рабочих…

Теперь каждому мало-мальски сознательному читателю охота небось узнать, какая последовала

резолюция управляющего заводами по поводу этого протокола.

Конечно, иной управляющий, идущий нога в ногу с наукой и техникой, вынес бы резолюцию — извести, например, тараканов по последнему слову техники — каким-нибудь мором, или ядом, или вообще специальным тараканьим средством.

Но не такой это человек наш герой управляющий…

Гаврила предполагает, что в душе этот управляющий — отсталый кустарь, идущий вразрез с научными достижениями. И в самом деле: он предпочитает ручной способ.

И резолюцию он поставил такую:

Резолюция: Предложить живущим перебить тараканов.

О чем довести до сведения завкома.

Теперь Гаврила сгорает от любопытства. Охота бы знать: перебили ли живущие всех тараканов или часть тараканов не поддалась ручному способу и продолжает резвиться в общежитии?

Сообщите, братцы! Помираем от любопытства!

А управляющему кланяйтесь и спросите его, много ли он сам передавил тараканов. И чем

давил — рукой, ногой или еще чем.

А вообще говоря, тараканий мор продается в любой лавке.

О вреде грамотности

Председателя Ногинского сельсовета гражданина Захарова мы не хаем. Работник он чудный. Специальный работник. Орел прямо-таки.

И насчет денежных сумм — ни-ни. Не растратит. Вот разве только бумагу иной раз растрачивает зря. Такой уж у него, знаете ли, характер отчаянный. Чуть что — пишет. И все официальные бумаги пишет. Надо ему, например, стакан чаю принести — пишет. Стол передвинуть — опять пишет.

Газета «Рабочий край» сообщает:

«Ногинский сельсовет очень уж увлекается канцелярией. Даже пишет официальные отношения исполкомовской сторожихе. Сторожиха же, Павлова Клеопатра, живет тут же, через стенку».

В один прекрасный момент (а таких моментов было много!) она получает пакет.

А в пакете, дорогие граждане, черным по белому сказано:

«СССР Ногинский Сельский Совет крест. депут.
Ногин, в., Середу.
Гр. Павловой Клеопатре Ивановне.

Ногинский Сельсовет предлагает вам примыться в здании Исполкома в обоих комнатах завтра.

За неисполнение вами настоящего будут приняты меры к удалению из квартиры.
Пред. Захаров».

И хорошо, ежели Клеопатра Иванна — грамотная бабочка. Тогда полбеды. Прочтет бумажку, дескать, примыться требуется — пойдет и примоется.

А каково, если Клеопатра Иванна неграмотная?

Ну, получит бумажку — побежит к родственнику. Да хорошо, если родственник не надрался с утра, а сидит трезвый и хомут чинит. А ежели надрался? Куда бежать Клеопатре Иванне? К Гавриле не побежишь. К Гавриле пущай председатель бежит. Надо бы посмотреть, какой он с наружности.

Ну да, впрочем, председателя мы не хаем. Дорвался до бумаги, так и пущай пока пишет. Потому мы вполне понимаем, по каким причинам у него такая канцелярская блажь. Вот только нам Клеопатру Иванну ужас как жалко.

Ах, Клеопатра Иванна, Клеопатра Иванна! Трудно небось вам живется при вашей малогра-

мотности у столь грамотного председателя.

А так все остальное хорошо и отлично. Дела идут, сельсовет пишет. И бумажный кризис изживается.

Белиберда

Вот и Пасха православная наступила. Верующий народ самосильно молится, свечечки ставит и к иконам прикладывается. И не знает, чего, например, в Святогорской церкви, что в Шуйской волости, произошло.

А в Святогорской церкви произошло такое, что хоть святых оттуда вон выноси. И, наверное, вынесут.

Верующие там в панике. Заместо, — говорят, — святых апостолов наши же мужики обнаружились.

Фу, дайте объяснить по порядку!

Сейчас мы, братцы, весь церковный фронт можем разгромить. Очень уж факт отчаянный. Газета вологодская «Красный Север» тоже про это написала. Только она мало знает, мы больше знаем.

А висела, значит, в Святогорской церкви иконка апостола Павла. Десять лет висела — ничего. На одиннадцатый год все и обнаружилось.

А пришла в церковь старая старуха Крутикова. Из деревни Пустошное. Пришла и говорит:

— Бросьте, — говорит, — вы, граждане, молить-

ся и креститься вот этой иконе. Это, — говорит, — мой муж изображен.

Ну, народ к старухе.

— Как это? Почему такое? Говори, не то изувечим.

Вот старуха и начала каяться:

— Это, — говорит, — граждане, при царском еще режиме. Нарядили, — говорит, — моего мужа в одежду и на карточку сняли. А после на икону списали. И велели молчать... Я, — говорит, — десять лет молчала, а теперича помирать скоро... Охота покаяться... Извините меня, худую... А вон та, другая икона с Петром — это, опять же, Ваня Каретников нарисован... Извините меня, худую...

Посмотрел народ на иконы. И враз признал.

— Ну, — говорят, — а ведь верно! Это, — говорят, — сразу видно — Крутиков. А этот, как на ладони, Ванька Каретников. И нос у его тоже пухлый и бороденка веером.

Ну, смех вокруг поднялся. Хохочет народ, узнает знакомые рожи, лапами трогает. Такая чепуха поднялась — хоть святых вон выноси.

И действительно, придется вынести. Нельзя же, граждане, оставлять, раз этакая грубая подделка обнаружилась.

Ах, чего на церковном фронте творится! Бели-

берда сущая!

Насчет этики

Конечно, некоторым товарищам неизвестно это слово — этика.

Некоторые товарищи небось думают, что это какое-нибудь испанское трехэтажное словечко. Но это не так, дорогие товарищи. Это довольно хорошее, симпатичное слово. Его даже употребляют на некоторых собраниях. Даже говорят: союзная этика.

А означает оно, ну, вроде, что ли, как бы сказать, — поведение или правильное отношение. А впрочем, черт его разберет! Уж очень заковыристое слово. А главное, понимают его по-разному. В одних местах так, в других — этак. А например, Земетчинский сахарный завод и совсем глупо понимает.

Сейчас расскажем про этот завод. Все отпоем.

Держись, братцы! Начинается.

Однажды тяжкое горе постигло этот завод. Любимого, можно сказать, начальника и друга, директора Григория Федоровича Каратаева, перевели на другой завод. А именно — к боринцам.

Очень горевали земетчинцы.

— Братцы, — говорят, — надо хотя бы ознаме-

новать уход этого дорогого директора. Давайте, товарищи, поднесем ему душевный адрес с указанием, так сказать, всех его драгоценных качеств.

Согласились. И, не заявляя в завком, взяли и написали:

«Глубокоуважаемый… Вы — этот, который… Отдали силы… Тяжелые условия… Мы лишаемся… Желаем… Многие годы…» И прочее тому подобное.

Написали и поднесли.

Григорий Федорович прочел и едва не прослезился. Спрятал адрес в карман, распрощался дружески и отбыл на Боринский завод.

Тут-то все и начинается.

Узнал об этом адресе земетчинский завком и в срочном порядке собрание собрал. И на собрании объявил:

«Выдача всяких адресов и аттестатов может происходить только через завком как через союзную организацию.

В данном случае вы нарушили союзную этику. Надо потребовать адрес обратно».

Тут начали робко возражать, дескать, какой же это аттестат? Это так, вроде как в альбом на

память написано.

Никаких возражений не стал слушать завком и через боринский завком потребовал:

«Возвратить случайно выданный адрес».

Тут-то все и началось.

Земетчинцы кричат:

— Отдайте адрес! Потому — это явное нарушение союзной этики.

Боринцы отвечают:

— Адреса не отдадим. Потому адреса назад отдавать — это против союзной этики. И за это оскорбление мы вам еще хвост накрутим.

А сам Григорий Федорович тихонько охает:

— Братцы, — говорит, — да я-то при чем? Я же не против этики. Берите все назад. Ну вас к лешему!

Вот тут, граждане, и разберись. Одно небольшое слово, а как понимают его в разных уездах!

А мы, Ленинградского уезда, совсем от этого с толку сбились.

А москвичи, например, не сбились. И говорят, будто даже ЦК сахарников уволил земетчинского предзавкома за нарушение союзной этики.

Вот оно как!

А что думают про это слово в Дорогобуже — неизвестно. Скорей всего — ничего. Не дошло небось до них это слово. Ну и к лучшему.

Кузнеца обидели

Лесопильное дело — легкое и веселое производство. Вредности в нем никакой. Опилки хотя и летят, так ведь не в рот летят. И ежели рта не раскрывать во время работы, так и не вредно получается.

Кузнечное дело — это другой коленкор. Тут угли все-таки, огонь, дым. Обжечься, опять же, можно. Или захворать от дыма. Это безусловно вредное производство.

Ну а вот теперь взять, к примеру, кузнеца и поставить его на работу в кузницу на лесопильный завод? Нуте, чего получится? Вредно или не вредно?

Вопрос этот оказался до того тонкий и ехидный, что вокруг него целая каша заварилась. Каша заварилась, а мы — расхлебывай!

Все произошло на станции Енисей на лесозаводе.

Поступил туда кузнецом наш задушевный друг и приятель, дорогой товарищ Ушкалов. Поработал он год и просит выдать ему денег заместо отпуска за вредность. И подает он заявление в РКК.

РКК думает: «Раз это кузнец, то хотя он и на лесозаводе работает, дело и вредность от того не меняется. И пущай кузнец за эту вредность огребет деньги лопатой».

Одним словом, разрешили. Только послали свое постановление начальнику района Сибтранслеса, чтоб утвердил.

Начальник района на эту бумажку отвечает заносчиво: пущай, дескать,

«…РКК укажет пункт законодательства о вредности лесопильного производства».

Прочел эту резолюцию начальник завода товарищ Филимонов, и не растерялся. Написал даже завкому:

«Препровождаю бумагу для конкретного указания законодательства о вредности работы на лесозаводе».

Одним словом, плакали кузнецовы денежки. Отказали ему начальники. И хотя этих начальников слегка и обложили в газете «Красноярский рабочий», но будет ли с того какой толк — не знаем. Не ручаемся. Уж очень вопрос сложный.

На этот вопрос массу мозгов растратить нужно. А мозги-то нынче в большой цене. Издалека

видно.

Эх, не видать, кажись, кузнецу денег как своих ушей!

Сочувствуем, братишечка.

Еще касаемо того же!

А вот и Ленинград сейчас малость подковырнем. Город это крупный, большой, и масштабы там довольно обширные, и аппетиты такие же. Потому это вам не провинция.

Провинция, например, растратит рупь семь гривен и враз показательный суд устроит над отчаянным растратчиком. А Ленинград на рупь семь гривен не позарится. Ему крупней подавай. Ему тыщи выкладывай.

А рупь семь гривен там, может, за один конец трамвая платят. Вот какой это город!

А речь тут, как читатель небось догадался, идет касаемо того же самого перманентного, насчет растраты то есть.

Тамошний райкомвод просматривал как-то ведомости. Глядит — чего такое? Какая, глядит, огромадная задолженность в торговом порту? Все, например, другие прочие учреждения вполне вносят членские взносы, а торговый порт как проклятый — ничего не вносит.

Сразу от райкомвода специального человечка в порт снарядили, чтоб пристыдить членов.

Начал человечек стыдить. А народ не стыдит-

ся.

— Брось ты, — говорят, — специальный человечек, языком трепать. Мы в крайнем случае очень исправно членские взносы вносим. Ступай себе мимо.

Ну, комиссия образовалась. Копнула комиссия туда, сюда и вообще. И вопиющая картина обнаружилась. Одиннадцать тысяч местком слимонил.

Брали все кому не лень. Пили. И в картишки ударялись, и мало ли.

Одиннадцать тысяч! Тьфу, и писать-то после такой цифры неохота!

Взять бы, например, пузырек с чернилами да заместо окончания фельетона тиснуть бы этим пузырьком по едалам каждого растратчика — оно бы и верней было.

А то пишешь, пишешь — один черт. Все равно республика страдает ежедневно. Да еще деньги бесцельно платит за писанье против растраты.

Гляди, товарищ редактор, поменьше плати за этот фельетон. Пущай республика хотя на этом отыграется.

Опасная пьеска

Нынче все пьют помаленьку. Ну и артисты тоже, конечно, не брезгают.

Артистам, может, сам Госпирт велел выпить.

Вот они и пьют.

Во многих местах пьют. А на Среднем Урале в особицу.

Там руководители драмкружка маленько зашибают. Это которые при Апевском рабочем клубе.

Эти руководители как спектакль, так обязательно даже по тридцать бутылок трехгорного требуют. В рассуждении жажды.

Ну а раз дорвались эти артисты до настоящей пьесы. Там по пьесе требуется подача вина.

Обрадовались, конечно, артисты.

— Наконец-то, — говорят, — настоящая художественная пьеса современного репертуара!

Потребовали артисты у клуба сорок рублей.

— Потому, — говорят, — неохота перед публикой воду хлебать. И вообще, для натуральности надо обязательно покрепче воды. Так сказать, для художественной правды.

Выдал клуб от чистого сердца двадцать целковых.

Артисты говорят:

— Мало. Для наглядности не менее как на сорок требуется.

И приперлись эти артисты на спектакль со своими запасами. Которые горькую принесли, которые — пиво. А некоторые и самогону раздобыли.

Вот спектакль и начался.

Мы-то на этом спектакле не были. И потому не можем описать в подробностях. Но один знакомый парнишка из зрителей сообщает нам с явным восхищением и завистью:

По ходу пьесы спиртные напитки подавались в таком огромном изобилии, что к концу второго действия все артисты были пьяны вдребезги.

И еще, спасибо, благородные артисты оказались. Другие бы, наклюкавшись, стали бы в публику декорациями кидаться. А эти — ничего. Эти тихо и благородно, без лишних криков и драки опустили занавес и попросили публику разойтись от греха. Публика, конечно, и разошлась.

Гаврила предлагает в срочном порядке и вообще поскорей снять эту современную пьеску с репертуара как явно опасную и несозвучную с эпохой.

Комики

Я, граждане, не особенно долюбливаю концерты и всякие там балы. Мне на них всегда скучновато бывает. Даже, признаться, ко сну клонит, ежели тихое, например, пение или музыка без барабанов.

А вот один концерт-бал мне действительно понравился. В Петергофе было. Военно-железнодорожники устроили. Это действительно был вечер.

Конечно, весь концерт-бал был не ахти какой. Как говорится: бал — кот с печки упал. Но вот один номер был выдающийся. Главное, уж очень смешно было. Многих слабосильных дамочек даже заживо выносили в истерике, до того они хохотали.

И нельзя было не смеяться. Потому выстроили железнодорожники все свои батальоны и объявляют: сейчас, дескать, произойдет комический номер. Каждому железнодорожнику выдадут по фунтовой булке, и какой батальон скорее скушает, тому премия в размере двух пирожных и вообще слава в петергофском масштабе.

И вот роздали по булке, и по сигналу началось.

Я, граждане, видал, как едят, и сам едал, а такой еды не видывал. Многие давятся, мотают башками, шипят, плюются… Многие, что жабы, захватили зубами булки и ни туды, ни сюды, ни чихнуть, ни сморкнуться…

В публике стон стоит от хохота. Слабосильных дамочек заживо выносят в истерике… А те жуют наспех.

А тут с одного батальона молодой парнишка умял свою булку и кричит:

— Братцы, неужели же осрамим оружие! Налягем по возможности.

Тут, конечно, и налегли. И через две секунды объявляют, дескать, этот батальон выиграл. И могут получать премию.

Тут публика начала бис требовать. Начали просить за свои деньги, чтобы и с пирожными устроили такой же номер: кто скорей.

Но батальон стал категорически отказываться.

— Не можем, — говорят. — У нас, — говорят, — некоторые несознательные товарищи захворали.

И действительно, выходит вперед один блондин и икает. А у самого рот раскрыт, глаза выпучены и пот со лба капает.

— Граждане, — говорит, — я булкой подавился.

Я, — говорит, — ее враз проглотил… Проскользнула она внутрь.

Начали его расспрашивать, куда, дескать, проскользнула и дошла ли до живота.

— Не знаю, — говорит.

Начали блондина успокаивать, дескать, вполне переварится — не тарелка ведь. Тарелка, это действительно, может не перевариться, а булка, хоть и целая, всегда размякнет и со временем, даст бог, вон выйдет.

Но этот случай не омрачил праздника. Веселье продолжалось. И даже в газете «Красная Звезда», № 81, густым шрифтом был отмечен необыкновенный успех вечера:

«4 апреля военно-железнодорожники гор. Петергофа в присутствии гостей и петергофской молодежи устроили комбинированный вечер…

Все остались довольны, особенно одним комическим номером, а именно: участникам соревнования дано по фунтовой булке, и кто первый съест, тот получает еще премию — два пирожных. Пальму первенства получил Н. батальон, который в этом спец».

Далее корреспондент расстроился и пишет от себя разные слова — дескать, безобразие, обжорство, унижение и тому подобное. Но это он не

иначе как из зависти. Дай ему, каналье, фунтовую булку, так он минут двадцать лопать будет да еще корочки оставит.

Знаем мы этих писателей. Сами пишем.

Сельская идиллия

Это дельце, граждане, развернулось в селе Арбузове.

Где это село расположено и сколько, например, в нем несчастных жителей — неизвестно.

Сама газета «Красный Алтай» про это туманно отзывается.

Во всяком случае, в этом селе произошло недавно любовное происшествие. Арбузовский житель Звягин влюбился, представьте себе, в одну постороннюю арбузовскую дамочку.

Влюбился. Стал, конечно, бывать у ней и прочее все такое.

А звягинская женка натурально в это время скучает. И это, представьте себе, на восьмом году революции!

А раз эта звягинская женка и говорит своему отчаянному супругу:

— Я, — говорит, — не потерплю этого. Я, — говорит, — товарищ супруг, на вас жаловаться пойду. Мыслимое ли дело влюбляться на восьмом году революции!

А влюбленный Звягин никого и ни черта не слушает и все по-прежнему бывает у своей да-

мочки.

А раз сидит себе дома арбузовский председ-совета гражданин Ряховский и кушает кашу с коровьим маслом.

И вдруг вбегает к нему гражданка Звягина и орет:

— Мой, — говорит, — Звягин обратно пошедши к этой чертовой дамочке. И чего на это смотрит администрация? Нельзя ли, мол, прекратить эту любовную вакханалию? Это, — говорит, — не восемнадцатый год. Запретите, — говорит, — ему влюбляться.

Председатель, нажравшись каши, отвечает:

— Прекратить можно. Я, — говорит, — такую сильную безнравственность на восьмом году революции не могу у себя на селе вытерпеть. Я, — говорит, — вашего Звягина сейчас арестую с поличным и доставлю к вам, к законной владетельнице.

Председатель докушал кашу, взял понятых и попер к дому этой самой любовной дамочки.

Обшарили понятые весь дом — нету отчаянного любовника.

Председатель говорит:

— Ройте в подвале.

Сунулись в подвал. Так и есть. Сидит Звягин

и трясется.

Тут же выволокли за ноги любовника и акт на него сочинили. Каковой акт и напечатан в газете «Красный Алтай» жирным петитом:

«…При обыске у гражданки такой-то в подполье обнаружен спрятанный мужчина, принадлежащий гражданке Звягиной. По изъятию и сопровождению его приняты энергичные меры…»

Как изъяли этого Звягина — неизвестно. И били ли его по животу или только по морде — тоже неизвестно. Во всяком случае, его доставили по месту принадлежности.

Так и кончилась эта любовь.

Вообще, Гаврила презирает этого Звягина. Робкий и нестоящий мужчина.

Другой бы вроде Гаврилы накостылял бы этому председателю по первое апреля — мол, не суйся, бродяга, куда тебе не показано. А этот испужался и в подвал спрятался.

И как это бабы любят такого! Тьфу!

Что за шум, а драки нету?

Нынче мы, граждане, юбилей свой справляем. Истинная правда.

Оттого кругом такой шум и веселье.

В прошлом годе мы об это время как раз, знаете, и приступили к работе.

Теперича вот год отработали и шабаш — празднуем. Какого лешего!

Другие граждане все больше сорокалетние юбилеи справляют. Ну а мы за сроком не гонимся. Мы не гордые. Мы вот год оттяпали — и празднуем. Еще год оттяпаем и опять будем праздновать.

Характер у нас, знаете, быстрый, вспыльчивый. Нам чем чаще, тем лучше.

Мы даже хотели два раза в год справлять. Да редактор не допустил.

— Что вы, — говорит, — обалдели? Вы бы, — говорит, — еще каждую неделю праздновали. И так-то, — говорит, — с опозданием выходите.

— Ну, говорим, ладно, пущай раз в год. Только пущай попышней и с музыкой.

Ну, и действительно праздновали пышно. Слов нет.

Конечно, особой пышности не было. Потому

народ у нас все ужасно строгий и непьющий. Писатели у нас не то что, знаете, к вину — к пиву не притрагиваются. Вот какие писатели. Истинная правда. Горох пожуют — им и хватит.

А художники даже и гороха, дьяволы, не жуют. Воблу пососут, а уж их и развозит с непривычки. «Мама» сказать не могут. Вот какие у нас художники.

С такими художниками какая уж там, знаете ли, пышность. Посидели, посидели и разошлись кто куда. Вот вам и весь юбилей.

Зато чествований было ужасно как много. Это действительно пышно прошло.

Одних проздравительных писем больше тыщи было. Охапками волокли. 870 писем.

Адресов тоже до черта. Три адреса. Один на конверте смешной такой адрес. «Москва — Гавриле». Вот вам и весь адрес. И дошло. Ничего. Мы боялись, что не дойдет. Дошло.

Другой адрес тоже очень отчаянный. Ни черта не понять, чего на нем нацарапано. Тоже дошло. Ух и почта же у нас геройская!

А писем действительно много было. 835 писем, как в аптеке. Со всех концов СССР письма.

С Саратовской губернии даже неграмотные разошлись — написали. Пишут:

«Проздравляем, всего лучшего желаем».

С Тамбовской губернии опять же в стихах:

«Птичка прыгает на ветке.
Честь имеем вас проздравить
Со днем ваших именин».

Кроме писем еще вчерась телеграмма пришла. Сотрудник Михал Михалыч с Ленинграду пишет:

«Пора бы деньжат выслать».

Надо будет выслать.

А так все хорошо и отлично. Дела идут. Контора пишет. Ключи на комоде.

С праздничком, товарищи.

Дамские штучки

В каком городе это произошло, я уж, извините-простите, не знаю. Квалификации у нас такой нет, чтоб все насквозь знать и все понимать и за каждым союзом присматривать.

Одно известно — что случилось это в союзе химиков.

Вот и пущай сами химики разбираются в этом химическом происшествии.

А состояла, между прочим, в этом союзе такая гражданочка средних лет, Савина Александра. И работала она на заводе.

Работала она на заводе, только вдруг ей скучновато стало работать на заводе. Или, может быть, она замуж вышла — неизвестно. Квалификации у нас такой нет — про все знать и за каждой гражданкой присматривать.

Так вот, стало ей скучновато работать, и просит она ослобонить ее от работы по своему желанию.

Обрадовались на заводе — ослобонили.

— Пожалуйста, — говорят, — сделайте ваше такое разлюбезное одолжение. Между прочим, что ж вы раньше молчали и голоса не подавали

— мы бы давно вас ослобонили.

Ну, одним словом, гражданка Савина ушла с завода. Хотя, конечно, из союза не ушла. В союзе она осталась на всякий пожарный случай.

«Мало ли, — думает, — и союз, — думает, — в нашем дамском деле пригодится».

Так оно, знаете, и вышло.

Летом погуляла наша симпатичная гражданочка, загорела на солнышке и вообще расцвела, что пиён, и мужа своего, конечно, осчастливила — стала ему младенца ждать.

К осени она стала младенца ждать, а на пятом месяце, маленько не дождавшись, заявилась на завод, как будто, ну, ничего у ней такого нет и вообще никакого младенца не предвидится.

— Хочу, — говорит, — обратно поработать на пользу химической промышленности.

А сама думает:

«Месяц как-нибудь протяну. А там мне отпуск. И денежки самотеком потекут. Вот вам и вся химия!»

Да, спасибо, управляющий заметил неладное.

— Да вы, — говорит, — гражданка, не младенчика ли ждете? Как-то стоите неуверенно.

Ну и, кажись, не принял. А может, и принял. Неизвестно. У нас квалификации такой нет, что-

бы все знать и за всем следить. Нам на каждого химика, знаете, не разорваться.

Может, вы еще спросите, девочка или мальчик у ей родился. А мы почем знаем? Мы у ей ребят не крестили.

Герой

Ну вот. Каждый день пишешь, стараешься, нервы свои треплешь, а публика, между прочим, все недовольна.

— Что вы, — говорят, — гражданин хороший, все анекдотики строчите. Вы бы, — говорят, — заместо того написали бы чего-нибудь этакое натуральное, из жизни.

Ну что ж! Можно из жизни. Извольте, дорогие граждане. Прикажете, может, для верности, адресок сообщить? Извольте и адресок. Вот он, адресок — Дивенская улица, 86.

А только пущай домашние хозяйки этого рассказа не читают. Не то расстроятся, а после котлеты пережарят. Глядишь — лишние неприятности в жизни. А неприятностей этих и так не обобраться. Вот, не угодно ли.

В одном доме в городе Красном Ленинграде (Дивенская, 86) жил-был человек. По профессии водопроводчик. Беспартийный. Фамилии этого водопроводчика мы, к сожалению, не запомнили. Вообще какая-то лошадиная фамилия на букву «К».

А водопроводчик этот, надо сказать, до страсти

не любил кошек. Некоторые граждане говорили, будто у него в девятнадцатом году хозяйская кошка полфунта масла уперла и слопала. Другие говорили, будто цельный фунт. Одним словом, симпатичный герой наш не одобрял этой породы. И чуть какая кошчонка бежит, он уж обязательно ногой ее пхнет, или плюнет в ее сторону, или сердито и задумчиво посмотрит на нее.

И вот в один прелестный зимний день в этом доме (Дивенская, 86) стали подыхать кошки. То есть так подыхать, что в короткое время не осталось в доме ни одной кошки. Прямо хоть занимай у соседей. Собак тоже не осталось. Собачки тоже все передохли.

Очень расстроились от этого факта в доме. Созвали, конечно, экстренное собрание жильцов. Начали дискутировать — как и отчего околевают кошки.

Одна гражданка на собрании заявила:

— Кошки, граждане, так себе не кончаются. Это, — говорит, — заметна чья-то преступная рука.

Другая гражданка говорит:

— А преступная рука, граждане, это не кто иной, как наш общий сукин сын, водопроводчик с пятого номера. Это, — говорит, — не кто иной,

как он подложил свинью кошкам.

И вдруг приходит сам гражданин водопроводчик и усмехается.

— Об чем, — говорит, — речь? Ну да, говорит. Не отпираюсь. Это, — говорит, — я насыпал яду в выгребную яму. Не иначе как от яду они и дохнут. А что собачки кончаются, то пущай и собачки. Собачек я тоже не одобряю. А без жертв обойтись немыслимо.

Сказал и ушел. А после еще записку под воротами приляпал: «Принимаю заказы на отравление кошек и собак».

Вот и все. Вот вам и весь рассказ с натуры.

Конца у этого рассказа нету. Это происходит оттого, что жильцы и сами не знают, чем кончить. То ли плюнуть на водопроводчика, то ли под суд его отдать.

Вот и пиши после этого из жизни! Конца-то и нет. Не обижайтесь, граждане!

Практикант

Дельце это очень поганенькое. То есть такое дельце, что прямо писать неохота. Неохота, да приходится. Факт очень уж выдающийся.

А случилось это в Иваново-Вознесенске. А выходит там, братцы мои, голубчики, газета «Рабочий край».

И стали в этой газетине появляться очень исключительно отличные заметки одного рабкора от сохи, по фамилии Осипов.

Острые такие, свежие заметочки. Талант в них так и брызжет в разные стороны.

А главное, мог этот способный Осипов изображать на бумаге что угодно. Мог и насчет паразитов пройтись. И про продукцию. Мог даже стишки сочинять. Даже раз до того разошелся, что про коров написал. Ей-богу. Научную статью про коров: «Уход за коровой после отела». И подписал — крестьянин-практикант Осипов.

То есть такой способный парнишечка оказался — прямо на удивление.

Весь город очень восхищался своим дорогим рабкором. Да что город? Москва восхищалась. Хотели мы этого парнишечку за выдающийся

талант в журнал к себе перетянуть, да «Рабочий край» не отдал. Пожадничал.

А тут, промежду прочим, таким талантом союзные деятели заинтересовались. Копнули, как и что и отчего такой талантище выпирает из одного человека. Ну и выяснили.

Оказалось, что парнишечка не то что научные статьи про коров — фамилию свою с грехом подписывал.

А брал этот парнишечка разные газеты, вырезал оттуда чего придется: стишки — так стишки, про корову — так про корову, переписывал кое-как и в газету нес. Одним словом, подрабатывал и обогащался.

И, может, на всю Советскую страну прославился бы этот практикант, да, между прочим, засыпался. А впрочем, он и так прославился.

И живут же такие людишки на земле, нет на них погибели.

Товарищ Гоголь

В наше переходное время, в наши скромные дни жил бы товарищ Гоголь не на улице Гоголя, а где-нибудь, ну, скажем, на Васильевском острове.

Жил бы человек не плохо. Насчет цельной квартирки не ручаемся, но отдельная комната была бы у него. Примерно в 3 кв. сажени. Меблированная.

За мебель хозяйке Гоголь платил бы 20 целковых да в домоуправление по 1 р. 60 к. за квадратный метр.

А работал бы Гоголь в «Смехаче» (25 рублей за фельетон). Пришлось бы уж Гоголю расстараться на мелкие вещицы!

Большие вещи — разные там «Мертвые души» и «Старосветские помещики» — все это хорошо и отлично, но недостаточно. Главное, что свободной профессией попахивает. И пописывал бы Николай Васильевич разные мелочишки. Может быть, даже отдел «Тараканы в тесте» вел. Ох, пришлось бы сотрудникам слегка потесниться!

Ходил бы тов. Гоголь в серой толстовке. Лечился бы электричеством от острой неврастении в

Знаменской лечебнице. Трешки бы занимал до среды. Сотрудники дружески хлопали бы его по плечу и говорили: «Ну как, брат Гоголь?»

И вообще жил бы человек не худо. Вполне кормился бы при «Гудке».

Единственно, пожалуй, пришлось бы Гоголю пострадать от современной критики. Показала бы ему наша дорогая критика кузькину мать.

Критическую статью о творчестве товарища Гоголя мы представляем в наши дни примерно в таком виде:

«Еще один»

(О творчестве тов. Гоголя)

Это что за фигура? Это откуда такое появилось? Это кто же дозволил ему появиться?

Мало у нас великих писателей, так вот еще какая-то персона лезет!

Нуте-ка, возьмем эту персону да рассмотрим, какая под ей подложена база. И может ли он, этот самый Гоголь, видеть разные важные проблемы? И есть ли у него, у подлеца, нормальный классовый взгляд или, между прочим, у него заместо взгляда курица нагадила и вообще мелкобуржуазная стихия?

Сейчас мы ему, черту лохматому, припаяем. Не читали еще его вещиц, но чувствуем, что припа-

яем. Потому нельзя иначе, чтоб не припаять.

Выпущает, главное, черт лохматый, общее собрание сочинений, огребает, наверное, громадные деньжищи, тратит бумагу, в то время как кооперации продукты заворачивать не во что, и еще ходит Гоголем.

А пущай-ка лучше ответит, вносил ли он, курицын сын, налог за последнее окладное полугодие? И чем он занимался до 17-го года?

Тоже писатель! Володя!

Критик Иван Засекин

Плохо, товарищи, быть писателем!

Дешевая распродажа

Такой есть город Красногор. Первый раз слышим. Но раз газеты пишут, значит — есть.

А только, может, это и не город, а местечко. Пес его разберет. Газета этого вопроса не затрагивает. А мы, в свою очередь, эту ботанику и минералогию маленько подзабыли.

А расположен этот город не то под Харьковом, не то под Полтавой. Во всяком разе, телеграмма дадена из Харькова.

А очень оригинальный этот город Красногор. Там, знаете, то есть буквально нет ни единого человечка, который бы не состоял в союзе.

Вот какой это город. Истинная правда. Там, предположим, торговец или дьякон — и те в профсоюзе. Прямо противно.

А по улицам там так и ходят члены профсоюзов. И все, знаете ли, металлисты. Куда ни плюнь — все металлисты. Домашняя хозяйка — и та металлист. Прямо противно.

От этого факта некоторые начальники даже испугались.

«Господи, — думают, — с чего бы так густо металлист пошел?»

Бросились начальники к металлистам. К такому, может, знаете, секретарю райкома металлистов Кийко. Фамилия у него такая.

Говорят ему:

— Товарищ дорогой, с чего бы это случилось? Человека ведь нет в городе, чтоб он не металлистом был.

— Да ну? — удивился секретарь. — Неужели же, — говорит, — до того дошло? Оно, действительно, последнее время делишки у нас неважнецкие пошли. Прямо хоть закрывай лавочку. Никто, то есть, за членскими книжками не идет. А оно вон что — потребителя не осталось. Всех, оказывается, удовлетворили.

Тут, конечно, и приперли этого секретаря. И еще кой-каких ребят.

Но тут и обрисовалось положение. Тут-то и выяснилось. Тут-то и оказалось, что работала целая компания. И устроила эта компания вроде дешевой распродажи членских книжек.

Торговали дешево. Чуть не задаром. Рубликов за пять книжонку с пятилетним стажем выдавали. А которому элементу непременно охота было нагнать побольше стажу — гони всего десятку.

Вот какие грубые дела на свете творятся.

Но это небось только в Красногоре. В других

городах все отлично и симпатично. Дела идут, контора пишет, и членские книжки на комоде.

Редкий случай

Дозвольте прежде всего объяснить, где это было. А то не поверят.

— Эва, — скажут, — какую пулю Гаврила заливает.

А между прочим, заливать-то не приходится. Все есть, то есть тютелька в тютельку и в аккурат. Даже хуже.

А было это в одном губотделе союза полиграфистов. Вон где.

Там однажды ревизионная комиссия решила ревизию навести. Мол, нет ли каких упущений, или, тьфу-тьфу, растрат, или еще каких гадостей.

Ну, конечно, утром пораньше собралась ревизионная комиссия. Нагрянула.

— А ну-ка, — говорят, — голуби, предъявляйте документы и разные ваши книжки. Посмотрим, чего у вас там нацарапано.

Ну, конечно, голуби-полиграфисты малость подрастерялись, однако книжки и все такое нацарапанное предъявили.

Считала, считала ревизионная комиссия — все в порядке.

— Все, — говорят, — у вас хорошо и отлично.

Спасибо за службу. Дозвольте, — говорят, — теперь наличные денежки в кассе проверить. И на этом факте распростимся.

Ну, конечно, растерялись полиграфисты.

— Да вы, — говорят, — не трудитесь. Тем более, — говорят, — что и денег у нас в кассе ни сантима. Мы, знаете, деньги в кассе не держим. Привычки такой у нас нету. Мало ли, сопрут их или что. У нас, — говорят, — деньги завсегда при кассире. В штанах зашиты.

Растерялась ревизионная комиссия.

— А подать, — говорят, — нам сюда в таком разе кассира. Сейчас мы кассировы штаны проверим.

Растерялись полиграфисты самую малость.

— Да вы, — говорят, — не трудитесь. Тем более что и кассира-то у нас нету. Мы, — говорят, — его в отпуск пустили вместе со штанами.

Наступило тут тяжелое молчание. Только слышно было, как сопят полиграфисты.

После ревизионная комиссия говорит:

— А союзные средства-то где?

Полиграфисты говорят:

— Да мы ж и говорим — в штанах.

— А штаны-то где?

— Да мы ж и говорим — в отпуску штаны. И кассир при них. Тьфу, — говорят, — ей-богу, какие

вы без понятия! А еще ревизионная комиссия.

Тут ревизионная комиссия попросила принести каждому по стаканчику холодной воды. Выпили. И разошлись с тихим пением.

Волокита

Не страшен был бюрократизм. И канцелярской волокитой нас тоже теперь не испугаете.

Недавно один уважаемый товарищ, Кульков Федор Алексеевич, изобрел способ против бюрократизма. Вот государственная башка-то!

А способ до того действительный, до того дешевый, что надо бы за границей патент взять, да, к глубокому сожалению, Федор Алексеевич Кульков не может сейчас за границу выехать — сидит, сердечный друг, за свой опыт. Нет пророка в отечестве своем.

А против бюрократизма Федор Кульков такой острый способ придумал.

Кульков, видите ли, в одну многоуважаемую канцелярию ходил очень часто. По одному своему делу. И не то он месяц ходил, не то два. Ежедневно. И все никаких результатов. То есть не обращают на него внимания бюрократы — хоть плачь. Не отыскивают ему его дела. То в разные этажи посылают. То завтраками кормят. То просто в ответ грубо сморкаются.

Конечно, ихнее дело тоже хамское. К ним, бюрократам, тоже на день, может, по сто человек с

глупыми вопросами лезет. Тут поневоле нервная грубость образуется.

А только Кульков не мог входить в эти интимные подробности и ждать больше.

Он думает:

«Ежели сегодня дела не кончу, то определенно худо. Затаскают еще свыше месяца. Сейчас, — думает, — возьму кого-нибудь из канцелярского персоналу и трахну слегка по морде. Может, после этого факта обратят на меня благосклонное внимание и дадут делу ход».

Заходит Федор Кульков на всякий случай в самый нижний подвальный этаж, — мол, если кидать из окна будут, чтоб не шибко разбиться. Ходит по комнатам.

И вдруг видит такую возмутительную сцену. Сидит у стола на венском стуле какой-то средних лет бюрократ. Воротничок чистый. Галстук. Манжетки. Сидит и абсолютно ничего не делает. Больше того — сидит, развалившись на стуле, губами немножко свистит и ногой мотает.

Это последнее просто вывело из себя Федора Кулькова.

«Как, — думает, — государственный аппарат, кругом портреты висят, книги лежат, столы стоят, а тут, наряду с этим, мотанье ногой и свист

— форменное оскорбление».

Федор Кульков очень долго глядел на бюрократа — возбуждался. После подошел, развернулся и дал, конечно, слегка наотмашь в морду.

Свалился, конечно, бюрократ со своего венского стула. И ногой перестал мотать. Только орет остро.

Тут бюрократы, ясное дело, сбежались со всех сторон — держать Кулькова, чтоб не ушел.

Битый говорит:

— Я, — говорит, — по делу пришедши, с утра сижу. А ежели еще натощак меня по морде хлопать начнут в государственном аппарате, то покорнейше благодарю — не надо, обойдемся без этих фактов.

Федор Кульков, то есть, до чрезвычайности удивился.

— Я, — говорит, — прямо, товарищи, не знал, что это посетитель пришедши, я думал, просто бюрократ сидит. Я бы его не стал стегать.

Начальники орут:

— Отыскать, туды-сюды, кульковское дело.

Битый говорит:

— Позвольте, пущай тогда и на меня обратят внимание. Почему же такая привилегия бьющему? Пущай и мое дело разыщут. Фамилия

— Обрезкин.

— Отыскать, туда-сюда, и обрезкино дело.

Побитый, конечно, отчаянно благодарит Кулькова, ручки ему жмет.

— Морда, — говорит, — дело наживное, а тут по гроб жизни вам благодарен за содействие против волокиты.

Тут быстрым темпом составляют протокол, и в это время кульковское дело приносят. Приносят его дело, становят на нем резолюцию и дают совершенно законный ход.

Битому же отвечают:

— Вы, — говорят, — молодой человек, скорей всего ошиблись учреждением. Вам, — говорят, — скорей всего в собес нужно, а вы, — говорят, — вон куда пришедши.

Битый говорит:

— Позвольте же, товарищи. За что же меня, в крайнем случае, тогда по морде били? Пущай хоть справку дадут, мол, такого-то числа действительно товарищу Обрезкину набили морду.

Справку Обрезкину отказали дать, и тогда, конечно, он полез к Федору Кулькову драться. Однако его вывели, и на этом дело заглохло.

Самого же Кулькова посадили на две недели, но зато дело его благоприятно и быстро кончилось

без всякой волокиты.

Игрушка

Конечно, ребенку покупать игрушки — это ужасно неприятная история. Особенно летом.

Главное, что никакого сезонного выбора нету.

Я, например, своему сыну все время тачки покупаю. Второе лето. Мальчик даже обижаться начал. Плачет после каждой тачки.

А пущай войдет в отцовское положение. Чего покупать? Мячей нету. Непромокаемых пальто нету. Только тачки и вожжи.

А на днях я зашел в игрушечный магазин, — предлагают новую летнюю игру. Специально сработанную по заграничным образцам. «Дьяболо». Такая французская игра для детей. Такая веревочка на двух палках и катушка. Эту катушку надо подкидывать кверху и ловить на веревку. Только и всего.

Веселая, легкая игра. Специально на воздухе. Ах, эти французы, всегда они придумают чего-нибудь забавное!

Купил я эту игру. Подарил сыну.

Начал сын кидать катушку. И чуть себя не угробил. Как ахнет катушкой по лбу. Даже свалился.

Попробовал я на руку катушку, — действи-

тельно, тяжеленная, дьявол. Не то что ребенка — верблюда с ног свалить может.

Пошел в магазин объясняться: зачем, дескать, такую дрянь производят.

В магазине говорят:

— Напрасно обижаться изволите. Эта игрушка приготовлена совершенно по заграничным образцам. Только что там резиновые катушки бывают, а у нас — деревянные. А так все остальное до мелочей то же самое... У них веревка — и у нас веревка. Только что наша немножко закручивается. Играть нельзя. Катушка не ложится. А так остальное все то же самое. Хотя, говоря по совести, ничего остального и нету, кроме палок.

Я говорю:

— Что же делать?

— А вы, — говорят, — для душевного спокойствия не давайте ребенку руками трогать эту игру. Прибейте ее гвоздем куда-нибудь над кроваткой. Пущай ребенок смотрит и забавляется.

— Вот, — говорю, — спасибо за совет! Так и буду делать.

Так и сделал.

Только прибил не над кроваткой, а над буфетом. А то, — думаю, — ежели над кроваткой — сорвется еще и за грехи родителей убьет ни в

чем не повинного ребенка.

Отцы кушают виноград, а у детей — оскомина.

Каторга

То есть каторжный труд — велосипеды теперь иметь.

Действительно верно, громадное через них удовольствие, физическое развлечение и все такое. На собак опять же можно наехать. Или куренка попугать.

Но только, несмотря на это, от велосипеда я отказываюсь. Я тяжко захворал через свою машину, через свой этот аппарат.

Я надорвался. И теперь лечусь амбулаторно. Грыжа у меня открылась. Я теперь, может быть, инвалид. Собственная машина меня уела.

Действительно, положение такое — на две минуты машину невозможно без себя оставить — упрут. Ну, и приходилось в силу этого машину на себе носить в свободное от катанья время. На плечах.

Бывало, в магазин с машиной заходишь — публику за прилавок колесьями загоняешь. Или к знакомым в разные этажи поднимаешься. По делам. Или к родственникам.

Да и у родственников тоже сидишь — за руль держишься. Мало ли какое настроение у род-

ственников. Я не знаю. В чужую личность не влезешь. Отвертят заднее колесо или внутреннюю шину вынут. А после скажут: так и было.

В общем, тяжело приходилось.

Неизвестно даже, кто на ком больше ездил. Я на велосипеде или он на мне.

Конечно, некоторые довоенные велосипедисты пробовали оставлять на улице велосипеды. Замыкали на все запоры. Однако не достигало — угоняли.

Ну, и приходилось считаться с мировоззрением остальных граждан. Приходилось носить машину на себе.

Конечно, человеку со здоровой психикой не составляет труда понести на себе машину. Но тут обстоятельства для меня сложились неаккуратно.

А понадобился мне в срочном порядке целковый. На пропой души.

«Надо, — думаю, — где-нибудь забодать».

Благо машина есть — сел и поехал. Заехал к одному приятелю — дома нету. Заехал к другому — денег дома нету, а приятель дома.

А один приятель хотя проживает в третьем этаже, зато другой — в седьмом. Туда и назад с машиной смотался — и язык высунул.

После того поехал к родственнице. На Симбирскую улицу. К родной тетке.

А она, зануда, на шестом этаже живет.

Поднялся со своим аппаратом на шестой этаж. Смотрю, на дверях записка. Дескать, приду через полчаса.

«Шляется, — думаю, — старая кочерыжка».

Ужасно я расстроился и сгоряча сошел вниз. Мне бы с машиной наверху обождать, а я сошел от расстройства чувств. Стал внизу тетку ждать.

Вскоре она приходит и обижается на меня, зачем я с ней наверх идти не хочу.

— У меня, — говорит, — с собою около гривенника. Остальные деньги на квартире.

Взял я машину на плечо, пошел за теткой. И чувствую, икота поднимается и язык наружу вылезает. Однако дошел. Получил деньги сполна. Пошамал для подкрепления организма. Накачал шину и вниз сошел.

Только дошел донизу — гляжу, парадная дверь закрыта. У них в семь часов закрывается.

Ничего я тогда не сказал, только ужасно заскрипел зубами, надел на себя велосипед и стал опять подниматься.

Сколько времени я поднимался — не помню. Шел, прямо, как сквозь сон.

Начала меня тетка выпущать с черного хода. Сама, зануда, смеется.

— Ты бы, — говорит, — машину наверху оставлял, если внизу боишься.

После перестала смеяться — видит, ужасная бледность разлилась по моему лицу. А я действительно держусь за руль и качаюсь.

Однако вышел на улицу. Но ехать от слабости не мог.

А теперь обнаружились последствия — хвораю через эту каторгу.

Утешаюсь только тем, что мотоциклистам еще хуже. Вот небось переживают!

И хорошо еще, что у нас небоскребов не удосужились построить. Сколько бы народу полегло!

Непредвиденное обстоятельство

Можно меня поздравить. Нашел квартиру. Одна комната и кухня, с небольшим ремонтом.

Ремонтик совершенно ерундовый — потолок слегка побелить, а то балки оттуда виднеются и известка вместе с верхними жильцами на башку сыпется. А так остальное все исправно.

Я взял и побелил этот потолок. Починил и побелил.

Гляжу, при таком ослепительном потолке — стены стали нехороши. Очень уж грязные и обдрипанные.

Купил дешевенькие шпалеры. Наклеил. Стало как будто немного интеллигентней. Единственно, пол подгулял. При плохих стенах он не так в глаза бросался. А теперь на пол посмотреть страшно. Ямы. Колдобины. Ну, прямо идешь как по панели — до того неровно.

Купил бракованную клеенку. Покрыл пол. Стала комнатка хоть куда. Веселенькая. Дверь вот только жуткая. Не дверь, а черт знает что.

Починил дверь. Ручку для красоты вставил. Краской подновил. И надо было бы мне дверь с одной стороны только окрасить. Со стороны

комнаты. А я дурака свалял — и со стороны кухни подмалевал. Прямо в кухню стало невозможно входить. Потому дверь хороша, а рядом сплошная дрянь. Стены аховые. Плита стоит развалившись. Крантик оторван, еле держится. Пола почти нету. Потолок жутковатый, все время на тебя валится.

Начал ремонт производить. После бросил. Потрохов, — думаю, — не хватит. Кухню, — думаю, — отделаю — уборная нехороша. Бака нету. Четвертой стены не хватает. Уборную, скажем, отделаю — в коридор не войдешь. Коридор отделаю — входная дверь не годится. Входную отделаю — лестница плохая. Перил нету. Лестницу отделаю — дом худой. Не дом, а горе.

А дом, товарищи, я не могу пока отделывать. Я сорок семь рублей жалованья получаю.

Так и живу, как на вулкане. И о ремонте больше не думаю. К этому делу надо подходить осторожно и задумчиво.

Скупой рыцарь

Год назад в одно почтенное издательское учреждение я три месяца подряд ходил за деньгами.

Заведующий отделом человек был милый, симпатичный. Всякий раз он справлялся о моем драгоценном здоровье, интересовался работой. И всегда очень сочувствовал и входил в положение. Однако денег не платил.

Примерно, зайдешь к нему числа десятого. Разведет руками, грустно улыбнется.

— Ай, — говорит, — ну можно ли в такие несуразные числа заходить. Десятое число! А мне, может, пятнадцатого рабочим и служащим платить. Сами посудите.

Ну, сообразишь, что десятое число действительно несколько неудобное число для платежей, — уйдешь.

Приходишь числа двадцатого.

— Ну что вы, — говорит, — делаете? Только что недавно рабочим и служащим заплатил. Ну откуда я вам возьму? Сами посудите.

Два месяца я терпеливо поднимался на пятый этаж. В начале третьего месяца я стал слегка наседать и требовать.

Заведующий ерзал на стуле, грустно разводил руками, но денег не платил.

Я знаю, деньги платить — занятие скучное, малоприбыльное. Сплошной, можно сказать, коммерческий расход. В трубу можно свободно полететь, ежели всем платить. Однако мне было все равно. Я с энергичной настойчивостью вел свою линию.

Заведующий, видимо, начал страдать от моих посещений. Он избегал моего взгляда. Молча разводил руками. И углублялся в свои бумаги.

Однажды, когда у заведующего сидел какой-то посетитель, я начал грозить. Я сказал:

— Либо платите сейчас, либо я сам не знаю, что сейчас сделаю.

В голосе моем появились истерические нотки и вообще некоторое повизгиванье.

Вдруг я услышал всхлипывание. Я с испугом посмотрел на заведующего. Закрыв глаза рукой, он плакал, не стесняясь присутствия посетителя.

Я мысленно обругал себя скотиной и выбежал из кабинета.

Мне было ужасно стыдно и неловко.

Так довести человека. Экая я чертова свинья! Ну действительно, ну откуда ему взять денег, если у него, может, нету? Ах, такая гнусность!

Надо извиниться. Скажу: согласен ждать, сколько понадобится.

Я снова вошел в кабинет.

Заведующий, откинувшись на спинку кресла, тихонько смеялся. Его усы и подбородок дрожали от смеха.

Я услышал, как он говорил своему собеседнику:

— Ну что я могу сделать? Пристают, докучают. Мешают работать. Ну откуда я всем возьму? Приходится, знаете, прибегать к этой невинной хитрости. Это действует. Они народ впечатлительный.

Я подошел к столу и тяжелым голосом потребовал немедленной уплаты.

Заведующий, не глядя на мое лицо, написал на моем заявлении — уплатить завтра.

Назавтра я деньги получил.

Этот случай — подлинная правда. Я давно уже перестал фантазией разбавлять свои рассказы.

Поэт и лошадь

Давеча я получил письмо по почте. Пишут мне из Детского Села. Дескать, память Пушкина нарушена. Примите меры.

А как известно, в этом селе жил в свое время Александр Сергеевич Пушкин. На Колпинской улице.

И дом, в котором жил Пушкин, очень даже отлично сохранился. Наверное, благодаря старанию заведывающего. Это, — говорят, — очень милый, хозяйственный человек. Он еще, может, знаете, лошадь свою завсегда в саду пасет, наверное, из хозяйственных соображений. Так, знаете, дом, доска мраморная — дескать, Пушкин жил, а так под окнами лошаденка пасется — кусты жрет. А кусты — сирень и жимолость. Оно, конечно, кусты эти, может, при Пушкине не росли.

И, может быть, в силу этого заведывающий не считает это самое оскорбительным для памяти Пушкина. Но прохожие все-таки обижаются.

Один прохожий в пылу благородного негодования смотался даже специально к этому заведывающему.

— Голубчик, — говорит, — прямо, — говорит, —

некрасиво с вашей стороны лошадей в пушкинский сад выпущать. Пушкин, — говорит, — из этих окон, может быть, в свое время любовался и окурки бросал, и вдруг тут же лошадь кусты жрет. Прямо, — говорит, — до чего некрасиво.

Заведывающий говорит:

— Лошадь — полезное животное. Пушкинский дом она не трогает, а если кусты кушает, то эти кусты, если хотите знать, после Пушкина выросли.

Тут, не любим сплетничать, небольшая перебранка завязалась между прохожим и заведывающим. Много нехороших и лишних слов было друг другу сказано. Не будем об этом писать, чтобы не тревожить память гениального поэта. Скажем только, что лошаденка и посейчас в саду пасется.

По совести говоря, особого оскорбления в этом мы не видим, но кусты все-таки жалко. Как хотите, а все-таки нет такой красоты и цельности, ежели куст обглодан. Как ваше драгоценное мнение, гражданин заведывающий?

А касаемо лошади, то лошадь всегда можно привязать где-нибудь на втором плане.

Сначала пущай поэт, потом лошадь.

Старая история

Дозвольте для ради первомайского праздника поделиться счастливой новостью. В Константиновке дом построили — поликлинику. Новое здание для этой медицинской цели оттяпали. «Химуголь» расстарался.

Ах, это очень мило с ихней стороны! И как раз, знаете, к празднику.

Доктора и разные ученые ботаники, наверное, очень этим фактом растроганы. Некоторые, наверное, даже прослезились — дескать, не забывают медицину в таком громадном строительстве.

И, между прочим, постройка, — говорят, — очень даже приличная вышла. Совершенно, то есть, по последнему слову довоенной техники — фундаменты не дрожат, и потолки не осыпаются. Американцы небось локти себе кусают от зависти.

Но, конечно, некоторый небольшой дефект случился при этом строительстве. Этого скрывать не надо. Самокритика обязательно требуется в таком поганом деле.

А дефект открылся в самую последнюю минуту.

Уже дом стоял готовенький.

Строители отошли шагов на тридцать, чтоб издали полюбоваться на дело своих рук.

Вдруг один из строителей побледнел и говорит:

— Матушки мои! Канализацию позабыли устроить.

Другой говорит:

— И отопление, кажись, тоже позабыли.

Тут снова закипела работа.

В газетах об этой срочной работе так сказано:

«Когда здание было уже закончено, покрыто крышей и отштукатурено, вспомнили о канализации и отоплении. Пришлось выламывать стены, отбивать штукатурку и даже разбирать крышу для того, чтобы установить котел».

Одним словом, расстраиваться не приходится. Дефект оказался поправимым. Котел всунули. Трубы провели. Жизнь снова заиграла в этом прелестном здании.

Все в порядке!

Подождем, над нами не каплет

Хотели мы, знаете, в Саратов съездить. По своим личным делам. Повидаться кое с кем. Но теперь не поедем. Отменили это решение.

Ну его к черту, этот Саратов! Туда очень уж опасно ехать. Там крушения часто бывают.

Конечно, не в самом Саратове, а вокруг, на разных маленьких станциях. Разные там Князевка, Курдюмовка и так далее.

Эти маленькие станции не на высоте положения. Они небрежно поезда пропущают. И через это крушения очень часто случаются. Если говорить правду — ежедневно.

А другой раз как заколодило, так, верите ли, несколько в день.

А раз такой денечек выпал — одиннадцать крушений в сутки! Двенадцатого не было, потому как, сами понимаете, движение почти что замерло.

А вы говорите: поезжай в Саратов!

Газета «Поволжская правда» пишет:

«Начальники станций Саратовского узла загружены работой, ранее исполняемой их по-

мощниками. Теперь помощников нет. Дорога экономит. Но экономия влетает в копеечку. Так, 4 октября за один день было одиннадцать крушений поездов».

Одним словом, в те края чтой-то мало интереса ехать.

Дорога экономит, но и мы тоже последнее время скуповаты стали: экономим свою мелкую жизнь. Может, на что-нибудь пригодится.

Одним словом, в Саратов не поедем. Подождем, пока на эти мелкие станции подсыпят пару служащих.

А которые начальники прочтут эти грустные строчки — пущай поторопятся. А то, ей-богу, надо в Саратов ехать до зарезу. Не лететь же туда по воздуху.

Неприятность

Давеча на радиофронте у меня развернулась крупная неприятность.

Есть у меня имеется небольшой радиоприемник. Обыкновенно — детекторный. Без антенны. На электрическую сеть.

Слышимость довольно хорошая. Слов-то, конечно, не разобрать без антенны. Но гул идет довольно явственный. Даже в другой раз голоса можно различать — которые мужские, которые дамские.

А в зимние вечера очень, знаете, приятно послушать разные культурные звуки. Главное — легко, без хлопот, бесплатно ткнул в штепсель один провод — и наслаждайся.

Собственно, на почве этого штепселя и развернулась неприятность.

Надо сказать — я проживаю в коммунальной квартире. У нас шесть комнат. Восемьдесят четыре жильца. И на всю эту братию имеется один электрический счетчик. Так что скандалы бывают у нас каждый месяц из-за этого счетчика — кому сколько платить.

Так вот давеча приходит до меня уполномочен-

ный нашей квартиры и говорит:

— Что, — говорит, — ежедневно слушаете аппарат?

— Слушаю, — говорю.

— Через электрическую сеть?

— Да, — говорю.

— Ловко, — говорит. — Либо, — говорит, — сымай свой аппарат к козлиной бабушке, либо, — говорит, — я тебе свет сейчас обрежу. Я, — говорит, — буквально эти ночи не сплю, страдаю и не знаю, сколько с тебя за энергию теперь брать.

Я говорю:

— Никакой энергии не беру. Это, — говорю, — электрическая сеть — заместо антенны.

— Э, — говорит, — брось ваньку валять. Я, — говорит, — не слепой пес. Я, — говорит, — вижу, что провод до штепселя доходит.

— Так, — говорю, — это один провод, в одну дырку.

— А я, — говорит, — не знаю. Может, я уйду, а ты и во вторую воткнешь. Сымай свои радиозвуки или, — говорит, — плати семь целковых в месяц жильцам за моральное спокойствие.

Платить, конечно, я не стал, а снял свой аппарат и теперича снова живу некультурной жизнью. А так остальное все благополучно.

Красота!

Давеча, товарищи, я в газете вычитал очень даже интересное сообщение. Насчет Америки.

Оказывается, в этой удивительной стране многие автомобили и вагоны железнодорожные имеют свои названия. И ходят не под номерами, как у нас, а под заглавием. И конечно, выбираются заглавия все больше красивые и поэтические. Как, например, «Пульмановский вагон», «Рогнеда» или автомобиль — «Ласка любви». Ей-богу, не вру! Так и пишут.

Прочитал я это сообщение — и тоже красоты мне захотелось.

Пущай бы у нас тоже на транспорте такое же начинание ввели. А то пароходы имеют свои названия, а вагоны — нет. Нехорошо. Несимметрично.

Трамвай можно бы назвать как-нибудь поэтически — «Утренняя прохлада» или хотя бы научно — «Масло жмут».

Железнодорожный вагончик хотя и имеет свое заглавие — «Максим Горький», но это заглавие несколько устарело. Не худо бы назвать такой вагон — «Луч солнца» или революционно — «Быв-

шая баррикада».

Этот жуткий экипаж частника следовало бы назвать поэтически — «Галоша» или — «Надгробное рыдание».

Конечно, все эти заглавия даны для примера. И если наш проект пройдет в жизнь, то можно расстараться — придумать чудные названия и тем самым заткнуть за пояс свободную Америку.

Пора вставать

Протри свои очи, дорогой читатель, и обрати благосклонный взор на этот приличный рисунок.

Тут, как видишь, художник по мере сил и возможностей изобразил раннее утро в провинции. А именно: Минеральные Воды. Рабочий поселок Госстеклозавода.

Еще довольно темно, но уже пора вставать на работу. Пора идти на этот самый стеклозавод. Гудок еще не гудел. И не скоро загудит. По той простой причине, что гудка на заводе не имеется. А как сообщают газеты:

«...вместо гудка имеется целый штат кричальщиков, содержание которых обходится 2160 рублей в год. Обязанность кричальщиков состоит в том, что они, стуча дубинкой в окно, будят рабочих на работу».

Нами как раз тут и зафиксирован славный и ответственный момент пробуждения. Вот кричальщики ходят, постукивают своими дубинками. Вот замелькали огоньки в халупах. Пора, братишки, вставать! Пора! Утро начинается. Вспоминается классическое изречение, кажется,

что Пушкина или в крайнем случае баснописца Крылова: «Дети, в школу собирайтесь, петушок давно пропел». Кстати, насчет петухов. Дело происходит на Кавказе, и, может, там петухов не водится. Только, одним словом, петухи там не использованы для этой цели. А работает там штат кричальщиков, которые и огребают, как мы указали, 2160 рублей.

В век пара и электричества прилично было бы устроить на заводе гудок. Оно, конечно, обслуживать его стоило бы немного дороже (поломка, починка, утечка пара и т. д.), но зато — красота.

А кричальщиков можно бы поставить на более полезное дело — бутылки выдувать или, еще лучше, какие-нибудь более порядочные стеклянные вещи — блюдечки или рюмочки.

Так что надо бы гудок схлопотать. Извиняюсь.

Тяга к чтению

В библиотеках-то что делается! Это ужасти! Ежедневно масса книг гибнет. Пропадают ценные экземпляры. Разные дорогостоящие учебники — Малинин и Буренин. Разные уники — физика Краевича и так далее.

Кроме пропажи, читатели вырывают особо нужные страницы. Выдергивают рисунки. Пишут на полях разную муру.

Все это, может, срывает культурное начинание. Все это, может, разрушает транспорт. Или не то что транспорт, а вообще не оправдывает своего назначения.

И, может быть, до того дошло, что читателя и писателя допущать до книг не приходится. Газета так и пишет, — дескать, сейчас очень много развелось книжных вредителей и жучков-читателей.

Чего делать на этом фронте — неизвестно. Или по рецептам книги выдавать? Или еще как.

Тут у нас мелькнула одна идея. Не знаем только, что Наркомпрос скажет. А идея вполне жизненная.

Это, как видите, читальное зало. И сидят читатели. И близко к книгам их не допущают. Книги

сами по себе, а читатели и писатели тоже сами по себе. А дают им бинокли и подзорные трубки, и через это они со стороны глядят в книги. И, таким образом, происходит массовое чтение.

Специальная боковая барышня страницы перелистывает.

Тут стоит охрана. Тут барьер. Чтоб народ не кидался.

Таким образом, за цельность книги можно поручиться.

Хотя является вопрос: как же бинокли? Не уперли бы эти дорогостоящие инструменты? Хотя в крайнем случае бинокли можно будет к столам привинчивать, а библиотеку оцеплять охраной.

Надо же на что-нибудь решиться. Жалко же.

Непорядки на земном шаре

Прежде всего коснемся слегка географии и астрономии. Тут, как видите, на рисунке смелой рукой художника нарисована наша Солнечная система. Среди которой наша планета Земля занимает, по мысли художника, далеко не последнее место.

Вот это в центре круглая штуковина и есть наша сознательная планета.

Вот в самой середине вы видите Москву, повыше и левее — наш славный Ленинград. Вон Балтийское море! Вон плещутся мутные воды Финского залива, в который, как известно, впадает река Фонтанка по распоряжению откомхоза.

Эта прославленная речка, на которой незыблемо стоит наш город Ленинград, воспета всеми поэтами.

Бессмертные строки неизвестного поэта (Пушкина?) вконец прославили эту бурную речку («Чижик, чижик, где ты был…»).

Мутные воды этой речки вдохновили также нашего меланхолического поэта Лермонтова. Помните?

И скучно и грустно,

И хотца, ребятишки, в Фонтанку нырнуть

В минуту душевной невзгоды.

И некому ручку пожать…

и т. д.

А жил бы поэт в нашу суровую эпоху, зашел бы на ту же Фонтанку, 57, в редакцию «Пушки» — и все было бы в порядке. И ручку бы ему пожали, и пару наиболее бодрых стишков напечатали бы по 30 коп. за строчку.

Одним словом, на этой столь прославленной речке и помещается наша редакция «Пушки». Небольшой такой двухэтажный особнячок. Там же принимается подписка. Очередь подписчиков порядочная. До Черного моря, как видите.

Теперь пойдем дальше.

Направо от Ленинграда расположен прелестный город Вятка. А рядом с ним притулился городишко Омутнинск.

Это — городок небольшой, но культурный. Есть почта и телеграф. И даже недавно выстроен санаторий для туберкулезных.

Слов нет, санаторий не построен по последним западным образцам. Он построен совсем

наоборот. Он, прямо скажем, построен на болоте. Он, можно сказать, родной братишка нашему Ленинграду. Ленинград построен на болоте — и этот санаторий тоже на болоте.

Кроме того, «Вятская правда» утверждает, что фасад этого прелестного здания глядит на север, а не на юг. Вот это плохо!

Вот построят, а после на нас взоры кидают, дескать, что мы скажем и какой научный совет дадим. А чего мы можем сказать? Единственно — планету надо повернуть так, чтоб южное солнце засияло на стенках фасада этого туберкулезного санатория. К сожалению, наша молодая наука и советская общественность не достигли еще такой высоты развития. И приходится мириться с грустной действительностью.

Вот чего, ребятишки. Дело прошлое. Туберкулезных вы действительно не посылайте в этот санаторий. А устройте, для примеру, диспансер для алкоголиков, если же алкоголики сопьются в этой грустной местности, то устройте в этом здании хотя бы Институт изучения мозга престарелых вятских строителей.

Засим позвольте пожать ваши ручки. И пожелать более приличного санатория.

Пустое дело

Знаете, в нашем доме маленькая неприятность случилась. Подкололи одного человечка.

А только надо отдать справедливость — все произошло очень культурно.

В другом, более мещанском доме началась бы перед этим фактом разная буза, драка, мордобой. Стали бы почем зря стекла выбивать, перила портить и так далее.

А тут тихо и смирно поругались два частника по семейному делу, и один другого немного подколол. И спасибо, у того были надеты, ввиду холодного времени, ватник, жилетка и три рубахи. А то так бы и помер в страшных мучениях.

Ну, ясное дело, вызвали скорую помощь. Милицию. Одного туда. Другого сюда. Рассовали. И на этом дело окончилось.

Хотя как сказать.

Начали жильцы высказывать свои первые впечатления насчет убийства — кому, дескать, теперича комната достанется. Дескать, частник Костя Пономарев, дай бог ему добра, арестован и тем самым, так сказать, очищает свою жилплощадь. Так вот — кому ее дать? Кандидатов

чересчур много. Все в нетерпении. И у некоторых стаж, может, с семнадцатого года.

А тут еще сам убитый начал встревать в это дело. Прислал фельдшера из больницы. И просит Костину комнату за ним оставить.

И мало того — вскоре сам появляется на нашем горизонте. Ему там в больнице подправили его дырку, и вот он снова заявляется, набравшись сил. И начинает предъявлять разные немыслимые требования. Дескать, кого подкололи, тому и комната. Дескать, такой декрет есть.

Председатель товарищества говорит:

— Я извиняюсь, хотя такого декрета определенно нету и это есть чистая демагогия, но, — говорит, — надо войти в положение потерпевшего объекта. Тем более он, сукин сын, проживает на кухне и дышит разным вредным перегаром, и все-таки его подкололи, а не другого.

А тот, холера, нарочно ходит сгорбленно, охает и все время берется ручкой за свое подколотое место, дескать, он чересчур страдает.

Ну, жильцы вроде как отступились. Потому видят — убитый совершенно осатанел и своего добра не выпустит.

Ну, махнули рукой. Дескать, пущай владеет. Пес с ним! Его счастье!

Хотя как сказать. Счастье оказалось не горазд крупное. Косте Пономареву дали всего полгода.

А очень убитый через это расстраивался. То есть жалко было на него глядеть. Даже другие кандидаты начали его успокаивать:

— Да вы, — говорят, — особенно не горюйте, молодой человек. Не убивайтесь так. Вы рассудите, ну за что ему больше дать? Что он — деньги растратил или по морде вам дал при исполнении служебных обязанностей?

Убитый говорит:

— Да, это верно. Я понимаю. Дело пустое. А только я так думаю, что полгода мне маловато. Мне это только-только обжиться в его комнате.

Ему говорят:

— Ну, может, он вернется и еще раз вас подколет. Может, он увидит, что вы в его комнате проживаете, и угробит вас. Может, ему тогда крупней дадут. Может, ему года полтора дадут?

Убитый говорит:

— Нету, братцы. Я вижу, что меня зря подкололи. Ну, хорошо, Костя через полгода вернется. А нуте, он на днях вернется? Нуте, он скорей всего попадет под амнистию и завтра явится? А я, значит, так и жди его?

Так убитый и не переехал в Костину комнату.

И, пожалуй, хорошо сделал.

Клад

Тут одна ленинградская дамочка вкапалась в довольно поганую историю.

Главное, нехорошо, что она за собой еще одного человечка потянула. Одного водника.

Только его обвинять не надо. Он определенно вкапался благодаря мелкобуржуазному окружению. Его, может, подбили на это дело. Эта самая дама, может, сама за ним сбегала. А он, может быть, шел и упирался.

А сидит раз однажды эта самая дама у себя на квартире. Она жила в бывшей генеральской квартире. Бывшего генерала Лебедева. Она там комнату имела. На солнечной стороне. Бельэтаж. Парадный вход. И все на свете. Даже ей было поставлено мягкое кресло при разделе бывшего имущества генерала Лебедева.

Так живет она в этой квартире. И все у ней есть. И не капает в нее, и не дует. А ей все мало и мало. Она еще, видите, клад нашла.

А сидит она раз однажды в этой своей квартире. В этом самом кресле. Думает, наверное, какие-нибудь свои жульнические мысли и вдруг видит — перед ней стена. Другими словами — обык-

новенная стенка в бывшей квартире генерала Лебедева.

И глядит она на эту стенку своими погаными глазами. И видит, будто в стенке какая-то неловкость. Или, я так скажу, выпуклость какая-то четырехугольная.

Или она сразу подумала, что это денежный ящик. Или ей мелькнула идея, будто генерал замазал в стенку свои разные ценности перед тем, как драпануть за границу. Одним словом, неизвестно, что она подумала.

Только вскочила она на свои жидкие ноги. Начала руками хвататься за стенку. Начала обойки отрывать.

Только видит — ей не можно своими дамскими руками капитальную стенку разобрать. И тогда она бежит крупной рысью до своего знакомого Головкина.

Бежит она, эта типичная выразительница мелкобуржуазной стихии, до своего знакомого, пролетария Григория Ефимовича Головкина. Говорит ему разные мелкобуржуазные слова. И тянет его до своей квартиры.

Приходят они в ее квартиру и производят осмотр.

Товарищ Головкин говорит:

— Вот чего. Без сомнения, чего-то там есть. Я еще не знаю чего, но чего-то, одним словом, есть. Тем более кирпич лежит не так, как ему следует лежать.

И тогда они оба-два кидаются на стенку. Срезают обои. Колупают известку. Дорываются до народных кирпичей. И вынимают эти кирпичи.

Вынимают они по кусочкам кирпичи и видят: ничего нету. То есть абсолютно, совершенно ничего нету, кроме небольшого оседания капитальной стенки. И через это кирпичи лежат несколько боком и навевают разные мысли и грезы.

Тогда они начали поскорей обратно кирпичи всовывать. А только это у них очень безобразно получилось. Так что это дело невозможно было скрыть. Тем более ихний сосед услыхал суетню и тоже, не будь дурак, начал рыться в стене со стороны своей комнаты. И тоже дорылся до самых кирпичей.

Так что произошла форменная огласка делу.

А очень их троих крыл уполномоченный. И даже, как будто бы, теперь хочет передать в суд за жульнические мысли и за порчу государственного имущества.

Так что, собственно говоря, это дело еще не

закончилось.

И хотя дело не закончилось, тем не менее наша молодая общественность может предъявить свои права.

Позвольте, скажут, а чего, собственно, автор хотел сказать этим художественным произведением?

Чего он хотел выяснить?

И, может быть, вообще — автор нытик и сукин сын?

Дозвольте тогда объясниться. Тут просто-напросто рассказан небольшой фактик с нашей ленинградской жизни.

И в крайнем случае под этот фактик можно подвести базу. Дескать, мелкобуржуазная стихия зашевелилась. Копает стену. Ищет клад. И тем самым хочет поправить свои пошатнувшиеся делишки.

Теперь все получилось в порядке дня.

Извините за беспокойство.

Не забавно

Конечно, город Минусинск — это вам не Москва.

Это в Москве бывает все быстро, спешно и в ударном порядке. А тут, так сказать, наоборот и совсем напротив. Тут течение жизни медленное. Все идет с прохладцей. Никто зря на дело не кидается. А если чего и делают, то подумавши несколько дней. Иначе, наверное, сибирский суровый климат не дозволяет.

А произошел в этом самом Минусинске такой драматический эпизод.

Уперли деньги у одного товарища. Одним словом, свистнули какую-то сумму у одного физкультурника из «Динамо».

Как именно и при каких обстоятельствах произошел этот кошмарный случай — мы не знаем. Газета «Власть труда» не сообщает этих подробностей. А мы сами не можем на таком расстоянии угадывать.

Мы только знаем, что потерпевший был вполне симпатичный гражданин. И что днем у него еще шуршали эти деньги в кармане. А к вечеру и шуршать перестали — уперли.

И хотя очень расстроился наш потерпевший гражданин, однако присутствия духа не потерял.

Он тотчас смотался в адмотдел, поднял там тревогу и объяснил, сколько у него денег уперли и кто именно упер.

Он подозревал одного человечка.

В отделе говорят:

— Это, — говорят, — хорошо, что вы подозрение имеете на определенное лицо. Это очень помогает расследованию. Главное — мы теперь знаем, у кого ваши деньги искать. Мы небольшой обыск произведем, и ваше лицо, как пить дать, засыпется. Считайте свои деньги обратно в кармане.

Очень все порадовались этим словам и со спокойной душой разошлись по домам.

И снова в городе потекла жизнь тихая и спокойная. Днем снежок сыпется. Ночью луна сияет на небосводе. Одну ночь луна сияет. Потом вторую ночь сияет. Третью ночь сияет.

И вот в эту третью ночь адмотдел, обдумавши все до тонкости, пошел делать обыск у несчастного гражданина, на которого пало тяжелое подозрение.

Конечно, в Москве или в Ленинграде сделали бы этот обыск немного побыстрей. Ну, в тот же день вечером. Или на другой день. Но для про-

винции и это — достижение.

Газета подтверждает наши мысли:

«Вместо того чтобы обыск у этого гражданина сделать в тот же вечер, адмотдел соизволил прийти с обыском через два дня. Ясно, что ничего обнаружить не удалось».

Дело, так сказать, закончилось к общему благополучию, и снова жизнь в городе потекла ровно и без перебоев. У потерпевшего снова небось завелись деньжата. А который спер, тот небось уже поистратился. И снова небось обдумывает свои мелкие делишки.

Сыпется снежок в Минусинске. Температура — минус восемнадцать.

Неинтересный климат!

Все в порядке

Вот говорят — спецеедство. Спецов, дескать, заедают. Дескать, им дыхнуть не дают. Это — грубые слова, и ничего больше.

Вон в Славянске специально для них дом отгрохали. Специально для инженеров. Пущай живут. Пущай не страдают. Пущай работают.

Теперь является вопрос — кто этот дом производил? Кто его строил? Надо полагать — его строили сами товарищи инженеры. Какие-нибудь, наверное, гражданские инженеры с высшим образованием. Хотя если на дом со стороны поглядеть, то высшего образования не можно увидеть. Потому небольшой изъян в глаза бросается.

Нам в Славянске не приходилось бывать. Так сказать, выражаясь старым языком, Господь Бог оберег нас от этого грустного путешествия. И в силу этого нам не пришлось полюбоваться на инженерский домик. Но «Рабочая газета» пишет:

«На Харьковской улице построен дом для инженеров. Но выдвинули его на целую сажень на тротуар, поэтому дом придется перестраивать».

Первоначально у нас мелькнула идея — в

Славянске гнойник открылся. И появились вредители. Потом видим — нет. Домишко построен для себя. Так что подозрения излишни.

И потом, в чем дело? Чего такое значит одна сажень в общем государственном строительстве? Если бы они домик поперек улицы поставили, тогда действительно трудновато пришлось бы пешеходам и гражданам.

А так — в чем дело? Маленько небрежно выдвинули вперед, а уж кругом недовольны. Перестраивать велят.

Зачем перестраивать? Пущай так живут. Небось самим будет противно.

Не надо обижать славянских инженеров. Они сами себя обидели.

Не дают развернуться

Вот довольно странное психологическое явление. Скажем, за прилавком всегда обязательно мужчина работает, а за кассой определенно женщина.

И почему такое? Почему за кассой женщина? Что за странное явление природы?

Или наш брат мужик не может равнодушно глядеть на вращение денег около себя? Или он запивает от постоянного морального воздействия и денежного звона? Или еще есть какие-нибудь причины? Но только очень изредка можно увидеть нашего брата за этим деликатным денежным делом. И то это будет по большей части старый субъект вроде бабы с осоловевшими глазами и с тонким голосом.

Между прочим, на этой почве разыгралась трагедия в станице Бабинская. Это где-то у них на Кубани.

А был в этой станице универсальный кооператив «Пролетарский путь». Кстати сказать, очень отличный кооператив.

В других станичных кооперативах один и тот же работник одной ручкой деньги принимает,

в другую ручку сморкается, а после за колбасу берется. А тут как в Европе. Даром, что не очень громадная станица, а дело поставлено шикарно.

Один колбасу стрижет. Другой, я извиняюсь, в винном отделе. А за кассой, не угодно ли, кассирша ручку вертит за те же деньги. Скажите, какие европейские данные!

Да еще заведывающий в придачу.

Заведывающий, так сказать, лакирует все их-нее дело. Он надзирает, чтоб все было без сучка без задоринки. И слов нет, дело шло чересчур аккуратно. Никто не обижался. Только были обиды со стороны кассирш. Их за короткую зиму троих сменили.

Их заведывающий отставлял. Поработает барышня месяц, и ее обратно отсылают. Мол, не соответствует своему назначению.

Были, конечно, через это дамские слезы, оскорбления и разные слова, но дело не изменялось.

И оно не могло измениться. Тем более заведывающий имел на этот счет свою твердую психологию. Он иной раз говорил промежду своих ребят:

— Хотя бы, — говорит, — один раз нам мужчину прислали, а то все бабы да бабы. Прямо, — говорит, — у меня коломитно на душе становится.

Работники прилавка говорят:

— Да уж это как есть. При бабе после трудового дня и поругаться немыслимо, и вообще нету такой душевной спайки.

Заведывающий говорит:

— Вот именно. Совершенно то есть неудобно. Может, я хочу после трудового дня при подсчете товара не иметь на себе лишней одежды. Или, может быть, я хочу выругаться. Почем кто знает, чего я хочу. Я только знаю, что баба, хотя бы она и кассирша, совершенно меня стесняет и не дает мне творчески развернуться. Пущай бы нам мужика прислали. Мы бы с ним живо спелись.

Ну и, конечно, за зиму при таких обстоятельствах сменили трех кассирш.

Значит, снимут и ждут: вот, даст бог, из своего лагеря пришлют — кассира.

А отдел труда (или, я не знаю, откуда кассирш засылают), так отдел все барышень и барышень шлет.

И неизвестно, как долго продолжалась бы эта конвейерная система из барышень, если б не один случай.

А месяц тому назад уволили одного работника прилавка. Вот он обозлился и размотал все дело.

А заведывающий, милый человек, на допросе

так сказал:

— Действительно, я троих уволил. Только я сам щадил ихнюю наивность. У меня фронтовая привычка ругаться. Когда публика, я ругаюсь мало. Но в конце дня я нервничаю и не могу сдержаться. А меня кассирша смущает. Я сознаю, что поступил неправильно, но я не хотел молодых женщин подвергать оскорблению.

Газета «Знамя труда» сообщает, что на заведывающего С Дошевца наложено дисциплинарное взыскание.

Наверное, он теперь ругается дома.

Бессонница

Очень в Одессе любопытное, показательное дело произошло.

А главное — оно очень принципиальное. Тем более голоса разделились. Одни говорят: это издевательство. Другие говорят: что вы, что вы!

А мы тоже ничего издевательского не видим. Можно сказать — все в полном порядке.

А речь идет, я говорю, про Одессу. Про одесскую милицию. Там сам начальник гормилиции немного подзашился. Ему перед самой чисткой обвинение кинули, — мол, сползает с классовой линии.

Что так? Почему такое? Парень выдающийся, боевой. Зачем ему сползать с линии?

— А как же, — говорят, — он издевается над младшим составом. Он их на карточку снимает, а после издевается.

— Что вы говорите! Не может того быть! Неужели на карточку снимает?

— Да, — говорят, — определенно.

А дело такое.

Может, знаете, такой порядок — некоторые начальники имеют обыкновение ловить с по-

личным. Ну, заснет часовой или постовой, а его и накроют. Винтовку отберут или шапку снимут. А после к ответу тянут.

Дело, безусловно, обыкновенное. Надо дисциплину соблюдать и не дрыхнуть без задних ног на ответственных постах.

Хотя надо сказать — такая ловля спящих мало действительна.

Другие такие нахальные попадаются — отопрутся, и всё.

— Я, — говорит, — и не спал. Я, — говорит, — только прищурил глазки, а этот ренегат, может, нажрался жирной пищи и налетает — шапку сразу сымает с головы… У них стрелочники завсегда виноваты.

Так что такая ловля, я говорю, не так уж достигает цели.

А очень выдающийся способ изобрел начальник одесской гормилиции. Он ходит с аппаратом и чуть что — на карточку сымает. Такой у него фотоаппаратик девять на двенадцать.

Вот он с ним и ходит. Заметит какой-либо беспорядок и сымает моментально или с небольшой выдержкой.

Сымет, например, на карточку спящую милицию, проявит, отпечатает и после в стенную

газету вклеивает. Позор!

Главное — и отвертеться нельзя. Улики, можно сказать, налицо. Сам сидишь, сам спишь, и морда твоя виднеется со всеми подробностями: там, скажем, глазки закрыты, изо рта пузыри вылетают. Одним словом, наглядная панорама.

А очень это фотографическое дело обернулось в неожиданную сторону.

Перед самой чисткой начальника гормилиции со своим аппаратом пришили к делу.

— Так что, — говорят, — помилуйте, это форменное издевательство. Немного задремлешь, а тебя уж на карточку чикают. Прямо всякий сон пропадает и аппетит теряется. И бессонница наступает.

Ну, поднялась целая история и тарарам.

Тройка встряла в это дело.

— Да, — говорят, — издевательство налицо. Поставить на сегодняшний день под сомнение его классовую личность и наложить взыскание.

Но тут, спасибо, чистка подошла.

Ну, и, конечно, никакого издевательства не нашли.

Так что можно в крайнем случае снова заняться фотографией.

Вот только жаль — аппаратов в продаже нету.

Не делают. А пора бы небольшой заводик открыть. Чтобы было чем снимать дремлющую публику. Тем более таковой на сегодняшний день весьма порядочно.

Лошадиная история

Это было в городе Сарапуле. Я так, конечно, думаю, что в Сарапуле. Потому что это событие описано в сарапульской газете «Красное Прикамье» (№ 287). И надо полагать, что газета описывает свои собственные уездные происшествия и делишки, а не наши, ленинградские.

Так вот, в городе Сарапуле произошла раз однажды крупная лотерея с разрешения начальства.

Были указаны разные заманчивые выигрыши. И среди них был объявлен самый главный, знаменитый выигрыш — живая лошадь с упряжкой. А которые не захотят лошадь, тем пятьсот монет чистоганом. Так было в афише указано.

И вот поперло счастье одному рабочему пролетарию. Взял он всего один билет и выиграл эту самую лошадь.

Ну, ясное дело, обрадовался.

«Лошаденка, — думает, — мне, конечно, не требуется. Я на ней ездить не приучен. А дай, — думает, — заместо этой лошадки приму деньги».

Начал он требовать свои пречистые пятьсот рублей — не дают.

— Так что, — говорят, — извиняемся, денег мы

не дадим, а лошадь в крайнем случае, если хотите — берите. Только, — говорят, — приплатите нам сто восемь рублей за ее харчи.

Конечное дело, выигравший расстроился.

— За что же, — говорит, — помилуйте, сто восемь рублей?

— То есть, — говорят, — как за что? Лошадь-то мы кормили ай нет?

— Ну, — говорит, — кормили.

— А раз, — говорят, — кормили, то, — говорят, — деньги тратили. И, значит, платите сто восемь рублей и уносите скорее своего коня, а то он стоит не жравши с момента выигрыша.

Счастливый рабочий говорит:

— Братцы, да, может, вся ваша лошадь вместе со своим хвостом стоит сто шесть рублей. Как же так? Я же выиграл, я же еще и докладывать два рубля должен? Войдите, — говорит, — в положение выигравшего человека.

Ему говорят:

— Ты, — говорят, — выиграл, а не мы. Ты, — говорят, — и разбирайся в вопросах. А только ты нас должен крайне благодарить, что мы своевременно кормили твоего коня. Нуте, вообрази — мы бы его не кормили! Он бы взял и подох или стоял бы при смерти. Чего бы тогда выиграл? Ну, разве тебе

приятно мертвое лошадиное тело выигрывать?

— Да, — говорит, — действительно неприятно.

— А раз, — говорят, — так, то о чем речь?

Ну, тут, конечно, они еще поторговались и сошлись на пятидесяти рублях.

Счастливый рабочий заплатил деньги и увел своего коня.

Что он теперь с ним делает — неизвестно.

А конь, — говорят, — уже нажрал рублей на двести.

Бывают в жизни огорчения!

Между прочим, главное огорчение выпало заведующему товарищу Гришину. Его пришили к делу.

А конь все жрет и жрет и ничем больше не интересуется.

Дни нашей жизни

1. Оазисы

Некоторые интеллигенты обижаются — будто культура у нас медленно шагает. Ничего подобного.

Культура шагает довольно шибко.

Давеча в газетах промелькнуло радостное сообщение с культурного фронта — оазисы в Москве будут.

Газета пишет:

«В МКХ поступило предложение Свердловского университета устроить на некоторых московских скверах биологические оазисы».

Другими словами, в общественных садах и скверах будут устроены специальные тенистые площадки для зверюшек. Там будут находиться разные птички, змейки, растения. Вообще для ознакомления гуляющей публики.

Эту идейку надо поскорей воплотить в жизнь. Оазисов нам сильно не хватает. Все у нас есть. А вот оазисов еще нету. И бульвары есть. И скверы есть. И публика есть. А в оазисах ощущается

сильная нехватка. Можно сказать — кризис на оазисы.

Поскорей, братцы, старайтесь насчет этого. А то живем, как на вулкане, — никаких оазисов.

А славно будет, когда эти самые оазисы раскинутся по нашим скверам. Зверюшкам, главное, раздолье будет. Оно действительно, народу податься будет некуда. Тесновато придется, ежели, скажем, в скверах оазисы. Но ради науки потесниться можно.

Скорей, братцы! Не терпится.

2. Хорошие перспективы

Недавно еще наши бедные крестьяне-мужички волком выли. Дороги, дескать, плохие. Не проехать.

В настоящий момент этот передовой вопрос культурной революции понемножку разрешается.

Недавно газеты отметили выдающее изобретение — велосипед. Приделывается к этому велосипеду особая штуковина, после чего этот велосипед самосильно может идтить по рельсам, не уступая в скорости железнодорожному стрелочнику.

То же и насчет трактора. «Красная газета» ра-

достно сообщает:

«В комитет по делам изобретений представлено приспособление к трактору для движения его по железнодорожному пути».

Этак пойдет — вскоре и крестьянскую телегу можно будет твердо поставить на рельсы. Оно, конечно, поездам деваться будет некуда. Да, собственно, и черт с ними. В крайнем случае им можно будет проложить какую-нибудь паршивую одноколейку. Или вообще отменить, раз такие чудные горизонты открываются.

Вообще честь имеем вас поздравить!

3. Навряд ли!

За границей каждый день чего-нибудь новенькое придумывают. Вот черти-то! Давеча, не угодно ли, газеты сообщают:

«За границей появились автомобили с особым граммофонным аппаратом — усилителем. При нажатии кнопки аппарат выкрикивает: “Берегись! Дорогу! Внимание!”»

Это культурное изобретение навряд ли привьется на нашей родимой почве. У нас, может, граммофонных иголок не окажется. Или граммо-

фоны подорожают. Или суровый климат быстро испортит нежные музыкальные инструменты.

Нет, навряд ли у нас это привьется.

Да и автомобилей у нас мало. Разве что извозчикам. Хотя и извозчики навряд ли удовлетворятся этими короткими, сухими выкриками: «Берегись!» и «Внимание!».

Одним словом, если у нас привьется, то этих выкриков будет недостаточно. Придется наигрывать специальные пластинки: «Внимание! Чего рот разинул, черт косой!», или: «Берегись, задавлю, сукин сын!», или: «Вот я тебя сейчас кнутом по морде!»

Хотя и на этой почве могут разыграться неприятности. Малограмотный извозчик станет нажимать не те кнопки, и тогда черт знает что получится.

Вместо «Сейчас подаю» извозчик будет выкрикивать: «Вот я тебе сейчас кнутом по морде».

Милиционер будет кричать по ошибке: «Эй, ты, внимание! Чего рот разинул, черт косой!»

Одним словом, может произойти куча неприятностей. Публика будет пугаться извозчиков. Милиция начнет самосильно штрафовать. Извозчики вымрут. И тогда придется ездить на своем одиннадцатом номере.

Только навряд ли все это у нас привьется. Это чистая фантастика!

4. Третий способ

В газетах то и дело читаем: то здесь бронзовый памятник сперли, то там чугунную решетку уволокли.

Больше всего достается Волкову кладбищу.

Действительно, на этом знаменитом кладбище есть чем поживиться. Там, знаете, как раз собраны наиболее выдающиеся могилы. Там захоронены разные важные писатели, доктора, фельдшера. И каждому поставлен какой-нибудь дорогой памятник или крестик. Или венок висит. Или фарфоровая лампадочка торчит. Только подходи и бери.

И вот подходят и расхищают это дорогостоящее народное достояние.

Вот не очень давно воры цельный бронзовый бюст, кажется что Гончарову, уволокли. Обидно же! Может, Гончаров от этих фактов в гробу поворачивается.

Но этому злу положен предел.

Недавно откомхоз сделал смелый и решительный шаг в этом направлении.

«Красная газета» пишет черным по серому:

«Откомхоз решил снять бюсты и памятники с могил писателей и общественных деятелей на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Одновременно откомхоз усиливает охрану Литераторских мостков».

Мера действительно могущественная. Снять памятники и усилить охрану. С одной стороны, оно как будто бы и охранять нечего, ежели памятники и бюсты сняты. Но если подумать глубже, то получается как-то солидно, по-европейски.

А то есть еще второстепенные способы:

1. Усилить охрану и памятников не снимать.

2. Снять памятники и охрану не усилять.

Но ежели откомхоз придумал третий способ, то, значит, ему видней. Мы его смелых начинаний не хотим разрушать.

А вообще говоря, довольно странно: снять памятники и охранять пустое место. Впрочем, как хотите. Ну вас!

5. Смехота

Это, товарищи, происходило недавно. На одном славном хлебозаводе.

Пострадавшим героем дня является товарищ Григорьев. Один из его приятелей довольно ку-

рьезно подшутил над ним — поковырнул его в чан с хлебной опарой. Смехота, ей-богу!

Этот Григорьев, чудак такой, остановился, знаете, около самого чана. И стоит. Про что-то серьезное думает. Может, про членский взнос.

А его приятель возьми и пихни его в тесто.

Что было!

Григорьев, значит, орет, чертыхается. А тесто жидкое. Сами понимаете. Хлеб у нас зачастую жидкий — шамать неохота. А то вдруг тесто. Совершенно то есть жидкое. В рот набегает. Нос закладывает. Уши залепляет.

Пострадавший товарищ, конечно, орет, руками за чан цепляется, хочет, одним словом, вылезти.

Тут, конечно, подоспели другие, более сознательные хлебопеки. Вытащили своего товарища.

А он стоит грустный. И видеть не может — глаза тестом залеплены. И аппетита никакого нету — нажрался опары.

Некоторые хлебопеки начали, конечно, говорить: дескать, нехорошо после этого случая это тесто запекать и вообще хлеб из него делать. Потому все-таки противно. Все-таки в нем человек с ногами некоторое время находился. И хотя он член союза и Максим Горький тоже был одно время хлебопеком и все такое, но некультурно.

Все-таки не изюм. Сапоги там. Нос. Усы. И так далее.

Другие говорят:

— Ежели, для примеру, сапоги не остались в опаре, то запекать можно.

Пострадавший говорит:

— Сапоги, кажись, тут.

Взяли тогда тесто и запекли.

Теперича «Ленинградская правда» пишет: дескать, в связи с этим троих под суд отдали. Одного за то, что человека в тесто поковырнул. А двоих — за то, что хлеб велели печь из этой опары.

Одного-то за дело. А двоих как будто бы зря. Хлеб, — говорят, — был довольно аппетитный. Прямо не узнаешь, что человек в нем купался.

6. И скучно и грустно

Все время приходится читать прискорбные известия со стихийного фронта.

То там наводнение, то извержение вулкана, то дождик идет.

Недавно в Америке громадный мостище наводнением разрушило. Шесть человек погибло. Вот жалость-то!

А на той неделе на Филиппинских островах — извержение вулкана.

Вон что в природе делается!

До нас тоже вот эта стихийная волна докатилась. Дождик в этом месяце довольно нужное строительство смыл. Псковскую гидростанцию. В городе Острове.

Конечно, дождик не сильный был. Этого нельзя сказать. Но все-таки шел дождик. Накрапывал.

Газеты отметили эту стихийную катастрофу:

«Прошедшие недавно дожди смыли Островскую гидростанцию. Это скандальное строительство стоило около 200 000 рублей».

Глядите, пожалуйста, что делается. В Америке ураган. На Филиппинах — извержение. А в Острове — дождик.

А там, глядишь, в Ленинграде ветерок подует — наделает делов.

Что в природе делается!

Может, пятна на солнце играют такую роль?

А любопытно, как это в Острове — одну гидростанцию смыло или вместе со строителями?

Как говорится, и скучно и грустно, и редко кому руку можно пожать. В минуту душевной невзгоды.

7. Трамвай дыбом

Дозвольте поделиться счастливой новостью: за границей недавно удумали «прыгающие автомобили». Это французы расстарались. Все газеты об этом трубят.

То есть идет, представьте себе, автомобиль, вдруг перед ним препятствие — тумба или девочка трех лет. Или вообще собачка. Нажимается рычаг, и машина грациозно подпрыгивает. И затем дальше прет.

Надо отдать справедливость — это здорово! Хотя это изобретение нам как корове седло. Автомобилей у нас мало. Препятствий, опять же, много. Так что нам прыгать не требуется. Нам летать надо в крайнем случае. А лучше бы заграничные спекулянты придумали прыгающие трамваи. У нас трамваи — главное зло. Ежедневно по двадцать персон давят. В одном Ленинграде. Вот чего изобретать надо!

Мы даже не гонимся за красотой. Нам надо такой трамвай, чтоб он, сукин сын, на дыбы вставал, если препятствие. Собачка. Или девочка трех лет. Или тумба, или похоронная процессия.

А прыгать нам не надо.

Вот чего надо изобретать! А то прыгающие

автомобили! Подумаешь! Осчастливили! Что мы, свою скорую помощь, что ли, заставим прыгать? Нету у нас лишних автомобилей. А ежели частники, то они могут безвозвратно рухнуть, ежели их прыгать заставить. Понимать надо!

Так что думайте насчет трамваев. А с машинами не морочьте нам головы. Мы — люди занятые.

8. О чем только раньше думали!

Последнее время много споров происходит насчет жилплощади. Не хватает у нас этой площади — прямо хоть строй новые дома. Ей-богу, честное слово, до того дошло!

Недавно тоже в газете промелькнули довольно бодрые строчки — как разрешить острый кризис. Один парнишка догадался — пишет между прочим:

«Много еще в Ленинграде дворцов с огромными окнами, с высокими потолками, с золотыми статуями и художественными карнизами, которые пригодились бы учреждениям. А учрежденческие квартиры нужно превратить в рабочую обитель».

Какого черта, в самом деле! Дворцы стоят.

Карнизы все еще висят. Какие-то музеи в этих дворцах напиханы, клубы. А учреждениям и податься некуда.

Пущай, действительно, наши учреждения перемахнули бы туда. А мы бы расположились на ихней площади. И все бы пошло по-хорошему.

В бывшем Зимнем дворце открыли бы, действительно, отделение Азрыбы. Благо недавно дворец отремонтировали.

В какой-нибудь Екатерининский дворец перевести бы контору Госречпароходства.

Вот тут бы статуи и карнизы пригодились бы в лучшем виде.

Что касается нас, то редакции «Пушки» не худо бы отвести Эрмитаж, что ли. На большее, конечно, мы не рассчитываем, а вот Эрмитаж в аккурат бы нам подошел. Хватило бы площади. А то ютимся где-то на Фонтанке, 57, и там который год делаем свое геройское дело — выпущаем «Пушку».

Итак, кризис разрешен. О чем раньше думали?

9. Раздевают

До того, знаете, дошло, что скоро в театр ходить будет нельзя. Потому невозможно получается. Уж очень бестии гардеробщики жару напустили.

Эти, знаете, которые в театре раздевают.

Им, скажем, даешь пятачок за свое пальтецо, а они морду воротят. Мало, говорят.

То есть как это мало, когда само пальтецо, может, шесть гривен стоит с воротником. А им мало!

Ну, конечно, которые более арапистые зрители — те действительно норовят копейки две сунуть. Это, конечно, маловато. Но копеек десять или пятнадцать — это божеская цена.

А газеты пишут, что эти гардеробщики совершенно озверели и грубо требуют со зрителя надбавку. Причем, знаете, не считаются с установленной таксой.

Вот где самое театральное зло! А вы говорите — репертуара нету. И что Мейерхольд в отпуск уехал. А самый главный момент промигали.

10. Мысли театрала

Последнее время зритель пошел какой-то нервный. Я так скажу: особо чувствительный. Жалуется. Дескать, в театрах сидеть не можно — блохи жрут.

Еще чего! То репертуара нету, то Мейерхольд уехал, а теперь обратно не слава богу — блохи тревожат.

Скажите на милость, какая непоправимая история — блоха укусила! А дома тебя не кусают? А в кино, я извиняюсь, не кусают? А в трамвае не кусают?

Ну почеши. Зачем же такие слова произносить: не можно в театре сидеть.

Это верно, в театрах каждый укус получается особо чувствительный. Тут, представьте, музыка играет. Кругом чисто, интеллигентно. Рядом какая-нибудь дамочка сидит. Тут у ней ручка. Тут у ней носик. А тут, я извиняюсь, блоха ногу сосет. Я так понимаю: расстегнуться неудобно, и антракта ждать мало интереса, и почесаться вроде как неловко.

А промежду прочим, это дело поправимое. Пущай дирекция театров привешивает на ручку каждого кресла индивидуальный пакет с порцией блошиного порошка.

Или пущай капельдинеры отпущают порошок вместе с биноклем. Как-нибудь надо действовать. Не губить же театральное дело.

11. Музыкальный антракт

Нынче кругом споры идут — чего рабочим требуется: какие жилища, какие костюмы, сапоги какие.

А последнее время все больше насчет музыки спорят. Дескать, какая музыка требуется рабочему народу.

Одним словом, музыкальные критики чуть между собой не разодрались на этой музыкальной платформе.

Одни говорят: симфонический оркестр рабочим не годится. Рабочий человек любит, чтоб гремело. Тихую струнную музыку рабочий не обожает. А дайте вы ему ради бога за его деньги духовой оркестр заместо струнного.

Другие говорят: духовой оркестр хотя действительно и гремит, но тихого душевного переживания рабочему не дает. А дайте вы рабочему человеку заместо глупого духового оркестра чего-нибудь живое, например гармонь.

Третьи доказывают, дескать, гармонь вызывает у рабочего человека лишние душевные переживания, благодаря которым его, может, тянет на выпивку. А наилучше всего действует на него народный трехструнный инструмент. Тут уж рабочему есть что послушать.

Обождите, товарищи музыкальные переплетчики! Разрешите прервать вашу острую дискуссию. А то, чего доброго, договоритесь, мол, наилучший музыкальный инструмент для рабо-

чего слуха — заводской гудок.

А заместо тяжелых споров давайте всего понемножку.

12. Строгий Губпродком

Газета «Терек» с грустью сообщает своим читателям суконным слогом о том, что:

«Губпродком настаивает, чтобы редакция «Терека» воздержалась от печатания материала без предварительного принципиального согласования этих материалов со взглядами Губпродкома о тех или иных результатах продработы, а также и ее перспективах».

Другими словами, эта фраза звучит так: «Эй, вы, черти драповые! Не моги писать, чего нам не ндравится!»

И это, товарищи, на шестой год революции! Обидный взгляд у Губпродкома на советскую прессу.

13. Хозяйственный расчет

В одной московской чайной висит на стене объявление:

«При полпорции НЕ разуваться».

Правильно! А то придет какой-нибудь шаромыжник, потребует полпорции, разуется, портянки, собачий нос, на стульях развесит. Глядишь, настоящему посетителю, взявшему три порции, негде и портянки повесить.

Правильно. Тонкая это вещь — хозяйственный расчет.

14. Барин

Лесники Городнянского лесничества Черниговской губернии хотят в свой союз жаловаться на лесника Белентьева. До последней точки дошло. Лескор К. О. пишет:

«Наш лесничий Белентьев очень любит, чтобы лесники отдавали ему честь.

В лесу он часто принимает рапорта от лесников. И если лесник подойдет к лесничему, не приложив руки к козырьку, — раздается команда:

— Сто шагов назад! Подходи вновь».

Гляди, братцы, какая несправедливость наблюдается в жизни. Хотел бы, например, человек при крепостном праве жить, а живет при советском правительстве. Хотел бы человек собственных холуев иметь, а он сам холуй. Такие бывают несправедливости!

Один день

Вот некоторые думают, что я — меланхолик. У меня, — говорят, — лицо какое-то такое меланхоличное. И взор вбок смотрит.

Что я меланхолик, то это глубоко неверные слова. А вот морда у меня действительно грустноватая. Давайте постараюсь объяснить, отчего это произошло.

Началось, конечно, с пустяков.

В прошлом году летом я шел по улице и думал о нашей жизни. И вдруг со всего маху зацепил лицом за навес. Такие, знаете, бывают парусиновые навесы у магазинов.

Так вот об такой навес я и ударяюсь. Ударяюсь я об такой навес и думаю: до чего у нас на людей мало внимания обращают. Ну спусти навес так, чтобы средний человек мог свободно пройти. Так нет — спустят как придется и плюют на публику.

Или, например, вчера. Вчера у меня был выходной день. Дозвольте по порядку рассказать об этом дне. Только об одном дне.

Вот лежу утром в кровати. Думаю, насколько прекрасно проведу сегодня день.

Сейчас, думаю, встану, пойду прогуляюсь по на-

бережной, как барон, подышу невским ароматом, после подзаправлюсь в столовой. После побегаю на коньках. А вечерком в кино схожу. И после засну сладким сном утомленного человека.

Вот такое мысленное расписание представил себе, вскочил на свои ножки, оделся и весело, без никакой меланхолии, спускаюсь во двор. Спускаюсь и от полноты жизни песни пою.

Дохожу до ворот, хочу пройти на улицу — нельзя. Под воротами яму роют во всю ширину.

Что такое? Зачем яма? Почему яма?

Так что, говорят, временный разрыв трубы. Постойте, советуют, у ворот либо погуляйте по двору. Не более как через час-полтора все обстряпают.

Гляжу — у ворот народ столпился человек по десять с обеих сторон. Ругаются…

Это, говорят, никакого внимания к людям! Ну оставьте хотя небольшой перешеек, небольшую тропочку для переходу, так нет — раскопали, черти, во всю ширину.

Я говорю:

— А вдруг, братцы, пожар?

Председатель жакта говорит:

— Вдруг только блох ловят! Вы вечно всякую дрянь увидите… А раз у меня лопнувши труба, то

мне, — говорит, — важнее ее заклепать, чем за жильцами ухаживать.

Минут через двадцать он говорит:

— Вот чего: которым мракобесам не терпится и которые стремятся поскорее на улицу выйти — айда на седьмой этаж, я сейчас ключи принесу и через клуб всю пачку выпущу.

Вскоре после того вышел я на улицу. Уж такой бодрости и беспечности нету.

Иду к набережной. Прохожу мимо нашей образцовой столовой, гляжу — уже очередь образовалась.

Дай, — думаю, — сначала неприятные вещи сделаю, а после легкие; сначала, — думаю, — лучше подзаправлюсь, а после на прогулку пущусь.

Через час подзаправился. Вышел на набережную. Гулять чего-то неохота. Дай, — думаю, — домой схожу. Погляжу, можно ли через ворота ходить. Если можно, возьму коньки и на каток смотаюсь.

Яму под воротами хотя не зарыли, но досточку положили. Взял свои новенькие коньки. Пошел на каток.

Прихожу на Инженерную улицу — перерыв до пяти часов. Иду на Таврический каток — закрыто по случаю хоккея. Бегу на третий — можно, до-

пускают, разрешают кататься.

Надеваю коньки. Встаю на лед. Не могу идти. Не скользят ноги. В чем дело? Или разучился. Или еще что…

Потрогал пальцем коньки (куплены на пр. Володарского, 51, Охотсоюз) — вон в чем дело: полозы до того шершавые, что никакого скольжения нельзя достичь.

Отвинтил коньки. Пошел домой. Морда уже грустная. А встречные небось думают: «Эвон меланхолик идет с коньками, даже спорт не действует на этого сукинова сына».

Отдал коньки в мастерскую починки.

Вечером пошел в кино. Начал глядеть драму. Вижу — чего-то знакомое показывают. Гляжу дальше — вижу, вертят какую-то муру, которую я уже в театре видел и в романе читал. Плюнул на свои любезные денежки и пошел домой вместе со своей грустной мордой.

Так что я и говорю: я очень даже жизнерадостный гражданин. Я очень люблю жизнь и людей. А вот жизнь и люди меня не любят. И не оказывают мне хотя бы самого маленького внимания. А пора бы.

На заводе
(Из записной книжки)

За последние два месяца я побывал на нескольких заводах с ударной бригадой писателей, и с «буксиром» «Красной газеты», и просто так, как любопытный.

Здесь я хочу напечатать кое-какие заметки из моей записной книжки. В этих заметках я ничего не придумал, и многое записано буквально.

Должен сказать, что я видел на заводе большую мужественную работу и настоящий труд, однако в этих заметках я буду касаться только лишь недостатков. У меня, как и у каждого юмориста, так устроено зрение, что я главным образом замечаю отрицательные явления, то есть те недочеты и упущения и те мелкие смешные и забавные черточки, которых, вероятно, другой человек и не увидит.

В силу этого заметки мои несколько односторонни, и я прошу читателя учесть это обстоятельство, прежде чем делать из этого материала какие-либо выводы.

1. Точка зрения

Мастер говорит на собрании:

— Считаю, товарищи, своим долгом информировать вас насчет труддисциплины. Со всей своей откровенностью я должен сказать, что труддисциплина у нас в цехе всецело расшатавши. Я сколько лет мастер. Я каждого рабочего понимаю. Но пущай же и меня рабочий понимает. Я скажу для примера: я хожу по цеху — рабочий курит. Я прохожу около него, он на меня ноль своего внимания. Он курит. Он сидит и курит. И меня он видеть не хочет. Он не встает и за работу не берется. Он не берется, товарищи, за работу при виде меня.

Голос с места: А ты хочешь, чтоб перед тобой дрожали? Старая закваска.

Мастер: Вы совершенно не те слова пущаете, товарищ. Мне не нужно дрожания. Я не нуждаюсь в вашей вытяжке. Но меня затрагивает другое. Меня то затрагивает, что он не вскакивает работать. Ну возьми какую-нибудь гаечку в руки. Ну верти чего-нибудь, если ты сознательный член профсоюза. Нет, он только курит. И меня он видеть не хочет. Это не есть труддисциплина, товарищи. От такого рабочего результат как от

моего пальца. Отсюда, я так понимаю, идут прогулы, халатное отношение и появляются разные другие явления.

2. Разговор

Формовщик объясняется с заведующим цехом:

— Товарищ заведующий, чего я вас попрошу — дайте пропуск за ворота.

— А что?

— Да я домой хочу идти…

— То есть как домой, когда рабочее время? Ты болен?

— Я не больной. Только я сейчас работать не умею. У меня сегодня нету настроения. Говорю это в интересах производства.

— Не могу пропуска дать. Вставай на работу.

— Я встать могу… Только в интересах же производства… Мое дело предупредить… У меня сегодня не на то мысли направлены. Я могу чего-нибудь не то сделать.

3. Грамматика хромает

Меня иногда упрекают за то, что я коверкаю язык, придумываю смешные словечки и беру слова в другом значении, чем они есть. Это неверно.

Я просто стараюсь более или менее правильно передать язык, который есть на самом деле.

Вот дословно записанная фраза. В столовой, кушая винегрет, рабочий рассказывает своему соседу:

— …Вдруг он подходит до мене и говорит: «Поделись хоть ты моим состраданьем. От этих делов выходит, что я один и есть сострадавший». Я ему говорю: «Видел, — говорю, — этих сострадавших. Раз тебе, — говорю, — сменили чин за хаотическое отношение к работе, то ты, — говорю, — вроде как и есть сам себе сострадавший».

Другая фраза.

Рабочий у станка упрекает товарища, выронившего из пальцев инструмент:

— Такое мягкое существо, как язык, и то, кажись, удержит от уронения.

Еще фраза:

— В недалеком будущем это было на днях…

4. «Безвыходное положение»

Высококвалифицированный токарь. Прогульщик. Зарабатывает в час 1 р. 60 к. На него поступила письменная жалоба:

«…Поскольку он такой токарь, и ему нету дру-

гого, и его нечем заменить, то он весь ходит развинтившись и к работе имеет смутное отношение. В том месяце он прогулял шесть дней. В этом он прогулял четыре. В июле он поехал на Кавказ со своей женой. С Кавказа он на работу сразу не вернулся. Он неделю с Кавказу отдыхал. На все претензии он имеет привычку говорить: «Пожалуйста, пусть меня увольняют, меня с моей работой каждый возьмет». Что про него придумать, является загадкой для меня».

Загадка была вскоре разрешена: токаря уволили. Однако через неделю его снова приняли.

Лошадиное средство

Очень оригинальный случай произошел недавно. Дело было на Юго-Восточной железной дороге. Факт отмечен «Красной газетой», так что выдумки нет никакой.

А идет, представьте себе, по этой Юго-Восточной дороге обыкновенный пассажирский курсовой поезд.

Идет он, как полагается, без опоздания, точно по расписанию. Тем более машинист на нем — старый, опытный работник, знающий свое дело. И кондуктора, то есть вся бригада тоже подобралась такая исправная, сознательная бригада. И пассажиры то же самое — прекрасные, трезвые пассажиры, не мешающие движению. Ну, насчет пассажиров утверждать не будем. Пес их знает, какие это были пассажиры. Может, половина — форменная дрянь. Но только не в пассажирах дело. В настоящее время пассажир погоды не делает.

Так вот, идет себе курсовой поезд недалеко от станции Россошь.

Вдруг бригада замечает чего-то такое неладное в хвосте поезда. Одним словом, какой-то шум,

треск, пыхтение и так далее.

Вот бригада, не поленившись, поглядела, чего делается. И вдруг видит, батюшки мои, невиданное зрелище — какой-то состав прет позади их. И, видать, догоняет. Расстояние заметно уменьшается.

Тут у многих поджилки затряслись. Потому как небывалый факт во всей мировой истории — поезд поезд догоняет.

Вот бросилась бригада к голове поезда. Дают знать машинисту, — мол, голубчик, гони во всю прыть, а то задний машинист сейчас в хвост ударит и тогда будет катастрофа вопреки категорическому указанию тов. Рухимовича.

Вот машинист обернулся, да, видит, факт небывалый. И, не растерявшись, подбавил пару и дал полный ход.

И тут, можно сказать, начались форменные скачки. Первый состав гонит, но и второй не отстает. И даже свистки подает: мол, а вот я тебя сейчас догоню.

Наконец, прибыли на станцию почти одновременно.

Выбежала вся бригада, машинист соскочил, интересуются, что за странный поезд. Видят — с заднего состава сходит машинист, некто такой

гр. Сергеев. И улыбается.

— Чего, — говорит, — перетрусили, ребята? Еще бы, — говорит, — маленько, и я бы вас догнал.

Конечно, на другой станции, безусловно, схватили бы этого машиниста, отправили бы в ГПУ, а тут довольно легко отнеслись.

— Пущай, — говорят, — дальше едет до станции Россошь, там разберут.

Машинист с курсового поезда говорит:

— Только пущай он впереди едет, а то он мне нервы портит перегонками.

Вот поехали дальше. Но на первой станции машинист Сергеев задел за какой-то состав и разбил пару вагонов. И только тогда его арестовали за арапские действия.

Начали составлять протокол. Спрашивают его, как же он так небрежно и нахально себя ведет.

Сергеев говорит:

— Да я, знаете, хотел уволиться со службы, да меня не увольняют. Вот я и решил чего-нибудь такое натворить.

Можно сказать — летуны нонче пошли решительные. Добиваются своего.

Этот нахальный Сергеев тоже добился — уволили. Что касается более выгодного места, то, несомненно, и место получит. С хорошим казен-

ным пайком.

Черт знает, какие бывают паршивые люди!

Артисты приехали

Конечно, не каждый человек может на улице заснуть.

У кого нервы не в порядке, тот обыкновенно не берется под открытым небом спать. Он пугается, что лошадь его ногой зацепит или букашки в рот наберутся. А если человек несколько более интеллигентный, думающий о том о сем, об астрономии, об истории народов и т. д., то он вдобавок еще будет пугаться, как бы у него во время сна брюки не унесли.

Но особенно не любят спать под открытым небом это почему-то артисты — эти, так сказать, люди нервов и творческой фантазии. Вот артисты действительно не любят дрыхнуть на воздухе. Они скорее откажутся от еды, чем они позволят себе заснуть на вольном воздухе. Они как приезжают в какой-нибудь город, так прежде всего о гостинице беспокоятся. Вот какие бывают особенности у этой утонченной профессии.

Вообще с этими артистами форменная беда.

Они разъезжают по городам обыкновенно целой группой, или, как они называют для смягчения паники в гостинице, — труппой. А в этой

труппе у них обыкновенно куча артистов. Человек пятьдесят, а то и шестьдесят. Ну что это такое?

В других профессиях этого не бывает, чтобы, например, сразу в гостиницу шестьдесят человек вперлось. А у этих бывает. У этих, — говорят, — некоторые труппы до ста и больше человек доходят.

Один поет, другой играет, третий, может быть, комик. Ужас!

Недавно приехала в Петрозаводск труппа. Труппа в шестьдесят два человека. Три тенора, четыре баритона, некоторые танцуют. Какой-то там что-то такое вертит. Один суфлер, другой администратор. Ну что это такое?

А Петрозаводск город все-таки не маленький. Все-таки наверняка там пара гостиниц есть и Дом крестьянина. Ну, такой труппе это, может быть, раз плюнуть.

И вот, значит, приезжают. Шестьдесят два человека. В город Петрозаводск. При нашем-то состоянии гостиничного треста! Ну, естественно — паника. Затруднение нормального хода городской жизни. Фу ты, черт!

Шестьдесят два человека. Из них некоторые балерины. Режиссеры, дирижеры. Одна вообще

— в наше время комическая старуха. Ну что это такое? Это уж, знаете ли, слишком. Это уж, знаете ли, лучше, чтоб звуковое кино у нас процветало. Все-таки меньше неприятностей.

Вот приезжает эта труппа. Здравствуйте, пожалуйста. С петрозаводским приветом, так сказать. Сейте разумное, доброе, вечное.

Куда вас, черт возьми, разместить? Ах да, тут Дом крестьянина еще имеется! Там, кажется, приезжие колхозники ночуют. На постелях. Еще чего…

Ну, хотя этот-то народ, конечно, податливый, привыкший, так сказать, в силу исторических судеб, к природе и ее стихийным проявлениям. Они свободно могут на воздухе поспать. Им это даже еще интересней, забавней, полезней для ихних застывших организмов, когда над ними свежий воздух струится. Им это более по карману.

И, в общем, последовало срочное распоряжение от администрации — очистить к чертовой матери с 1 июня все комнаты для размещения этой труппы артистов.

После чего, как нам пишут, «колхозники уже ночуют на площади и на балконе Дома крестьянина».

Нет, мы вообще не против артистов. Мы их лю-

бим и высоко уважаем ихнее искусство и вообще всецело приветствуем их новшества. Даже пущай они без занавеса играют. Больше того — мы всецело понимаем, что артист может потерять свою квалификацию, если он будет спать на открытом воздухе в содружестве с природой, мошками и букашками. Но мы слегка удивляемся, почему все-таки Дом крестьянина носит столь гордое название.

Поскольку этот дом, как нам пишут, обыкновенно почти всегда занят артистами, то не лучше ли для сохранения равновесия назвать этот дом — Дом артистов. А новый дом, который построят, назвать Дом крестьянина. Или наоборот.

В общем, по всему видно, что надо в Петрозаводске строить новую гостиницу.

Как в одной стенной газете местный поэт сказал по поводу недостатка огурцов в своем колхозе:

Огурцов же нет как нет...
Но, чтобы выйти из беде,
Посадим их на гряде...

В общем, «чтобы выйти из беде», надо срочно строить гостиницу. А то говорят, будто в Петрозаводск едет опереточная труппа в сто шесть человек. Вот эти со своими потребностями прямо

весь город могут по ветру пустить.

Сто шесть человек… Ай! Ну что это такое? Как растет искусство!

Об уважении к людям

Вот какой случай произошел в Ленинграде.

Вернее, даже не в Ленинграде, а за городом. На полустанке «Воздухоплавательный парк».

Наверно, там, судя по названию, аэропланы летают, летчики ходят, пропеллеры жужжат. Наверно, с чувством большого морального удовлетворения сходят пассажиры на этой платформе.

Но это удовлетворение вскоре, как дым, рассеивается. Поскольку там сразу как сойдешь — идти некуда. Поле и болото. Летом-то еще ничего, но весной, можете себе представить, чего там бывает.

Так что пассажиры приобрели там дурную привычку ходить по полотну. А за это их, конечно, штрафуют. Но они не сдаются и ходят.

Тогда на борьбу с этим злом кинули двух работников. Сторожа и делопроизводителя.

Делопроизводитель сидит в будке и отрывает квитанции. А сторож, как нанятый, ходит вокруг будки и, чуть что, заметает. То есть он берет тех, кто прошел по путям. И ведет в будку. А в будке берут штраф. По рублю с носу. И выдают квитан-

цию. Все, так сказать, превосходно, по закону, и так и надо. Если не вдаваться в тонкости насчет болота.

Но только вот беда — у делопроизводителя квитанции немного более крупнее, чем это требуется для штрафа.

Он штрафует по рублю, а квитки у него по три целковых. Вот как хочешь, так и поступай.

Но они там со сторожем не особенно горюют. У них выход найден. Они там в будке накапливают по три пассажира. И сразу это звено целиком штрафуют. И получается у них арифметически верно. Берут с каждого по рублю и дают им общую квитанцию, объединяя, так сказать, сердца трех на почве общего несчастья.

Получается очень мило и славно. Тем более весна. Солнышко, может быть, сияет. Природа распускается. Болотце зеленеет. Любовь к людям, так сказать, загорается в сердцах. Уважение к человеческому достоинству наполняет грудь.

А квитки, конечно, ничего не поделаешь, по три целковых. Наверно, они остались от трамвайных прыжков. И их как-то надо использовать.

Конечно, такие квитки отчасти усложняют ситуацию. Например, двое подлежащих штрафу собрались, а третьего нет. Конечно, он следую-

щим поездом будет. Но все-таки ожидание.

А главное, надо, чтоб общее число взятых пассажиров было кратное трем. Тогда еще ничего. Тогда у них цифры сходятся. А если этого нету — тогда простите за арифметику.

И вот однажды число взятых пассажиров не оказалось кратное трем. Оно не делилось на три.

У них там в будке с утра заколодило. Два пассажира сидят, ожидают — третьего нет. Третий подошел, а с ним четвертый прется. Четвертый сидит, ожидает. А двоих нету. Идет один. Потом опять пара. И так целый день. Даже эти работники приуныли и стали немного нервничать. Но знамя своего производства не опускали до самого вечера.

И вот сошли с поезда двое. Оба работают на «Электросиле». Один агроном Т. заводского совхоза. И служащая А.

Вот они идут по пути, ничего не подозревая о несчастьях этого дня. И, значит, напарываются на сторожа. И он их ведет в будку.

В будке им очень радуются. Поскольку там ожидают двое. И эти двое сразу выбирают себе агронома. И у них получается нужный треугольник. И делопроизводитель говорит:

— Вот теперь я вас понимаю, теперь идите.

Тогда служащая говорит:

— А как же я?

— А вы, — говорит, — немножко обождите. Как двое еще подойдут, так я вас отпущу. Иваныч, — говорит, — выйди поскорей на пути, похлопочи, чтоб что-нибудь было. Чтоб нам барышню не задерживать.

Но, как ни бился сторож, у него ничего на этот раз не получилось.

Потом он все-таки одного заблудившегося привел. Итого накопилось двое. А третьего нет. А уже, может быть, наступают сумерки.

Тогда сторож, в предчувствии арифметики, впал в небольшую панику. Выбежал на полотно, но опять никого не застал.

Тогда делопроизводитель, недовольный сторожем, сам вышел до ветру и заодно посмотреть, нет ли там каких-нибудь идущих по пути.

Но в этот день, мы повторяем, у них как заколодило. И третьего, как они ни бились, не могли достать.

Тогда делопроизводитель Сумароков, вздохнувши, говорит:

— Придется написать два протокола. Платите вы двое по рублю и предъявите свои паспорта.

Вот двое стали подписывать протоколы. А

агроном, который еще не ушел, а ожидал сослуживицу, говорит ей:

— Подпишите в протоколе поверх фамилии насчет факта с трехрублевой квитанцией.

Сослуживица так и сделала.

Но это почему-то обидело делопроизводителя. Затронуло какие-то его чувствительные струны. И он сказал:

— Никакой лишней пропаганды и никаких фокусов я не допущу на железной дороге.

И с этими словами он закрыл будку и стал по телефону звонить в милицию. И попросил, чтоб прислали ему милиционера.

Но так как тот долго не шел, то делопроизводитель повел этих людей под конвоем сторожа на станцию.

На станции эти люди запротестовали. И тогда он, составив протокол, отпустил их.

Через некоторое время агроном получает повестку из Детского Села от милиции. Ему предлагают туда явиться. Но агроном, будучи сильно занятым, является с опозданием против назначенного часа. И участкового инспектора не застает.

Тогда инспектор пишет уже более энергично.

«Если, — пишет, — не явитесь такого-то числа,

то доставлю приводом».

Агроном же, как назло, явиться не мог — его послали в Гдовские Сланцы на посевную. И теперь ему оттуда прямо грустно возвращаться на неизвестное.

И действительно, как-то оно получается у них невесело. Как-то с двух сторон грубо и оскорбительно.

А главное, надо поскорей упразднить, что ли, эти трехрублевые квитанции, хотя бы из уважения к человеческому достоинству.

Это уж никуда не годится — такое слепое подчинение бумажке. Набирать людей на нужную сумму! Обычно бывает наоборот. А это прямо как-то даже озадачивает.

А что касается двух работников, кинутых на борьбу с хождением по путям, то они вместо трудностей бумажного администрирования могли бы тем временем смело на болоте дорожку проложить. И это отчасти удовлетворило бы душевные потребности как пассажиров, так и их самих.

И не было бы таких криков, слез, обид и огорчений.

Порицание Крыму

Как только ударяет лето, так многие хлопочут на юг попасть. Они думают, что приедут на юг, искупаются в Черном море — и они снова молоды и прекрасны. И все болезни и ненормальности у них ушли.

А которые молодые, те, я даже не знаю, о чем они думают. Многие, я так думаю, из озорства на юг едут. Хотят поглядеть, как и чего там бывает. А через это они затрудняют курорты. Стесняют движение. Суетню разводят. И чахоточным через это трудней на юг попадать.

Главное, все больше едут молодые, здоровые, горластые. Чуть что — они в Крым собираются. И в кармане у них три копейки, а они как-то такое едут. Прямо удивительно глядеть, как у людей преломляется энергия.

Многим вообще нравится Крым. И некоторые особенно одобряют художественный путь от Севастополя до Ялты.

И я не отрицаю: путь этот имеет свои прелести. С одной стороны над вами возвышаются горы. И они, так сказать, вызывают чувство удивления и гордости, что у нас бывают такие горы, недоступ-

ные многим низменным и в художественном отношении отсталым странам.

А с другой стороны внизу лежит море. И оно тоже отчасти заставляет гордиться, что вообще бывают такие моря и так они оригинально лежат: как-то такое внизу, а над этим прямо в небо упирается почти два километра суши. И автобус едет между тем и этим. И это тоже у них довольно художественно получается.

И многих это тоже восхищает. Многие горят желанием почаще там бывать.

И я не отрицаю, что крымские курорты иногда забавно видеть. Только я не поклонник там на автобусах ездить. Вот автобусы у них действительно что-то особенное в смысле неприятности.

Конечно, — говорят, — что ученые начали проектировать крымскую электричку. И там будут ездить поезда по южному побережью. И только ученые, кажется, еще не окончательно убедились, где им пускать поезда — внизу или наверху.

Но уверяю вас: где бы они ни пустили, все будет в высшей степени хорошо. Пускайте эти поезда, только не допускайте меня на крымских автобусах ездить.

Главное, стоит у вокзала, представьте себе, ма-

ленькая, мизерная машина. И со стороны, пока в нее не сядешь, думаешь, что в эту машину ну человек шесть может сесть.

Каково же берет удивление, когда начинается посадка. Тогда выясняется, что только на одну скамейку шесть человек садится. А там скамеек бесчисленное множество. И даже у них как-то такое бывает, что, например, все сидящие в одном московском вагоне — все умещаются в этом автобусе.

После этого начинается художественная поездка по южному побережью.

Вдобавок у многих дети на руках. Один непременно с козой едет. Он ее на руках держит. И она от страха всех бодает на поворотах. Но ему об этом сказать нельзя, поскольку он, может быть, выполняет сельскохозяйственный план.

А некоторые заместо коз и детей держат на коленях узелки и корзинки. И все это подпрыгивает во время художественного пути. Но это подпрыгивают мелкие вещи. А багаж где-то отдельно подпрыгивает.

А для нервного человека такое отдельное путешествие от вещей тоже как-то морально тяжело переносить. Все время думаешь: а где же, собственно говоря, вещи. И не то что ты боишься, что

их сопрут, но думаешь: наверно, твою корзинку в Мисхор завезли и после разных формальностей ее тебе выдадут в конце лета.

Через это путешествие утомляет. И художественная красота пути не так, что ли, в достаточной мере заинтересовывает. Вдобавок мало чего видать. Тем более автобусы у них крытые. А с боков сидишь сжатый пассажирами.

А которые словчились сесть у края, то это еще ничего не говорит. И счастье этих всегда омрачается слабостью остальных. И из тридцати пассажиров всегда находится шесть слабогрудых дам, которых закачивает в пути.

И тогда все сидящие не с боков с восторгом восклицают: «Да пустите же ее, наконец, сбоку сесть, видите, дамочка побледнела и затрудняется дальше ехать».

И тогда захворавшая со всем нахальством, присущим указанным людям, сама садится с краю и едет. И там ее охлаждают зефиры, и там она, не стесняя пассажиров, может склонять свою головку, куда ей вздумается.

А вы тем временем садитесь на ее место — между козой и стрелком, у которого в руках мелкокалиберная винтовка. И страх, что эта винтовка может от сотрясенья выпалить, тоже

помрачает красоту пути.

И вот тем временем в рассуждении всех этих вещей и пассажиров незаметно проходит часть пути. Но зато вторая часть пути, наиболее интересная, проходит с ослабленной психикой. И даже едешь в некотором равнодушии и даже, что ли, с какой-то бесчувственностью во взоре. И даже по временам восклицаешь: «Крым, Крым — подумаешь!»

Короче говоря, подобные мысли и воспоминания пришли нам в голову в тот день, когда мы раздумали поехать в Крым. И не то чтобы раздумали, а как-то такое в этом году нам не пришлось поехать на южное побережье. И заместо этого погибельного Крыма мы сняли дачку в Парголове и сейчас весьма довольны.

Ну что, действительно, все время — Крым. Пыль. Жара. Горы бестолково торчат. Три дня ехать. Билеты, опять же, покупать. А тут снял дачку и можно жить без всякого затруднения. И, в сущности говоря, то же самое — пыль, жара. Только что гор нету. И моря. И не так художественно.

Тем более сейчас лето. Виноград еще не созрел. Бархатный сезон впереди. Так что особенного интереса нету туда ехать. А осенью, может быть, и поеду. А вообще, хотелось бы на все крымское

путешествие тратить часа два-три.

И вот когда будут летать стратопланы, то это так и будет. В двенадцать часов дня сел в Ленинграде — и в три часа купаешься в Черном море. А в шесть вечера обратно дома. Вот это будет интересно.

Но, вообще-то говоря, я ждать этого времени не намерен, и три дня пути меня тоже не особенно останавливают.

В общем, сердечный привет поехавшим в Крым.

И как ни брани этот Крым, а все-таки это, так сказать, чудная жемчужина в курортном деле.

А что касается оправы для нее, то она постоянно будет улучшаться.

Сказка жизни

В настоящее время рассказывать сказки как-то даже глупо. Мы бы даже так сказали: как-то нетактично перед современностью.

Кругом, можно сказать, в техническом смысле происходят разные там наивысшие исключительные достижения, разные там чудеса в решете. Одно радио чего стоит! Телефон опять-таки. Фотоаппараты. И вообще, смотрим то, чего вблизи не видать. И слышим разные вещи на расстоянии. Так что любая сказка, мы бы так сказали, теряется в сравнении со сказочной действительностью.

Давеча раскрываем газету: еще, видим, один подарок преподнесен нашей современности. Бесшумный трамвай.

Не знаю, как в Москве, но в Ленинграде уже выпустили для пробы бесшумный моторный вагон.

Конечно, мы еще в точности не знаем, что это такое и с чем это, как говорится, кушают, но в газетах отмечено: бесшумный трамвай. А это, как хотите, здорово.

Главное, представьте себе: прет этакая махина по рельсам, и то есть никакого шума она не дает. Плавно себе скользит, как воздушная фея, как

ветерок, зефир.

Только изнутри, наверно, этакий гул идет, некоторый треск и грохот. Этакий шум. Поскольку в вагоне разговоры, крики, пятое-десятое. В обыкновенном вагоне это, конечно, прошло бы незаметно, а тут оно тихо себе катится и шумит.

Но это, так сказать, минусы самой природы. Техника уж тут ни при чем. Это публика сама от себя допускает звучание: разговоры, споры, крики и так далее. Тут даже, если заглянуть исключительно далеко, так сказать, в века, — и то навряд ли что-нибудь изобретут против этого шума.

Конечно, если трамвайная администрация окончательно захочет избавиться от шума и если она захочет, чтоб техника плюс природа не давали бы звучания, то тогда, конечно, придется пассажирам вместе с билетами чего-нибудь выдавать. Некоторым, может быть, леденцы, пеперменты, чтоб рты заткнуть. Более передовым элементам можно также давать какие-нибудь там проволочные фокусы и умственные занимательные игры, чтоб отвлечь внимание.

Тогда возможно, что в самой середине нашего вагона воцарится полная тишина.

Нет, не думаем, чтобы такой трамвай особенно много давил людей.

Конечно, отчасти все-таки, как ни говорите, вынырнет этакая штука без всякого шума — так тоже, как говорится, благодарю-спасибо. Но тут нас то утешает, что он уж не настолько будет бесшумный, как, наверно, подумали некоторые идеалисты и эстеты. Некоторые уж, наверно, подумали невесть что, в то время как, наверно, мы так думаем, ничего особенного. Тоже, наверно, как попрет по рельсам, так я те дам. Не то чтоб от него сильный грохот будет идти, но тоже, наверно, не без того. Поскольку все-таки колеса, рельсы, мотор, и в моторе что-то все время вертится. Ясно, что уж совсем без шуму им не обойтись. Ну, да оно, собственно, и к лучшему.

Но все же тем не менее, честно говоря, борьба с шумом — это очень хорошее начинание. И в Европе давно с этим бороться начали.

Но там, в Европе, конечно, более хлипкое население. Там много среди них истеричек, разных там квелых интеллигентов, воспитанных на буржуазной системе. И там на них шум особенно тяжело действует. А у нас мы давеча наблюдали такую картину. Едет гусеничный трактор. И до того он, представьте себе, ангел мой, гудит, что это, как говорится, ужасти подобно.

То есть такой грохот идет, что, можно сказать,

душа вянет у всякого интеллигента прошлого столетия. А тут моторист лихо себе сидит на сиденье и переглядывается еще с проходящими барышнями.

Ему, конечно, как бы даже ни к чему подобное изобретение с бесшумным трамваем.

Но от этого начинание, конечно, не только не меркнет, но его надо душевно приветствовать. Поскольку шум плохо отзывается на производительности труда. И в особенности от этого страдают бухгалтеры, ученые, певцы, поэты и металлисты. Но тем не менее это изобретение, мы повторяем, пройдет у нас для многих людей незаметно, поскольку многие обладают хорошими, крепкими нервами.

Во всяком случае, шлем пламенный привет всем изобретателям.

И уже если научная мысль пошла по этой линии, то хотелось бы еще какого-нибудь улучшения на этом шумовом фронте.

Тоже вот, как говорится, радио. Слов нет, вполне гениальное открытие. Но зато когда оно у соседей стоит и перегородка не так уж особенно капитальная, то тоже, как говорится, спасибо вам за это открытие.

Главное, самой музыки не слышно, а только

бу-бу-бу, бу-бу-бу. Прямо, так сказать, сил нет. И прекратить нельзя. Только что перерыв бывает с часу ночи и до семи. Но это не каждому хватает для спанья. Хоть бы какой-нибудь глушитель изобрели против этого шума. В общем, желательно, чтобы ученые физики и пиротехники извернулись и чего-нибудь извлекли из своих последних достижений.

Или, например, в магазине. Зашел, например, на три рубля колбасы купить — патефон играет: «Спи, мое сердце». Тут, может быть, двести грамм отвешивают на чувствительных весах, а тут такое пение: «Спи, мое сердце». Нечутко. И подобный шум тоже как бы лишнее. Тем более если у человека хорошее настроение, так у него и без того музыка на душе раздается.

Так что борьба с шумом, наверно, еще только разгорается и дойдет, наверно, до сказочных достижений.

А там, глядишь, изобретут уж и вовсе что-нибудь сказочное, например, какой-нибудь аппарат «Три желания».

Каждый, скажем, может повернуть рычажок — и его три желания сразу исполнятся.

Хотя, конечно, злоупотребления начнутся, арапство. Многие, конечно, начнут рычажок

поворачивать, чтобы наскрести себе деньжонок побольше, наград, почета и уважения и так далее.

В общем, не будем забегать вперед и предсказывать то, до чего еще не дошла пытливая научная мысль человека.

Пламенный привет научным работникам и техническим кадрам!

Горе от ума

Дело, о котором мы хотим вам рассказать, собственно говоря, уже закончилось.

Кое-кто получил выговор. Кое-кто был оправдан. А некоторые отделались моральным испугом.

В общем, правда восторжествовала, и порок был наказан. И в этом учреждении, о котором идет речь, все, так сказать, снова сейчас завертелось. Как говорится, дела идут, контора пишет, ключи на комоде.

И мы, не отличаясь сварливостью характера, так бы и предоставили все это течению жизни, если б не усмотрели в этом явления, на котором следует остановиться.

Итак, как говорится в учреждениях, давайте провентилируем вопрос.

История развернулась в одном небольшом учреждении — в отделе благоустройства одного из районов.

В этом прекрасном учреждении с таким классическим и звучным названием, заставляющим думать о превосходных делах, произошло неприятное происшествие.

В прошлом году в отделе благоустройства «служила в качестве служащей» гр. К. И вот ее уволили с глупой и, пожалуй, даже бюрократической характеристикой: «за нечеткость в работе».

К., желая восстановить свое доброе имя, подала в нарсуд. Нарсуд, рассмотрев дело, не нашел достаточного повода к увольнению и восстановил служащую с оплатой за вынужденный прогул.

Свидетельницей в суде выступала сослуживица К. гражданка Л.

Не утверждаем, что тут имелась связь с ее выступлением на суде, но только факт, что после суда эту гражданку тоже уволили. Первоначально она получила строгий выговор с предупреждением «за опоздание и за составление пониженного плана по ассобозу». А затем заведующий отделом благоустройства предложил ей уйти «по собственному желанию». Когда она отказалась это сделать, он ее уволил за опоздание.

ЦК союза работников городских предприятий отменил это постановление и предложил «восстановить служащую Л. с оплатой за вынужденный прогул».

Заведующий не подчинился этому решению. И тогда нарсуд, рассмотрев дело, восстановил и «свидетельницу» с оплатой за шестимесячный

вынужденный прогул.

Вот какова история в общих чертах.

На первый взгляд дело, мы бы сказали, пустяковое. Несработанность служащих. Неполадки. Сварливый, надменный характер заведующего. И так далее. Что-нибудь в этом роде.

Но целых два одинаковых судебных дела, два неправильных увольнения с оплатой за вынужденный прогул заставили нас снова обратить свои взоры на вышеуказанное учреждение с прекрасным и благозвучным названием.

Мы поинтересовались, нет ли там еще чего-нибудь вроде этого. Нет ли там еще «униженных и оскорбленных»?

И что же оказалось? Оказалось нечто поразительное.

Вот перед нами список служащих, уволенных за 1935 год.

В списке 60 человек.

А всего в штате сотрудников — 75 человек.

Итого за прошлый год уволено почти 80 процентов.

Давайте посмотрим этот черный список.

Оговоримся: список — официальный, с печатью отдела благоустройства и с подписью зам. нач. управления.

Итак, в этом списке 60 человек. Посмотрим, каковы мотивы увольнения.

1) «По собственному желанию» ушло — 14 человек.

2) «По собственному желанию в связи с социальным происхождением» (так и сказано!) уволено — 7 человек.

Мотивировка, прямо скажем, удивительная. Просто даже трудно понять, в чем дело. То ли совесть заговорила в служащем, и он, понимая, что происхождение его нечисто, решил, так сказать, по собственной охоте не марать больше своим присутствием это высокое учреждение. То ли ему намекнули — мол, до каких же пор мы будем терпеть тебя, братец, в нашей канцелярии? Мы тебя, милочка, не гоним, но раз у тебя папаша вроде как почетный гражданин бывшей империи, то пора бы понять, что не дело служить тебе в ассенизационном обозе.

В общем, так или иначе, уволено «по собственному желанию в связи с социальным происхождением» — 7 персон.

3) «За пьянство» уволено — 3 человека.

4) «За кутежи» (так и сказано) — 2 человека.

Причем разница между пьянством и кутежом, вероятно, имелась, поскольку предусмотрены

две графы. Кутежи, вероятно, имели характер более широкий — с пением и танцами. А пьянство — может быть, просто человек наклюкался и лег спать.

Так или иначе, за пьянство засыпались: а) помощник коменданта, б) начальник пожарной охраны и в) инспектор очистки. А за кутежи пострадали два агента ассенизационного обоза. (Может быть, черт возьми, профессия толкнула их на скользкий путь порока, и они через это погрязли в тине кутежей и веселья.)

Далее среди уволенных идет мелкота и шушера:

5) «За нечеткость в работе» — 1.

6) «За нарушение правил внутреннего распорядка» — 2 (из них один — комендант!!).

7) «За прогул» — 1 (бухгалтер).

8) «За то, что отказался прописаться» (!) — 1 (метельщик — с чего бы это он?).

9) «Как не выдержавшие испытания» — 6.

Далее идут уволенные по самым различным уважительным причинам. Один там по статье 47. Другой перешел на инвалидность. Третий опоздал. Четвертый умер по всем правилам науки. Пятый — по семейным обстоятельствам. И так далее.

При такой ужасающей текучести, казалось бы, ни о каком сокращении штата не может быть и речи. Но не тут-то было. «По сокращению штата» (указано в списке) уволено 5 человек.

Итого из 75 человек за прошлый год снято 60 служащих по самым многоразличным причинам, среди которых почему-то не указано «увольнение за глупость». А надо бы, если на то пошло, завести и эту графу в отделе благоустройства.

В общем, даже трудно понять, почему заведующий учинил такой бешеный разгром?

С чего бы это он, действительно?

Может быть, невезенье. Может, во всех других учреждениях публика на должной высоте, а тут, может быть, у него просто как заколодило. И сотруднички, может быть, все какие-то посредственные попадались. А может быть, человек болеет за свое учреждение! Может быть, он хочет возвести свой отдел на неслыханную высоту! Может быть, он в своем уме создал, так сказать, образ идеального служащего, и к этому он стремится! А тут наряду с этим путаются какие-то, черт их дери, мелкотравчатые конторщики, какие-то, пес их знает, обыкновенные девицы с флюсом. Портят, так сказать, пейзаж своими надутыми физиономиями. Обидно, может быть. Раздража-

ют все-таки. Снижают значение отдела. Хочется перетряхнуть этот хотя бы, черт возьми, ассенизационный обоз, где кутят и нечетко работают и вдобавок марают отдел своим происхождением.

И вот берет он это свое небольшое учрежденьице и почти целиком, как мусорный ящик, вытряхивает почти всех в другие (несомненно) какие-нибудь учреждения, где менее прихотливы и где не оторвались от жизни и где, говоря канцелярским языком, к «людскому составу» относятся приветливо и уважительно, без столь дурацкого бюрократизма и надутого чванства к «человеческой единице».

И какая, обратите внимание, игра природы! То самое учреждение, которое ведает «благоустройством» жизни, так, можно сказать, лихо наезжает с другого, более важного фланга на своих же клиентов и потребителей.

В другой раз идешь летом по бульвару. Душа радуется. Деревья подстрижены. Дорожки посыпаны. Скамейки услужливо поставлены в тени. Как-то сразу на сердце симпатично становится. Все эти мелочи как-то поднимают собственное достоинство. Вот, думаешь, все, так сказать, для тебя же, дурака, стараются. Спасибо, думаешь, отделу благоустройства.

И вдруг теперь узнаем, в этом же самом учреждении — вон какие грубые дела, нарушающие принцип благоустройства жизни!

Оно, конечно, скамейки красить проще, чем иметь дело с «людским составом». Но которые не могут за это браться, те пускай и не берутся. И тогда благоустройство еще более возвысится.

Много шума из ничего

Вот какой случай произошел в Арзамасе. Там у них, как сейчас выясняется, имеется войлочная фабрика.

Что именно производит эта фабрика, я не берусь сказать. Но надо думать, что не войлочные стельки к сапогам, а что-нибудь в высшей степени исключительное, полезное для всех в гражданском смысле. Может быть, там фетровые валенки и так далее.

Но не в этом суть.

Вот что произошло на этой фабрике.

Во время обеденного перерыва пять девушек, собравшись вместе, начали шутить и болтать всякую чушь и ерунду. Ну естественно — молодые девушки. Они только что поработали. Теперь у них перерыв. И, конечно, им охота немного пошутить, посмеяться и пококетничать.

Тем более это не профессора какие-нибудь там, сухари и педанты, интересующиеся только, может быть, интегралами и так далее. А попросту это самые обыкновенные девушки в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

Так что и разговор у них был скорее забавного

содержания, чем имеющий научную подкладку.

Короче говоря, они беседовали о том, кто кому нравится и кто за кого замуж стремится.

И ничего тут плохого нет. Отчего об этом не поговорить? Тем более обеденный перерыв. И тем более был чудный весенний день. Конец февраля. Первое, так сказать, пробуждение природы. Солнце. Воздух этакий сумасшедший. Птички чирик-чирик. На душе весело и забавно.

И вот сидят эти пять девушек и славно между собой беседуют.

А одна из этих девушек была, как теперь говорится, особенно заводная.

И когда речь зашла насчет замужества, она взяла бумагу и карандаш и, весело смеясь, сказала всем собравшимся, что я, дескать, решила запротоколировать все, об чем мы тут с вами беседуем. И кто кому нравится, я сейчас в протокол запишу, и, может быть, из этого гаданья у нас что-нибудь более реальное получится.

Тут все начали смеяться и хохотать. И начали шутить с полным вдохновением.

И тут они под горячую руку возьми и сочини забавный протокол. Как говорится: слушали — постановили. Этой постановили выйти замуж за этого. А этот обязан сделать предложение этой. И

так далее… Все в этом духе.

Ну, шутка. Баловство. Пустяки во всех отношениях. Ну, дурацкое дело, не стоящее внимания.

Собственно, мы даже не знаем, каким образом этот забавный протокол попал к начальству. Скорей всего какой-нибудь там типус, страдающий сахарной болезнью и пучеглазием, подложил эту бумажку на стол директору. А может быть, он и лично, на своих полусогнутых, явился в кабинет директора и, вздохнувши, передал ему протокол — дескать, вот, взгляните, чего наши девицы выкомаривают.

Директор Кистанов, сделав постное лицо, зачитал протокол и пришел в неописуемое расстройство.

Двух девиц он уволил с фабрики, как буквально сказано в приказе, «за разлагательную работу, выразившуюся в организации официальной секции с наличием протокола, ставившую себе целью обработать парней в мелкобуржуазном духе».

Одной девице он сделал строгий выговор с предупреждением. А еще двум — поставил на вид.

Может быть, те и поплакали, не знаем, но только, поплакавши, решили подать протест о неправильном увольнении.

И вот тут началась канитель и волынка, кото-

рая до сего времени продолжается.

В общем, обиженные подали заявление в конфликтную комиссию.

Фабричная конфликтная комиссия (РКК) под председательством того же самого директора подтвердила увольнение.

Тогда девушки подали заявление в союз.

Там отнеслись внимательно к женскому горю.

Инспектор ЦК союза шерстяников вынес такое совершенно правильное постановление:

«Факт составления протокола, в котором было прикрепление девушек к парням с целью выйти за них замуж, не может служить поводом для их увольнения. А поэтому решение РКК, как неправильное, отменить».

Постановление это, однако, не повлияло на черствую душу директора.

И тогда инспектор посоветовал девушкам подать в народный суд.

Народный суд постановил отменить увольнение и уплатить уволенным за вынужденный прогул.

Казалось бы, все сложилось хорошо и отлично. И можно, казалось бы, снова начать женские разговоры о любви и браке. Но не тут-то было.

Директор, получив извещение от народного

судьи, решил заняться домашним воспитанием молодых особ.

И вот, имея самые благие намерения, он пишет в приказе об этих злосчастных девушках нижеследующее:

«Дело, которое они организовали, не сумело причинить вреда. Но товарищи В. и Г. как организаторы этой никому не нужной группы по обработке парней получили моральное наказание. Все это должно в дальнейшем научить тт. В. и Г. как организаторов отделять полезное от вредного, ненужного дела…»

Может быть, когда-нибудь в дальнейшем народные суды будут к чему-нибудь приговаривать за подобный стиль и за такие обороты речи, но пока с этим приходится мириться.

Далее в приказе говорится:

«Принимая во внимание, что В. и Г. уже морально и общественно наказаны, отменить приказ в части снятия их с работы, оставив прежнюю формулировку в определении поступка».

Короче говоря, приказ, как можно видеть, оставлял за девушками унизительную и дурацкую кличку «организаторов секции по обработке парней».

И как девушки ни бились и как они ни проте-

стовали, ничего у них не вышло.

Мы не сомневаемся, что ЦК союза придет на помощь и доброе имя пяти девушек (которым всем вместе девяносто пять лет) будет восстановлено в прежнем своем блеске. Но нас тревожит, что дело это крайне затянулось.

Шесть месяцев тянется подобная канитель. И навряд ли это благоприятно отражается на здоровье и наружности всех участников дела.

Да и сам директор, наверное, слинял и окончательно перестал иметь успех у женщин.

А скорей всего он даже и никогда успеха не имел. И это отчасти чувствуется по его характеру.

В общем, жало нашей конкретной сатиры направлено в аккурат на всякого сорта сухарей и педантов, которые не любят и не понимают смеха и веселья.

Ну пусть бы девушки посмеялись. Подумаешь, какая беда! Ну что могло из этого получиться? Ровно ничего. Главное, забавно видеть, что он заступился за парней.

Как будто те бедные-несчастные и вот сейчас их обработают «в мелкобуржуазном духе». А те небось, как говорится, и сами с усами. И обошлись бы без самосильной поддержки директора.

Пустое и глупое дело. А сколько из-за него криков, шума и огорчений.

Прощай, карьера

Вот какой случай произошел со мной этим летом. По телефону позвонил мне один иностранец. Он назвал свою фамилию. И сказал, что он писатель. Причем перед разговором с ним произошла такая сцена.

Кто-то, не знаю, может быть, служащий, вызвав меня, сказал в трубку:

— С вами, товарищ, говорят из Европейской гостиницы. Просьба не отходить от аппарата и не вешать трубку, поскольку с вами будет беседовать одно иностранное лицо. Оно сейчас одевается и сию минуту подойдет.

И вот я жду минуту. Две. Никто не подходит. Я уже хочу повесить трубку, как вдруг раздается голос. Говорит иностранец на ломаном русском языке:

— Любезный коллега, я есть один интурист. Я есть писатель. Юмор — как и у вас — это моя стихия. Я пишу комические стихи. Не найдете ли вы интересным встретиться со мной?

Я сказал, что это время я занят, но дня через два я могу с ним повидаться.

— О нет, — сказал он, — через два дня я уже

уеду.

— Тогда завтра.

— Завтра? — сказал он тоном человека, которого очень просят. — Нет, завтра я тоже никак не могу. Завтра мы едем в Детское Село осматривать дворцы. А вечером состоится наш отъезд. Давайте лучше увидимся сегодня. Только я приезжий. Мне будет трудно вас отыскивать. Не разрешите ли вас попросить пожаловать ко мне?

Из уважения к его профессии я согласился заехать к нему на полчаса. Причем сказал, что заеду около восьми часов вечера.

Он радостно сказал:

— Полчаса — это меня вполне устраивает. К тому же больше я и сам не смогу. Мы немного поговорим, и я вас сниму на память. Но что касается восьми часов, то в восемь часов, любезный коллега, мы уже идем в концерт. В восемь часов я никак не могу с вами встретиться.

Меня начала наконец сердить эта беседа. Тем более что был уже шестой час вечера. И до восьми оставалось около двух часов. Я с некоторым недоумением спросил его:

— В таком случае я не понимаю вас. Вы хотели со мной увидеться. Завтра и послезавтра вы не можете, но я вижу, что и сегодняшний день у вас

тоже совершенно заполнен.

— Абсолютно заполнен, — сказал он счастливым тоном. — Абсолютно, представьте себе, расписан каждый час. Но мы с вами, коллега, можем найти выход. Я вас попрошу пожаловать ко мне сейчас. Я как-нибудь выкрою для вас полчасика свободных до обеда.

Растерявшись от такой непосредственности, я не нашел сказать что-нибудь определенное. И, что-то пробормотав о своей болезни, повесил трубку.

Но вот около двенадцати часов ночи снова раздается звонок, и голос с почтительной любезностью снова просит не отходить от телефона, так как сейчас со мной будет беседовать иностранное лицо.

Я снова жду минуту. Потом две. И уже из чистого любопытства не вешаю трубки — ожидаю, когда наше приезжее лицо завяжет перед зеркалом галстук или застегнет подтяжки.

Наконец раздается знакомый счастливый, самовлюбленный голос:

— Добрый вечер, коллега. Вот мы и вернулись из концерта. Я прошу вас сейчас же, без возражений, пожаловать ко мне. Нет, не беспокойтесь, что поздно. Я ранее двух часов ночи все равно не

ложусь. И мы вполне можем около трех четвертей часа провести в приятной беседе.

Я еле сдержался, чтоб не сказать резкостей приезжему писателю. Вероятно (я подумал), у него какая-то иная психика. И мы не можем с ним столковаться. Он не понимает, что мне просто неприятно такое дурацкое приглашение, когда я вызываюсь «на время», как шансонетка в какомнибудь буржуазном ресторане.

И, снова сославшись на нездоровье и поздний час, я отказываюсь приехать.

И вот, как ни в чем не бывало (я не преувеличиваю), на другой день иностранец снова звонит мне через служащего.

И, судя по его самоуверенному тону, я вижу, что он действительно не понимает некоторой неловкости своего поведения.

— Ну вот, коллега, мы и приехали из Детского Села, — сказал он. — И до обеда мы имеем почти что час времени. Как вы на это смотрите?

Я хотел было послать его к черту, но, подумав о международных осложнениях, снова в деликатной форме отклонил приглашение.

— Но почему вы, наконец, не хотите исполнить мою просьбу? — сказал он с какой-то капризной ноткой в голосе. — Ведь вам же, наверное, тоже

интересно увидеть коллегу по перу.

— Очень интересно, — сказал я и повесил трубку.

И вот на другой день случайно я рассказал эту историю одному из работников ВОКСа.

Тот спросил, не помню ли я фамилии этого иностранца.

Я назвал фамилию. Тот, порывшись в своих бумагах, сказал:

— О, это известный банкир. Он вчера со своей группой отбыл из Ленинграда. У него большой банкирский дом в Н.

Я, как говорится, почувствовал в груди стеснение и переспросил:

— Вы не путаете ли? Он назвал себя писателем, а не банкиром.

— Очень возможно — он и нам сказал, что он писатель и недавно выпустил книгу стихов. Но тем не менее он, кроме того, крупный банкир и финансовый воротила.

Тогда мне стало многое ясно. Мне стали понятны и эти телефонные вызовы. И пренебрежительный, развязный и самоуверенный тон человека, знающего себе цену и не желающего слушать возражений.

Он хотел увидеть меня между обедом и музе-

ем. И в этом было что-то удивительно досадное, неуважительное, это была та грубая, оскорбительная самоуверенность купца и хозяина, от которой обычно гаснет и затухает искусство.

И вот я стал уже позабывать эту дурацкую историю. Но на этих днях я случайно встретился с одним его соотечественником. Это был иностранный специалист, инженер, работающий на одном из ленинградских заводов.

Я рассказал ему эту историю. Он засмеялся и сказал:

— А что вас удивляет в этом? Его отношение? Это было исключительно хорошее отношение. Видите, писатели, художники, артисты, за исключением крупных знаменитостей, — это у нас богема, это даже не приглашается в лучшие финансовые дома. А если вас приглашают, то это уже карьера. Но если вас приглашает такой банкир, такое влиятельное лицо, как вы мне сказали, то это уже блестящая карьера. И не в его привычках выслушивать отказ. Вы ему отказали в своем отечестве. У вас на этот счет вообще спутаны понятия. И, например, артисты у вас чуть не первые люди. А у нас это мелкота, богема... А попробовали бы вы у нас отказаться к нему приехать.

— И что тогда?

— Тогда? Прощай, карьера… Я помню, у нас в один дом приглашен был литератор. И он, представьте себе, не встал со стула, когда с ним поздоровалось одно влиятельное лицо, один банкир, богач. Ого! Он впоследствии не нашел-таки ни одного издателя, который захотел бы печатать его труды… Вы не знаете соотношения сил. Это богема, и финансовые тузы при встрече им подают два пальца.

— Значит, если бы я отказался к нему приехать…

Иностранный специалист многозначительно свистнул и, закрыв глаза, сказал:

— Тогда за вашу карьеру, месье, я не дал бы ломаной монеты.

После этого случая я понял, что моя карьера в его стране окончательно испорчена.

Ну, как-нибудь, черт возьми, переживу.

Еще о борьбе с шумом

Итак, борьба с шумом энергично продолжается.

Но если говорить насчет борьбы, то в первую очередь хочется все-таки отметить радио. По силе звуков радио стоит на первом месте. И только, может быть, выстрелы дают более сильный звук. И то, как говорится, против выстрелов имеется своя наука — баллистика. А против радио научная мысль ходит как слепая.

Главное, досадно, что борьба с шумом началась не с этого открытия. Научная мысль почему-то в первую очередь пошла, так сказать, по трамвайному пути.

Но бесшумный трамвай — это, в конце концов, техника плюс, может быть, простая резина или там, говоря научным языком, гуттаперча.

Но что может сделать та же резина против радио — вот это еще не выясненный вопрос.

Лично я еще в хороших условиях, в смысле радио. Некоторые в своих квартирах слышат радио и с улицы, и с верхних, и с нижних этажей, не говоря уже о соседях.

Один мой родственник с научной целью за-

писывает все звуки, какие к нему доносятся со всего дома. Так он, если не врет, слышит у себя шестнадцать радиоаппаратов.

Лично я такого количества не слышу, но два радиоаппарата меня, прямо скажу, сильно удручают.

Ну, один сосед со своим аппаратом еще ничего. Про него нельзя сказать, что это большой любитель радио. Он с работы придет, прослушает детский час. И больше его не слыхать. Разве что, находясь под мухой, он поставит там еще минут на пять какое-нибудь пение. Вот вам и вся его радиопрограмма. Это мягкий, гуманный человек. И не дурак выпить. Так ему, как говорится, не до того.

Но другой сосед — это уж что-нибудь особенное. Он нарочно подолгу не выключает радио. И даже, идя, например, в баню, оставляет радио звучать.

Но каково было наше удивление, возмущение и ненависть, когда он, уехав в отпуск, оставил радио работать на полный ход! Он не выключил его. А свою комнату закрыл на висячий американский замок и сам, как говорится, преспокойно отбыл на месяц в Крым. Он туда загорать поехал. На южный берег Крыма. А мы, как говорится, должны в его комнате терпеть шум.

Первые два дня мы сразу даже не сообразили наличие подобной забывчивости. Но потом слышим звучание совершенно не в урочное время. И вдруг видим: радио звучит круглые сутки.

Тогда я бегу в домоуправление и прошу в конце концов прекратить вышеуказанный шум.

Председатель говорит:

— Да, борьба с шумом идет, не спорю. И это, конечно, нехорошо со стороны жильца шум производить во время отпуска. Но ломать дверь, чтоб туда войти, я не смею без его разрешения.

Тогда мы с другим его соседом делаем складчину и посылаем ему в Крым телеграмму, дескать, забыл, иуда, закрыть радио. Срочно дай согласие сломать дверь с петель. Но поскольку от нервного раздражения я в последний момент в телеграмме добавил еще несколько язвительных слов, то он не ответил мне на телеграмму.

Тогда я хотел как-нибудь привыкнуть к этим постоянным звучаниям в его комнате. И к музыке я уже стал понемножку привыкать, но когда какая-то девица стала из бюро погоды перечислять, где какая температура находится, то я не мог более этого терпеть и выскочил из комнаты, чтоб что-нибудь произвести.

Один жилец мне говорит:

— Вы поднимитесь на крышу и срежьте его антенну. Без антенны редко какое радио может звучать. И через это вы найдете себе душевный покой.

Тогда я, не будучи никогда на крыше и даже не понимая, как туда ходят, с опасностью для жизни влез туда и в аккурат над его окном отломал громадную, как багор, антенну.

Но каково же было мое удивление, когда, спустившись вниз, я снова услышал звуки!

Тогда жилец говорит:

— Вероятно, у него очень сильное радио, что оно без антенны играет. Если хотите, я, — говорит, — к вам вечером одного подростка подошлю, он в радиомеханике хорошо понимает.

И вот прислал он мне вечером подростка.

Подросток осмотрел все, что полагается, и говорит:

— Вы, — говорит, — у кого-то другого антенну сломали. За что ждите себе неприятности. А что касается вашего соседа, то у него никакой антенны не должно быть, поскольку у него всего-навсего радиоточка, то есть просто у него идут провода и к ним приставлен громкоговоритель. Если вы хотите, я отрежу в коридоре эти провода, и оно перестанет давать звучание.

Так он и сделал. И музыка сразу прекратилась. И наступила блаженная тишина. И я минут двадцать наслаждался этим в полное свое удовольствие.

Но потом мой другой сосед ни с того ни с сего поставил свое радио, и снова началась чертовщина и завывание. И тут вдобавок еще пришли ко мне объясняться насчет сломанной антенны, и тогда начался шум и крики другого порядка, которые еще более досаждают душу и ослабляют кровь.

Вообще, в первую голову надо что-нибудь насчет радио придумать, а потом уже с новыми силами приняться за трамвай. Тем более что на поверку оказалось — выпущенный бесшумный трамвай довольно-таки порядочно шумит, как там его ни называй.

Может быть, регулятор какой-нибудь придумать для радиоточек?

Ничего не скажу, радио — великое открытие, но уж очень оно, как бы сказать, в печенку въелось.

Творчество и действительность

Некоторые жалуются, что музеям и картинным галереям отпускают мало денег на их нужды. И через это, дескать, в некоторых провинциальных музеях холодно, неуютно. А чего, собственно, там отапливать, когда на стенах висят картины, или, как говорится, полотна, и они могут выдержать любую температуру ниже нуля?

А что касается публики, то те могут особенно не задерживаться подолгу, если им холодно. А быстренько пусть пройдутся по залам — и хватит.

Тем более чего там особенно подолгу смотреть? Как говорится, не ситец.

Вообще художники — народ легкомысленный и отчасти даже взбалмошный. Часто рисуют, сами не знают чего. Нарисуют, например, разрезанный арбуз и кругом него яблоки нарисуют. И думают этим удовлетворить культурные запросы населения. Дескать, натюрморт. Вообще, как правило, прежние художники — народ, оторванный от жизни и действительности. В музеях, например, такая адская холодюга, а те же самые художники знай себе рисуют разные летние сценки и пейзажи. Или там весну нарисуют и подпишут: «Грачи

прилетели» или там «Снег тает». А какой, к черту, он тает, если при такой температуре он опять, может быть, замерзает?

Или те же оторванные от действительности художники выписывают там исторические и библейские сценки с полуодетыми фигурами. Неестественно. Фальшиво. Непродуманно. И смотреть на это при таком холоде — прямо всякая художественность теряется. И у зрителя недоверие возникает к данному произведению искусства.

Вообще, если не отапливать помещения, то до некоторой степени средства экономятся. И в крайнем случае эти средства можно пустить на то, чтобы как-нибудь сгладить художественные неполадки.

Можно заказать художникам, чтобы они пририсовали что-нибудь соответствующее действительности.

Не хотим мешать творческому полету их мысли, но до некоторой степени можем подсказать, если на то пошло.

И уж если русалка в воде барахтается, то будет вполне естественно, если ее из проруби показать. То же и из райской жизни. Если Адам и Ева стоят, как говорится, в чем их мама родила, то опять-та-

ки получается фальшиво. А чуть их приодеть — и художественность, как видите, торжествует. Но змее, конечно, холодно.

На других полотнах наш современный художник, не оторванный от реальной жизни, тоже что-то такое изобразил, соответствующее моменту. И при таком повороте живописи в сторону реальности зритель остается удовлетворенным, и он уже, наверно, не будет обижаться на температуру в помещении. Вообще искусство — кропотливое дело.

Нетактично поступили

Люди рассказывают о таком забавном фактике, происшедшем у нас в Ленинграде.

Причем это точный факт, а не выдумка или там какой-нибудь полет творческой фантазии.

Речь идет о двух приезжих иностранцах.

Как известно, этой осенью в Ленинграде был громадный наплыв иностранцев. Приезжали на кораблях целые ватаги американцев, англичан, шведов и так далее.

Ну, естественно, — морской порт, и им, может быть, удобно. Образ жизни туристов не вызывал у нас удивления. Они ездили на машинах осматривать острова. Посещали музеи, где глядели картины и все, что там есть. И сидели в ресторанах, с аппетитом кушая икру, балык и прочие северные деликатесы.

Ну, конечно, некоторые из туристов, как говорится, шлендали по комиссионным магазинам, закупая там всякую всячину, надеясь зацепить из барахла что-нибудь исключительно ценное, какую-нибудь там реликвию XIX века или что-нибудь в этом роде. Они покупали там идолов, фарфоровых болванчиков, статуэтки и всякие

там штучки-мучки разных столетий.

Многие из них имели манию приобретения, другие любили посещать антикварные магазины, видя в этом цель жизни и служение красоте. Третьи, наоборот, приобретали с тем, чтобы у себя на родине, как говорится, спекульнуть.

Это был, так сказать, капиталистический мир с его разнообразными представлениями.

Но каково же было удивление, когда два иностранца, одетые очень вычурно и, я бы сказал, тонно, вошли однажды в самый обыкновенный магазин «Гастроном», где происходила продажа обыкновенных колбас, масла и так далее.

Это всех удивило.

А они вошли в магазин и, раскрыв какую-то книжечку (может быть, самоучитель), обращаются к продавцу, еле говоря по-русски:

— Любезьная особа, отвесь, голубьчик, масьло.

Но так как эти слова они произносят мужчине, то он обижается, но, видя перед собой туристов, любезно отвечает:

— Сию минуту, милорды, приступаю к вашей операции, только отпущу одну гражданку.

И, отпустив покупательницу, снова обращается к ним, дескать, сколько вам масла и какого: парижского или с солью. Те, поглядев в самоучи-

тель, говорят:

— Любезьная особа, отвесь нам, голубушька, пиять кило масьла.

Продавец начинает энергично резать масло, но один из приезжих говорит:

— Милль пардон! Не пиять кило, а десять, любезьная особа…

Продавец говорит:

— Так бы сразу и мычали, что десять. Я бы вам одним куском отвернул.

И снова начинает резать масло.

Тогда другой иностранец обращается к продавцу:

— Я желает получить больше масьла. Мне нужно масьла сто восемь кило. Можно ли, любезьная особа, получить у вас такое количество?

Продавец говорит заведующему:

— Вон сколько они хотят.

Заведующий говорит:

— Отпустите им столько и даже больше, хоть целую тонну, а если не хватит, то я сейчас велю со склада доставить.

Продавец говорит туристам:

— Платите, милорды, в кассу тысячу восемьсот тридцать два рубля. Сейчас провернем эту операцию.

И он начинает вращать бочонки с маслом.

Целая толпа посетителей собирается у прилавка, чтобы видеть, как туристы поволокут свое масло.

Вдруг заведующий говорит:

— Позвольте, но где же эти иностранцы?

Некоторые из посетителей говорят:

— Они сейчас тут вертелись, и вот их теперь нет.

Тут все видят, что иностранцев действительно нет в магазине.

И кассирша кричит: денег они не платили.

Тогда заведующий, усмехнувшись, говорит:

— Это абсолютно ясно. Они хотели поглядеть, свободно ли у нас в стране продается масло и можно ли приобрести такое количество в одни руки. И, убедившись, что можно, они теперь скрылись, поскольку они интересовались не покупкой, а политикой.

Тут среди покупателей начался смех. Некоторые начали острить, дескать, у них купило притупило.

А продавец, вращавший бочонки, отчасти даже рассердился.

Он выбежал из двери магазина и крикнул:

— Нетактично, господа, поступаете!

А один из посетителей, выбежавший из магазина вместе с ним, закричал:

— Эй, вы, стрикулисты!

Заведующий не позволил больше кричать вслед иностранцам и велел продавцу встать за прилавок.

Тут среди покупателей снова начались шутки и остроты насчет несостоявшейся покупки.

Потом все успокоилось, и жизнь в магазине потекла нормально.

В пушкинские дни

Первая речь о Пушкине

С чувством гордости хочется отметить, что в эти дни наш дом не плетется в хвосте событий.

Нами, во-первых, приобретен за 6 р. 50 к. однотомник Пушкина для всеобщего пользования. Во-вторых, гипсовый бюст великого поэта установлен в конторе жакта, что, в свою очередь, пусть напоминает неаккуратным плательщикам о невзносе квартплаты.

Кроме того, под воротами дома нами вывешен художественный портрет Пушкина, увитый елочками.

И, наконец, данное собрание само за себя говорит.

Конечно, может быть, это мало, но, откровенно говоря, наш жакт не ожидал, что будет такая шумиха. Мы думали, ну, как обыкновенно, отметят в печати: дескать, гениальный поэт, жил в суровую, николаевскую эпоху. Ну, там на эстраде начнется всякое художественное чтение отрывков или там споют что-нибудь из «Евгения Онегина».

Но то, что происходит в наши дни, — это,

откровенно говоря, заставляет наш жакт насторожиться и пересмотреть свои позиции в области художественной литературы, чтоб нам потом не бросили обвинение в недооценке стихотворений и так далее.

Еще, знаете, хорошо, что в смысле поэтов наш дом, как говорится, бог миловал. Правда, у нас есть один квартирант, Цаплин, пишущий стихи, но он бухгалтер и вдобавок такой нахал, что я прямо даже и не знаю, как я о нем буду говорить в пушкинские дни. Приходит позавчера в жакт, угрожает и так далее. «Я, — кричит, — тебя, длинновязый черт, в гроб загоню, если ты мне до пушкинских дней печку не переложишь. Я, — говорит, — через нее угораю и не могу стихов писать». Я говорю: «При всем чутком отношении к поэтам я тебе в данное время не могу печку переложить, поскольку наш печник загулял». Так ведь кричит. За мной погнался.

Еще спасибо, что среди наличного состава жильцов у нас нет разных, знаете, писательских кадров и так далее. А то бы тоже, наверно, в печенку въелись, как этот Цаплин.

Ну, мало ли, что он может стихи писать. Тогда, я извиняюсь, и мой семилетний Колюнька может в жакт претензии предъявлять: он тоже у меня пи-

шет. И у него есть недурненькие стихотворения:

> *Мы, дети, любим тое время, когда птичка в клетке.*
>
> *Мы не любим тех людей, кто враг пятилетке.*

Шпингалету семь лет, а вот он как бойко пишет! Но это еще не значит, что я его хочу равнять с Пушкиным. Одно дело — Пушкин, а другое дело — угоревший жилец Цаплин. Прохвост такой! Главное, навстречу жена идет, а он за мной как погонится. «Я, — кричит, — тебя в мою печку головой сейчас суну». Ну что это такое?! Сейчас пушкинские дни происходят, а он меня так нервирует.

Пушкин пишет так, что его каждая строчка — верх совершенства. Такому гениальному жильцу мы бы еще осенью переложили печку. А что ему будем перекладывать, Цаплину, — это я прямо поражаюсь.

Сто лет проходит, и стихи Пушкина вызывают удивление. А, я извиняюсь, что такое Цаплин через сто лет? Нахал какой!.. Или живи тот же Цаплин сто лет назад. Воображаю, что бы там с него было и в каком бы виде он до наших дней дошел!

Откровенно говоря, я бы на месте Дантеса этого Цаплина ну прямо изрешетил. Секундант бы сказал: «Один раз в него стрельните», а я бы в него все пять пуль выпустил, потому что я не люблю нахалов.

Великие и гениальные поэты безвременно умирают, а этот нахал Цаплин остается, и он нам еще жилы повытянет.

(Голоса: Расскажите про Пушкина.)

А я про Пушкина и говорю, а не про Лермонтова. Стихи Пушкина, я говорю, вызывают удивление. Каждая строчка популярна. Которые и не читали, и те его знают. Лично мне нравятся его лирические стихи из «Евгения Онегина»: «Что ты, Ленский, не танцуешь» — и из «Пиковой дамы»: «Я хотел бы быть сучочком».

(Голоса: Это оперное либретто. Это не Пушкина стихи.)

То есть как это не Пушкина? Что вы мне баки заколачиваете?.. Хотя я перелистываю наш однотомник и вижу — в «Пиковой даме» действительно нет стихов... Ну, если эти стихи «Если б милые девицы все б могли летать как птицы» не Пушкина, то я уж и не знаю, что про этот праздник подумать. Короче говоря, я не буду Цаплину перекладывать печку. Одно дело — Пушкин, а

другое дело — Цаплин. Нахал какой!

Вторая речь о Пушкине

Конечно, я, дорогие товарищи, не историк литературы. Я позволю себе подойти к великой дате просто, как говорится, по-человечески.

Такой чистосердечный подход, я полагаю, еще более приблизит к нам образ великого поэта.

Итак, сто лет отделяют нас от него! Время действительно бежит неслыханно быстро!

Германская война, как известно, началась двадцать три года назад. То есть когда она началась, то до Пушкина было не сто лет, а всего семьдесят семь.

А я родился, представьте себе, в 1879 году. Стало быть, был еще ближе к великому поэту. Не то чтобы я мог его видеть, но, как говорится, нас отделяло всего около сорока лет.

Моя же бабушка, еще того чище, родилась в 1836 году. То есть Пушкин мог ее видеть и даже брать на руки. Он мог ее нянчить, и она могла, чего доброго, плакать на руках, не предполагая, кто ее взял на ручки.

Конечно, вряд ли Пушкин мог ее нянчить, тем более что она жила в Калуге, а Пушкин, кажется, там не бывал, но все-таки можно допустить эту

волнующую возможность, тем более что он мог бы, кажется, заехать в Калугу повидать своих знакомых.

Мой отец, опять-таки, родился в 1850 году. Но Пушкина тогда уже, к сожалению, не было, а то он, может быть, даже и моего отца мог бы нянчить.

Но мою прабабушку он наверняка мог уже брать на ручки. Она, представьте себе, родилась в 1763 году, так что великий поэт мог запросто приходить к ее родителям и требовать, чтобы они дали ему ее подержать и ее понянчить… Хотя, впрочем, в 1837 году ей было, пожалуй, лет этак шестьдесят с хвостиком, так что, откровенно говоря, я даже и не знаю, как это у них там было и как они там с этим устраивались… Может быть, даже и она его нянчила… Но то, что для нас покрыто мраком неизвестности, то для них, вероятно, не составляло никакого труда, и они прекрасно разбирались, кого нянчить и кому кого качать. И если старухе действительно было к тому времени лет под шестьдесят, то, конечно, смешно даже и подумать, чтобы ее кто-нибудь там нянчил. Значит, это уж она сама кого-нибудь там нянчила.

И, может быть, качая и напевая ему лирические

песенки, она, сама того не зная, пробудила в нем поэтические чувства и, может быть, вместе с его пресловутой нянькой Ариной Родионовной вдохновила его на сочинение некоторых отдельных стихотворений.

Что же касается Гоголя и Тургенева, то их могли нянчить почти все мои родственники, поскольку еще меньше времени отделяло тех от других. Вообще я так скажу: дети — украшение нашей жизни, и счастливое детство — это, как говорится, очень и очень немаловажная проблема, разрешенная в наши дни. Детские ясли, очаги, комнаты матери и ребенка на вокзалах — все это суть достойные признаки одного и того же дела… Да, так про что же это я?

(Голос с места: Про Пушкина…)

Ах да… Вот я и говорю — Пушкин… Столетняя дата. А там, глядишь, вскоре ударят и другие славные юбилеи — Тургенев, Лермонтов, Толстой, Майков и так далее, и так далее. И пойдет чесать.

Вообще, между нами говоря, в другой раз даже как-то удивляешься, почему к поэтам бывает такое отношение. К певцам, например, я не скажу, чтоб у нас плохо относились, но уж настолько с ними не носятся, как с этими. А тоже, как

говорится, таланты. И за душу хватают. И эмоциональность. И пятое-десятое.

Конечно, я не спорю, Пушкин — великий гений, и каждая его строчка представляет для нас известный интерес. Некоторые, например, уважают Пушкина даже за его мелкие стихотворения. Но я бы лично этого не сказал. Мелкое стихотворение — оно и есть, как говорится, мелкое и не совсем крупное произведение. Не то чтобы его может каждый сочинять, но, как говорится, посмотришь на него, а там решительно нет ничего такого уж слишком, что ли, оригинального и художественного. Например, представьте себе набор таких, я бы сказал, простых и маловысокохудожественных слов:

Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки Жучку посадив…
Шалун уж заморозил пальчик…

(Голос с места: Это «Евгений Онегин»… Это не мелкое стихотворение.)

Разве? А мы в детстве проходили это как отдельное стихотворение. Ну, тем лучше, очень рад. «Евгений Онегин» — это действительно гениальная эпопея… Но, конечно, и в каждой эпопее могут быть свои отдельные художествен-

ные недостатки. Вообще я так скажу: для детей это очень интересный поэт. И в свое время там у них он, может быть, даже был попросту детский поэт. А до нас, может быть, дошел уже несколько в другом виде. Тем более наши дети, знаете, как выросли. Их уже не удовлетворяет детский стих:

Паровозик чук-чук-чук,
Колесики тук-тук-тук,
Госиздату гип-ура,
Пети-мети автора...

Помню, знаете, у нас в классе задали выучить одно мелкое, ерундовое стихотворение Пушкина. Не то про веник, не то про птичку или, кажется, про ветку. Что будто бы растет себе ветка, а ей поэт художественно говорит: «Скажи мне, ветка Палестины...»

(Голос с места: Это из Лермонтова...)

Разве? А я их, знаете, обыкновенно путаю... Пушкин и Лермонтов — это для меня как бы одно целое. Я в этом не делаю различия...

(Шум в зале. Голоса: Вы лучше расскажите про творчество Пушкина.)

Я, товарищи, к этому и подхожу. Творчество у Пушкина вызывает удивление. Ему за строчку стихов платили по червонцу. Кроме того, посто-

янно переиздавали. А он, несмотря на это, писал, и писал, и писал. Прямо удержу нету.

Конечно, придворная жизнь ему сильно мешала сочинять стихи. То балы, то еще что-нибудь. Как сказал сам поэт:

Откуда шум, неистовые клики?

Кого, куда зовут и бубны, и тимпан…

Тимпан! Договорится же человек до этого… Конечно, не будем останавливаться на биографических данных поэта: это всем известно. Но тоже, как говорится, с одной стороны — личная жизнь, квартира в семь комнат, экипаж, с другой стороны — сам царь, Николай Палкин, придворная жизнь, лицей, Дантес и так далее. И, между нами говоря, Тамара ему, конечно, изменила…

(Шум в зале. Крики: Наталья, а не Тамара.)

Разве? Ах да, Наталья. Это у Лермонтова — Тамара… Вот я и говорю. А Николай Палкин, конечно, сам стихов не писал. И поневоле, конечно, мучился и завидовал поэту…

(Шум в зале. Отдельные возгласы, переходящие в крики. Некоторые встают: Довольно! Уберите оратора!)

Так вот, я кончаю, товарищи… Влияние Пушкина на нас огромно. Это был гениальный и

великий поэт. И приходится пожалеть, что он не живет сейчас вместе с нами. Мы бы его на руках носили и устроили бы поэту сказочную жизнь, если бы, конечно, знали, что из него получится именно Пушкин. А то бывает, что современники надеются на своих и устраивают им приличную жизнь, дают автомобили и квартиры, а потом оказывается, что это не то и не то. А уж, как говорится, взятки гладки… Вообще, темная профессия, ну ее к богу в рай. Певцы как-то даже больше радуют. Запоют, и сразу видно, какой голос.

Итак, заканчивая свой доклад о гениальном поэте, я хочу отметить, что после торжественной части будет художественный концерт.

(Одобрительные аплодисменты. Все встают и идут в буфет.)

Дома и люди

Дом, в котором я сейчас живу, — очень солидный, современный дом недавней постройки.

В архитектурном отношении — это очень интересное здание. Оно очень любовно и не без души сделано.

Каждая квартира имеет балкон. Окна широкие. И солнце могучим потоком, без затруднения, проникает в крошечные уютные квартирки. Всюду ванны, мусорные ящики. Лестница вполне симпатичная, но немножко, к сожалению, узкая. Так что рояли пришлось подавать в окна, что, конечно, в свою очередь, до некоторой степени снижало музыкальную культуру.

И один наш композитор, взявший квартиру в пятом этаже, невыразимо страдал, когда тянули на канате предмет его творчества.

И действительно, это было как-то неестественно. Тем более что очень уж много было крику, когда его музыкальный инструмент стали подавать на блоке. Особенно стон стоял, когда с воздуха его стали протискивать в окно. Это был прямо музыкальный момент.

Но процедура закончилась вполне успешно,

что все-таки делает честь архитектору, который подсознательно учел, что маленькие окна окончательно зарезали бы композиторов.

Так или иначе, это пианино благополучно водворили в помещение. И композитор почти что сразу стал на нем бренчать, так что жильцы из четвертого этажа рысью побежали жаловаться управдому, поскольку слышимость оказалась уж очень что-то удивительная. Тот, представьте себе, играет пианиссимо, а до этих доходит такой тамбурмажор, что, как говорилось, хоть святых вон выноси!..

В художественном отношении наш дом тоже ничего себе оформлен. Имеются разные лепные украшения: гирлянды и кружочки. И это как-то ласкает взор.

Вдобавок, начиная с третьего этажа и выше, почему-то две колонны стоят и, как говорится, кушать не просят.

Собственно говоря, эти две колонны как бы даже ни к чему. Потому что все-таки назначение колонны — что-нибудь там поддерживать. А эти колонны вроде как бы даже ничего не поддерживают. А уж если на то пошло, их до некоторой степени дом поддерживает. Но и то хорошо, что их дом поддерживает. Все-таки античное искус-

ство, так сказать, не падает.

А тоже упадет такая кирпичная махина, так благодарю вас за греческую архитектуру!

Но вот уже третий год все идет благополучно, и это лишний раз доказывает, как стойко держится у нас эллинское искусство.

Очень оригинально у нас дворик устроен. Тоже, если хотите, на античный лад. Но уже нечто римское чувствуется. Отчасти он напоминает летние римские бани или внутренние небольшие помпейские дворики для хозяйственных нужд.

Небольшой размер дворика не остановил все-таки архитектора в его стремлении дать что-нибудь исключительное. Посередине двора устроен большой фонтан. Такой бассейн, и в центре лепная женская фигура с кувшином. И на это довольно забавно смотреть, когда вечерком идешь через двор слегка под мухой.

Нет, в художественном отношении наш архитектор максимально мобилизовал свои силы. Даже можно было немного меньше стараться. Тем более, я так думаю, дома главным образом украшают люди, которые въезжают туда со своим новым бытом.

Но в общем и целом наш дом хорошо устроен. И, за исключением вышеуказанных мелочей, все

в полном порядке и все как и требуется.

Все-таки наши архитекторы до некоторой степени как-то справляются со своей задачей.

Бывало, выйдешь вечерком на свой балкон и чувствуешь себя современным жильцом нашего столетия. Красиво, высоко и легко дышится.

Но вот утром такой красоты уже нет. Утром уже не так славно получается, потому что напротив нашего дома притулились два паршивеньких домика весьма пошлой мещанской архитектуры.

И на эти домики царской постройки очень уж невыносимо смотреть с высоты своего балкона. Они, так сказать, портят всю панораму и снижают архитектурную мысль до уровня посредственности.

Вообще, если говорить об архитектуре, то это большой минус, что, выводя современные постройки, рядом по большей части оставляют такие мизерные дома.

Федот, да не тот

Дело, о котором мы вам хотим рассказать, на первый взгляд пустое и незначительное дело: присудили платить алименты однофамильцу.

Читателю, вероятно, не раз приходилось слышать о подобных фактах.

Ну, ошибка. Мелкая канцелярская неувязка. Досадная оплошность.

Но обилие такого рода ошибок заставляет внимательно к этому присмотреться.

Вот, например, на днях в «Красной газете» приводились примеры ошибок, допущенных милицией. Одного гражданина пытались ограбить. Прокурор обнаружил, что по ошибке задержан «заодно» и сам потерпевший. Другой гражданин, якобы по решению суда, просидел в 25-м отделении милиции более суток. При проверке оказалось, что с него надо было лишь взять подписку о невыезде.

Конечно, в каждом деле могут быть ошибки. Но если внимательно присмотреться, то за такого рода ошибками всегда почти можно увидеть непродуманность, небрежность и неуважительное отношение к человеку. Фамилия берется как

пустой звук, как канцелярский значок, нужный для исполнения. А ведь за каждой фамилией — живой человек, живая жизнь, родные, знакомые, дети.

И такого сорта ошибки непростительны, и отвечать за них нужно по всей строгости, потому что зловредность таких ошибок исключительно высока.

Вот наглядный пример — дело, о котором мы начали говорить.

Один ленинградский рабочий с завода «Севзаплес», Иван Алексеевич Котов, полгода назад получил из Москвы повестку с требованием явиться в суд по делу об алиментах.

Жена Котова, увидев эту повестку, весьма сильно расстроилась и огорчилась, и семейная жизнь Котова подверглась тяжкому испытанию.

Но Котов не чувствовал за собой вины. Он в Москву не поехал, а взял и написал судье письмецо, в котором сообщил, что повестка его очень удивила и он теперь хотел бы знать, кто именно требует с него алименты.

Судья сообщил ему фамилию гражданки и при этом заявил, что заочное решение суда уже состоялось и четверть заработка будет с него удерживаться.

Семейная жизнь Котова еще того более ухудшилась. Тогда Котов решил добиться справедливости. Проживая на Большой Охте, он обратился к местному юристу с просьбой распутать его дело. Юрист, сорвав трояк, ничего путного не мог ему посоветовать и даже еще больше расстроил потерпевшего, сказав, что он и сам просто не представляет себе, с какого конца надо взяться, чтоб что-нибудь получилось.

Тогда Котов обратился «к более ценному юристу — на Невском».

Он там заплатил пятнадцать целковых. И там ему юрист настрочил в Москву письмо — дескать, как же так, помилуйте, что же вы — очумели, дескать, мой Котов — вот он, а вы лезете со своим. Безобразие.

Письмо это возымело действие. И через месяц Котов, к своему ужасу, снова получил из Москвы повестку с требованием явиться в суд.

Придя к мысли, что без его личного присутствия дело не раскроется, Котов собрал кое-какие деньжонки и, скрепя сердце, выехал в Москву.

В московском суде произошла классическая сцена. Молодая женщина со словами: «Ах, это не тот» — отказалась от Котова.

Тогда Котов сказал судье:

— Вот видите, что произошло. Я же вам писал, что это не я. Хотел бы я знать, кто же мне теперь заплатит двести четырнадцать рублей, которые я истратил на поездку в Москву?

Судья ответил, что это скорей всего адресный стол напутал и пусть он к ним обратится.

С некоторым моральным удовлетворением Котов, вернувшись в Ленинград, направился в адресный стол. Но в адресном столе ему сказали, что они ни при чем, что тут в самом запросе было перепутано отчество. И что повинен в этом московский суд. И если Котов к этому делу не остыл, то пусть на них и подает в суд.

Не зная, как это сделать, Котов обратился за советом (как он нам пишет) «к одному своему знакомому милиционеру».

Обдумав дело, милиционер так ответил:

— Ничего не получится. Что израсходовал, того уже нету, а что тебя оправдали, то это очень хорошо.

Практический ум знакомого милиционера и его соломоновское решение не остановили Котова в его законном желании распутать дело. И вот он обратился в редакцию с просьбой оказать содействие.

«И если, — он пишет, — вы не ублаготворите

мою просьбу, то буду обращаться по дистанциям до высшей...»

Такая решимость вполне похвальна. И мы охотно беремся помочь пострадавшему.

Конечно, юрист с Большой Охты, который сорвал с Котова трояк, был до некоторой степени прав — дело не так легко распутать.

В общем, все же одно из двух: либо адресный стол наврал, либо в суде отчество перепутали.

И в том и в другом случае можно виновников притянуть к ответу.

Конечно, вряд ли, но может быть еще и третий случай. Может быть, сама гражданка не совсем твердо знала отчество своего Котова. Или она позабыла, или мало ли что бывает. Взяла и, может быть, назвала отчество нашего Котова. Вот если это так, то мы побаиваемся, как бы не оправдались грустные слова знакомого милиционера: «Что истрачено, того уж нет».

А вообще нам кажется, что было бы вполне правильно, если человек, допустивший ошибку, участвовал бы в расходах.

У нас есть один «знакомый прокурор», которого мы и попросим, по мере возможности, выяснить это дело и посодействовать И. А. Котову.

В общем, благодаря дурацкой ошибке истраче-

ны деньги, потеряно время, испорчены нервы и до сего времени тянется канитель.

Конечно, ошибки, повторяем, бывают. Но уж лучше пусть астрономы ошибаются в своих вычислениях — сколько километров до Луны и сколько весит планета Марс, чем допускать ошибки в таком деле, где имеются живые люди и где могут возникать подобные неприятности, расходы и огорчения.

Бедный дядя

Тут к одному жильцу с нашего дома приехал погостить один субъект. Его родственник. Кажется, дядя с маминой стороны. Или что-то в этом духе.

Во всяком случае, его у нас прописали временно. Тем более прошлое у этого дяди оказалось слегка подмоченное. Он еще при нэпе схлопотал себе семь лет за какие-то неправильные действия плюс воровство и плюс еще что-то.

Но он весьма усиленно работал на стройке и довольно быстро там перековался. Причем его чем-то даже премировали. И, кажется, какой-то значок ему дали. Во всяком случае, он какую-то санитарную блямбочку носил на груди.

Так или иначе, племянник первое время весьма гордился, что у него такой дядя. И даже хлопотал, чтоб с него брали квартплату меньше, чем обыкновенно. Дескать, дядя у него живет, герой строительства. Дескать, пришлось потесниться, впустить дядю. Нельзя ли, дескать, временно снизить квартирную ставку. Но этот номер ему не прошел. Так что пришлось даже кое-что за дядю приплатить. И это был первый удар по самолюбию племянника, который думал, что с

приездом дяди у него начнется райское житье.

А дядя был по виду весьма арапистый человек. Он даром что перековался, но глаза у него сверкали, как у мошенника, когда он глядел на проходящих наших расфранченных жилиц с ихними сумочками, меховыми горжетками на шейках и так далее.

Но никаких эксцессов этот дядя пока себе не позволял. Тем более что первое время он все больше ударял по пивной.

Он там просаживал свои деньги, скопленные я уж не знаю каким образом.

А потом, когда дядя благодаря такой сумбурной жизни профершпилился, он стал занимать у своего племянника. И это был второй удар по гордым замыслам нашего квартиранта, у которого дядя в короткое время «забодал» не меньше ста рублей.

В общем, наш племянник пришел в ужас от поведения своего дяди. И он так ему сказал:

— Ах, дядя, лучше вы катитесь отсюда к черту на рога, если вы намерены продолжать в том же духе. Я имею скромную должность кладовщика, и я не могу поспевать за вашими интересами.

Узнав, что племянник — кладовщик и благодаря этой своей должности караулит кое-что ценное, как-то: нитки, пуговицы, катушки и так

далее, — дядя развеселился и пришел в хорошее настроение.

Уж я не знаю, каким образом, но он воздействовал на неустойчивую психику своего племянника. И подбил его украсть из склада некоторое количество товара, с тем чтоб они продали это и доход поделили пополам.

И племянник, этот кристально честный до сего времени служащий, взял, по наущению своего дяди, десять гроссов разных катушек и отдал их своему дяде, с тем чтоб тот все это где-нибудь продал.

При этом племянник так сказал своему дяде:

— Только продавайте, дядя, с осторожностью. А то если вы засыпетесь, то мне благодаря вас влепят не меньше пяти лет.

Дядя окончательно развеселился и сквозь смех так ответил своему племяннику:

— В этом деле я, по крайней мере, окончил университет. Я не могу себе представить, что я с этой работой попадусь. Конечно, я не был в городе десять лет и теперь на все гляжу не без удивления. Я тут вижу, например, что игорных клубов у вас уже нету. У вас негде одним махом выиграть деньги и устроить себе сказочную жизнь. У вас, по-моему, нельзя даже придумать какую-нибудь

выгодную комбинацию. Все вокруг как с ума сошли, работают: колют, рубят, носят, пишут и так далее. И в этом смысле я действительно вижу у вас, у городских, перелом в настроении. Но что касается ниток, то нитки я при любом надзоре продам и не попадусь.

Короче говоря, дядя взял нитки и зашел их продать в магазин.

Он отозвал заведующего в сторонку и так ему сказал:

— Могу продать нитки по дешевой цене. Если хотите — купите. Если нет — не кричите и хай не подымайте, поскольку вы от этого ничего не выиграете.

Заведующий говорит:

— Добре. Пройдите сюда и тут маленько посидите, пока я отсчитаю вам деньги.

Бедный дядя сделал два шага, и тут заведующий грубо пихнул его в уборную и закрыл за ним дверь.

Бедный дядя кричал и вопил в своем заключении и даже там хотел повеситься на цепочке, но прибывшая милиция освободила его и велела ему рассказать, что с ним.

И дядя, находясь в полном обалдении, все сразу рассказал и даже сам удивился, с чего бы это он

так разоткровенничался.

Милиционер прямо чуть не упал от смеха, когда дядя сказал, что он при своем опыте попался в первом же магазине.

Милиционер сказал:

— По-моему, вы не учли перемену в нашей жизни за эти десять лет.

Дядя говорит:

— Нет, я учел, но только я не понял умственное настроение заведующего. Ну на что он, собака, рассчитывал, когда он меня пихнул в уборную? Что он хотел — выслужиться? Или он скорей всего побоялся купить нитки, чтоб самому не зашиться? Вот тут я что-то действительно не понимаю. Но моя мысль склоняется к тому, что тут был страх. И это я не учел.

Заведующий говорит:

— Напротив того, с моей стороны это был нормальный гражданский акт.

Дядя говорит:

— Ах, лучше бы я пошел на рынок продать эти нитки! Наверно, там, на рынке, еще есть у вас частная мысль, и, наверно, там я бы не попался, как дурак.

Заведующий говорит:

— С твоей устаревшей техникой ты бы и на

рынке попался в первые пять минут.

Милиционер говорит:

— Ну, довольно дискуссировать, пойдем, я тебя представлю куда следует.

Дядя попрощался с заведующим и отбыл вместе с милиционером.

Воображаем, в какой панике сейчас его племянник.

Была без радости любовь

Один молодой гражданин написал мне письмо с просьбой помочь ему в его нестерпимом горе.

Это письмецо он послал на адрес редакции журнала «Крокодил». Поэтому вся наша редакционная общественность сильно заинтересовалась судьбой этого человека и поручила мне что-нибудь сделать.

Я хотел было тиснуть в печать все это письмо целиком. Но, к сожалению, оно длинное, не очень-то грамотное, и вдобавок оно написано в момент сильного душевного волнения, так что стиль там неровный и слог черт знает какой.

По этой причине мы решили напечатать только некоторые выдержки из письма. А все остальное мы для ясности восприятия расскажем собственными словами.

В общем, вот как у них было.

В феврале 1937 года один молодой человек, некто Мишин (автор письма), прибыл на работу в совхоз, в политотдел.

И вечером, беседуя с председателем рабочкома, он с более общих тем перешел на частные темы и, вздохнувши, сказал председателю: дескать, вот

приходится работать в глуши, дескать, досадно ничего особенного не видеть, дескать, как тут у вас насчет женщин. «Хорошеньких небось совсем нет? Очень мило! Уж не знаю, право, как я тут буду у вас работать».

Председатель рабочкома, покраснев, сказал, что вот было бы чудно, если б он месяц назад приехал. Вот тогда тут в совхозе работала одна агрономша-красавица, Ася Комарова. Вот она действительно имела выдающуюся внешность и, наверно, понравилась бы приезжему. Но она, к сожалению, уже уехала на место своего жительства. А тут сейчас осталась другая агрономша — ее подруга, которая далеко не красавица, если не сказать больше.

В общем, второй агрономшей наш молодой человек не заинтересовался и, вздохнувши еще раз, сказал, что ему просто не везет и он теперь прямо не представляет, чем бы ему здесь заняться в свободное время.

Немного выпив и поговорив еще кое о чем, собеседники разошлись.

Потянулась будничная жизнь. Скучая и грустя, наш молодой человек зашел как-то от нечего делать на почту. И поинтересовался, много ли сельские жители пишут. И, узнав, что много, стал

разбирать эти письма и стал глядеть на конверты, чтобы увидеть, кто, куда и кому пишет.

И вдруг на одном письме он увидел заветную фамилию — «Комарова».

Внимательно прочитав конверт, он увидел, что это письмо адресовано Асе Комаровой, этой красавице агрономше, о которой как раз ему и говорил председатель рабочкома. Обратный адрес на конверте указывал, что это письмо посылает другая агрономша, ее подруга, оставшаяся тут, в совхозе.

Дрожащей рукой наш молодой человек списал адрес и, придя домой, настрочил красавице письмецо: дескать, ах, как жаль, что она уехала, дескать, вот было бы счастье, если б она была тут. Дескать, не хотите ли, Ася, переписываться? Я буду, дескать, вам писать, а вы мне, и, может быть, в дальнейшем у нас с вами что-нибудь завяжется интересненькое.

Вот он посылает это письмо и через несколько дней, дрожащий от счастья, получает ответ: дескать, вот и хорошо, я оценила ваш порыв, ладно, я буду вам отвечать на ваши письма, это до некоторой степени интересно, пишите.

И вот у них завязалась переписка.

Они вскоре обменялись фотографическими

карточками. И оба были поражены и обрадованы, что их надежды оправдались и заветные мечты сбылись.

После этого письма наполнились нежными словами и обещаниями. И в сердцах наших героев разгорелась любовь.

Молодой человек чуть не ежедневно строчил ей о том о сем. И она ему отвечала.

Больше года у них шла переписка. И наконец они поняли, что не могут жить друг без друга.

Он обещал приехать к ней. Но у него не было хорошего зимнего пальто, и потому свой приезд он переложил на лето.

В общем, 27 июля сего года он приехал к ней на станцию Т.

Наше загрубелое перо, уважаемый читатель, навряд ли может справиться с описанием дальнейших событий, а потому мы предоставим автору письма самому высказаться. Вот как он пишет по этому поводу:

«27 июля я прибыл туда, где она жила. Прибыл утром. И пошел в гостиницу, так как мне надо было привести себя в порядок. Мне отвели общий зал и койку из двух досток за 50 копеек. Когда я посмотрел свой номер, мне стало «жутко» — зачем я сюда приехал. И я как дурак просидел в этом

номере полсуток. А потом взял свой «чемодан» и решил идти на квартиру к своей возлюбленной и там с ней ознакомиться, чем ей сюда прийти и видеть то, что здесь есть».

В общем, молодой человек поступил, конечно, правильно. Воображаем, что это был за номер, если приезжего охватила жуть и он «полсуток» сидел в нерешимости, что ему делать. Итак, он пошел к ней. Вот как об этом он пишет:

«В четыре часа дня я прибыл на квартиру к Комаровой. Но там была одна бабушка, а две сестры, Ася и Женя, и их мать «Анна Петровна» были на «базаре». Я их жду, когда они придут с «базара». И вот я «сежу» и жду как «дурак». И меня трясет и всего ломает, как «малярия». То есть я «сежу» как на угольях. Тогда я решил переодеться, чтоб вид иметь лучше. Пока я переодевался, в это время пришла с «базара» ее младшая сестра Женя. Бабушка через окно ей сказала: не входите, тут в «коридоре» переодевается один приезжий человек. И она, Женя, влезла в дом через окно. И меня спросила, зачем я тут переодеваюсь. Я ей сказал: я жду мою возлюбленную Асю Комарову. Женя сказала: я ее сестра, она сейчас придет с «базара». Через двадцать минут на «велосипеде» быстро округ дома проехала Ася, которую я жду. Я пошел

ей навстречу и ей отрекомендовался, что я самый тот «герой», который вас любил заочно год и четыре месяца. Ася в это время была очень взволнована и крайне удивлена. И смотрела на меня, как будто бы это был не я, а кто-нибудь другой».

Волнение чувств у автора письма не позволяет ему описывать дальнейшее с прежней четкостью. Он перескакивает с предмета на предмет и пишет несуразно, так что мы и не рискнем предлагать читателю конец его письма.

Скажем кратко. Ася Комарова не задерживала его долго в помещении. Она сказала, что тут неудобно им беседовать и что пусть он вечером придет в «садик» (почему некоторые слова автор письма берет в кавычки, мы не понимаем).

В общем, наш молодой герой, взволнованный и потрясенный, пошел вечером в «садик». Но, не дойдя до «садика», он встретил Асю, которая ему прямо сказала: «Вы мне совершенно не нравитесь».

Молодой человек «стоял, как громом ошарашен».

Печальную сцену расставанья он описывает так:

«Я сказал ей: Но вы же меня любили. Она мне сказала: Нет, надо видеть живую действи-

тельность, а фотография не то передает, что ожидаешь. Я спросил ее: Сколько сейчас время? Она ответила мне: Уже одиннадцать часов. Я сказал: Я на «поезд» опоздал… Я не мог успеть уехать обратно, и я провел всю ночь один и не мог спать ни минуты. И мне еще «сутки» надо было ждать до отхода «поезда». И я, не помня себя, как в угаре, дождался «поезда». И уехал от своей знакомой».

На этом письмо заканчивается.

К письму автор делает приписку:

«1) Прошу вашего совета, что мне делать. 2) Не могу ли я через милицию отобрать у нее мои письма, хотя она и говорит, что рвала их, но я полагаю, что она хранит их у себя. 3) Можно ли этот материал поместить в одном из журналов?»

Отвечаем:

1) Делать ничего не надо. Надо пережить разлуку. И надо, приведя свои чувства в порядок, полюбить какую-нибудь другую девушку не заочно и не по фотографии, а в реальной действительности. Тогда не будет таких огорчений.

2) Через милицию отобрать письма не можете. А если она говорит, что она письма рвала, то это скорей всего так и есть. Похоже на то.

3) Материал помещаем в журнале. Но помеща-

ем не с тем, чтобы обличить девушку. Наоборот.

По нашему мнению, молодой наш герой совершил грубую ошибку и даже провинность, за что и был по заслугам наказан жизнью. Наш герой влез на почту и сунул свой нос в чужие письма.

Мы удивляемся, как начальник почтового отделения допустил до этого.

Пронырливый молодой герой списал с чужого письма адрес. И сам заварил всю кашу. Вдобавок и фотографию он, наверно, послал какую-нибудь особенную. Наверно, умолил фотографа, чтоб тот замазал ему все угри и прыщи. Вот оно и получилось, что возлюбленная его не признала.

А если не признала и не полюбила, то уж тут, как говорится, и сам прокурор не поможет.

Советуем завить горе веревочкой и предать все забвению. Была без радости любовь, разлука будет без печали.

О вывесках

Не знаю, как вы, уважаемые граждане, а лично я научился читать по вывескам.

Бывало, шестилетним шпингалетом иду по улице и по складам читаю: «Детский рай», ресторан «Медведь», чайная «Веселая долина» и так далее.

И представьте себе, научился читать и до сих пор, как говорится, не забываю эти свои научные достижения.

Конечно, в настоящее время научиться по вывескам было бы много трудней.

В другой раз глядишь на вывеску, будучи уже, как говорится, взрослым оболтусом, и вроде как не понимаешь, что к чему. В другой раз даже мысль отказывается работать в данном направлении.

По-моему, некоторые вывески могут даже создать тревожное состояние у ребенка. Не скажу, что ребенок от этого заболеет или станет умственно отсталым, но некоторая тень может лечь на неокрепший мозг.

Особенно озадачивают такие вывески, например: «Райжилстройброй» или «Кройбейшвей».

Отчасти это понятно — всего, как говорится, не выведешь на вывески, чего хочется, и вот поневоле сокращаешься.

Конечно, в свое время это сокращение взяли, чтоб разгрузить телеграф. И насчет телеграфа это абсолютно правильно. Но почему это вошло во все области жизни — вот это не совсем понятно.

Хотя в последнее время на этом фронте восторжествовал здравый смысл. И многие магазины стали по-человечески называться: мясо, хлеб, булки, баранки, груши и так далее.

Вот это хорошо, что наметили такой уклон. Хорошо, да не совсем. Уж если магазин «Булки, баранки», то все магазины во всем городе носят тоже название «Булки, баранки».

А в другой раз, предположим, тебе продали недоброкачественные баранки. И прямо трудно вспомнить, в каком магазине ты купил это самое.

Вот это худо. Худо, да не совсем. Многие покупатели сами от себя окрестили булочные и дали им названия. Некоторые булочные у нас носят названия «Филипповы», некоторые «Лор».

То есть, представьте себе, прошло двадцать лет, а население волей-неволей прибегает к темному прошлому, чтобы разобраться, какой где магазин.

И по этой мелкой причине называют магазин по фамилии бывшего купца и булочника.

У нас, например, один роскошный гастроном так и называют: «Елисеев». Получилось это потому, что чуть не все магазины, торгующие колбасой, называются гастрономы. А от этого в глазах рябит, и если тебя спросят, куда идешь, то сразу не соберешься с мыслями.

Вот это худо.

Конечно, некоторые магазины стали теперь на вывесках ставить цифру: один, два или восемь. Но это скучно, ничего праздничного не дает душе и даже, напротив, убивает поэзию.

Может быть, надо внести некоторое разнообразие. И некоторые магазины стоило бы назвать для примера как-нибудь игриво: «Не хотите ли колбасы» или «Торгуем яблоками и прочей чепухой».

Нет, я не знаю. Наверно, так нельзя называть. Но, может быть, надо опросить симпатичное население или привлечь к этому делу тех же многоуважаемых писателей, артистов и певцов. Может быть, эти последние возьмут и что-нибудь придумают в этом смысле.

Насчет булочных и колбасных я не уверен, что это надо. Но, может быть, и надо. А уж для ресторанов, для кафе и для чайных это обязательно

надо.

В другой раз звонит кто-нибудь и говорит:

— Зайдем, посидим, выпьем по кружечке пива.

Ну, договариваешься, где встретиться. И обыкновенно начинается путаница, поскольку почти все рестораны так и называются: рестораны. А хотелось, чтобы они имели свое единственное какое-нибудь заманчивое название, создающее настроение и жажду жизни.

Это хорошо, когда рестораны и чайные называются: «Встреча друзей», «Под пальмой» или «Не робей — зайди сюда, Петя».

Какая-то в этом есть задушевность. Я не скажу, что от этого будут больше пить. Но кушать, наверно, будут больше. Поскольку от всего хорошего, красивого и торжественного развивается волчий аппетит и благородные соки организма выделяются в изрядном количестве, что способствует пищеварению, вносит здоровье и силу во все области жизни, ослабляет семейный разлад и устраняет ссоры, склоки и неразбериху.

Конечно, тема нашего рассуждения, может быть, на этот раз незначительная и мелкая. В таком случае просим у читателя сердечное извинение и за натурализм, и за мелкую философию на глубоком месте.

Пламенный привет всем покупателям!

Клинический случай

Вот какой удивительный случай произошел со мной.

Давеча захожу в одну амбулаторию полечиться. У меня, как говорится медицинским языком, нервы стали пошаливать.

И вот вхожу в кабинет врача и вижу перед собой брюнета, сидящего за столиком.

Рассказываю ему, что со мной. И он начинает меня слушать.

Он послушал через трубку мое утомленное сердце и говорит:

— Небось высоковато живете? В пятом или в шестом этаже? Эвон как сердце трепыхается.

— Нет, — говорю, — живу во втором этаже.

— Ах, во втором этаже! Это меня устраивает, — говорит врач. — Может, в таком случае ссоритесь с жильцами? Небось коммунальная квартира? Сорок жильцов, крики и так далее?

— Да нет, — говорю, — наоборот: проживаю в маленькой квартирке, где один только глухой профессор с супругой и я.

Доктор говорит:

— Ах вот как! Это становится интересным.

Нуте, положите нога на ногу. Сейчас я вас ударю медицинским молоточком по коленке и увижу, что с вами.

Увидев, что моя нога от удара высоко подскочила, доктор говорит:

— Так и есть. Функциональное расстройство нервной системы.

Я говорю:

— Какое лечение пропишете?

Доктор отвечает:

— Если хотите, пропишу пилюли. Но их бесцельно глотать. Конечно, сразу вам хуже, пожалуй, от них не будет, но я сомневаюсь, что они вам какую-нибудь пользу принесут.

Я говорю:

— А что же тогда делать при этом моем заболевании?

Доктор говорит:

— Многим помогает перемена обстановки. Переезд в другой город. Перемена службы. Обмен квартиры. Все-таки человеку приедается жить сорок лет в одной и той же комнате. Иногда хочется пожить в другой. А для нервов это крайне полезно.

Я говорю:

— В другой город я не поеду. А что касается

обмена квартир, то, — говорю, — это можно сделать, но жалко: хорошая, — говорю, — у меня комната. Чего я буду с бухты-барахты менять ее на худшую?

Доктор говорит:

— А что, большой метраж, что ли?

— Метраж, — говорю, — небольшой — семнадцать метров плюс небольшой отдельный коридорчик.

Доктор говорит:

— Это становится интересным. А встанет в этом вашем мизерном коридорчике книжный шкаф?

Я говорю:

— Свободно могут встать два шкафа и табуретка, и еще останется узкий проход в комнату.

— М-да, — говорит врач, — такие комнаты редко бывают в хорошем районе.

— Нет, — говорю, — и район ничего себе — Петроградская сторона.

— Ах вот как! Действительно, жалко менять такую комнату. Конечно, если доплату дадут, то вы не жалейте, меняйте и переезжайте.

— Без доплаты, — я говорю, — естественно, я и не перееду.

— А много ли хотите доплаты? — говорит врач.

Я говорю:

— Надо осмотреть комнату. Может, мне подкинут такую площадь, что жизни будешь не рад. И вообще я не хочу менять. Что вы, ей-богу, ко мне привязались?

Доктор говорит:

— Конечно, если не хотите, то и не переезжайте. Я же вас за воротник не тащу. Я вам говорю с точки зрения медицины: переезжайте в том случае, если это вам интересно. А если вам неинтересно, то и сидите в своей берлоге, хворайте нервными заболеваниями, умирайте преждевременно.

Я говорю:

— Прямо уж и не знаю, что делать. Главное — комната веселенькая, на солнечной стороне.

— Ах, даже на солнечной стороне! — говорит врач. — Это становится интересным. И что же, целиком она на солнце или она немножко глядит на запад?

— Целиком, — говорю, — на юг. Солнце так и жарит целый день.

— Многие сердечники, — говорит врач, — это худо переносят. Короче говоря, сколько хотите доплаты, если вам дать комнату в двенадцать метров в четвертом этаже?

Я говорю:

— Хотелось бы прежде осмотреть эту вашу пар-

шивую комнатенку.

— В таком случае, — говорит доктор, — запишите мой адрес и вечерком приходите. Насиловать вашу волю я не буду. И за просмотр, за визит, с вас ничего не возьму. А пока одевайтесь и идите с богом, посоветуйтесь с женой.

Вот я оделся и вышел на улицу. И прошел сгоряча два квартала. Потом мне стало досадно, что я плохо полечился. И я решил вернуться к врачу, чтоб спросить, не нужно ли мне ванны принимать с какой-нибудь мурой — морской солью и так далее.

И вот я снова поднимаюсь к этому врачу и вхожу в его кабинет.

А там уже другой пациент. И врач, слушая его в трубку, говорит:

— М-да, сердцебиение порядочное. Небось в пятом этаже живете?

Пациент уныло говорит:

— Живу в седьмом этаже.

— М-да, — говорит врач, — дураков мало меняться с вами. Одевайтесь.

Тогда я подхожу к столу и говорю:

— Довольно странно мне слышать ваши слова, обращенные к другому пациенту. Раз вы со мной договорились насчет комнаты, то зачем же вам

снова расспросами заниматься?

Доктор говорит:

— Четвертый месяц ищу комнату — не могу найти. Всех опрашиваю, и это вошло у меня в привычку. Что касается вашей комнаты, то район меня не совсем устраивает, и через это я стал сомневаться. Уходите оба, сейчас ко мне еще один пациент придет, может быть, из центрального района.

Тут в дверь постучали, и вошел еще один пациент, которому врач сказал:

— Раздевайтесь. Побеседуем, что у кого болит.

В общем, теперь я хочу полечиться у другого врача. А то этот меня еще больше расстроил. И даже у меня теперь начались головные боли.

А может быть, у меня начались головные боли оттого, что мой квартирант-профессор целые дни кипятит какую-то химию в своей колбочке. От этого в квартире вредный запах. И я, кажется, действительно возьму и поменяю свою комнату.

Вот завтра пойду к какому-нибудь врачу и побеседую с ним об этом. Было бы славно, если б попался врач вроде этого. Впрочем, сильно сомневаюсь, что еще раз встречу такого же боевого медика.

Новые времена

В октябре этого года я отдыхал в Крыму, в одном тихом и небольшом курортном местечке К.

И вот какой удивительный случай там произошел. Два молодых пижона немного подвыпили в ресторане и вышли на улицу, чтоб обсудить вопрос о своих дальнейших развлечениях.

Не найдя ничего такого, что бы их развлекло, они, скуки ради, стали задевать проходящих женщин.

А дело было к вечеру. И прохожих было мало.

Вот наши подвыпившие франты, увидев проходящую молодую женщину, стали ей кричать, чтоб она подошла к ним. При этом один из них, грубо и цинично бранясь, стал делать ей всякие оскорбительные предложения.

Смущенная женщина поспешила уйти прочь.

Увидев ее смущение, приятели осмелели и окончательно распоясались.

По улице в это время шла одна молоденькая девушка. Как выяснилось в дальнейшем, это была Лиза В., молодой инженер, отдыхающая в санатории. Она только что проводила свою подругу в соседний дом отдыха и теперь возвра-

щалась домой.

Увидев ее, приятели развеселились. И один из них крикнул ей то, что он крикнул первой женщине.

Это было в высшей степени безобразно и оскорбительно — слушать то, что он кричал.

Девушка вздрогнула и остановилась. Потом медленно подошла к ним и спросила:

— Кто из вас двоих это сказал?

Один из франтов, не вынимая изо рта папиросу, нагло ответил:

— Я это сказал. И могу тебе, милочка, повторить, если ты сюда подошла.

Девушка, размахнувшись, с силой ударила по лицу пижона так, что он закачался и еле мог устоять на ногах.

Приятели обалдели. И побитый стал прочищать свои глаза, засыпанные пеплом и искрами от его смятой папиросы.

Девушка, вытерев свою руку носовым платком, пошла своей дорогой.

Минута обалдения прошла, и приятели с ревом бросились за уходящей девушкой, с тем чтобы ее, вероятно, избить или проучить за слишком смелый поступок.

Они догнали ее на шоссе и стали хватать за

руки.

И тут неизвестно, что было бы, если б в это время по шоссе не проходил местный аптекарь А.

Он только что закрыл магазин и теперь направлялся к дому.

Увидев, что два подвыпивших парня напали на женщину, благородный аптекарь бросился к месту происшествия. И там стал разнимать их. При этом стыдил и усовещивал приятелей, говоря, что не дело двум таким здоровым коблам так низко и по-хулигански вести себя.

Оставив свою жертву, приятели стали пикироваться с аптекарем. Пикировка была с бранью и криками. И аптекарь сказал девушке, чтоб она шла домой и что он тут один разберется в происшествии.

Девушка пошла по шоссе к дому. Но в это время один из приятелей, рассердившись на заступничество аптекаря, ударил его так, что тот упал.

Девушка снова поспешила к месту схватки.

Пьяницы, увидев, что она приближается к ним, почему-то задрожали. И, оставив аптекаря на земле, быстро удалились.

Девушка подошла к аптекарю и сказала:

— Как жаль, что я ушла. При мне они бы, вероятно, не посмели вас ударить.

Аптекарь ей сказал:

— Я рад, что вы ушли, а то бы они и вас ударили.

— Сомневаюсь, — ответила девушка. — Вдвоем мы бы их скрутили и доставили бы в милицию.

Девушка помогла подняться аптекарю и проводила его до аптеки. Они открыли ее и нашли там нужные медикаменты от ушибов и телесных повреждений.

На другой день аптекарь рассказал мне о том, что с ним было.

И я попросил его познакомить меня с этой девушкой, с тем чтобы выяснить, кто она такая и не будет ли она иметь претензию, если я напишу об этом происшествии в журнал.

И когда мы с аптекарем шли к этой девушке, я думал, что вот сейчас мы увидим рослую, цветущую богатыршу, не побоявшуюся выступить против двух мужчин.

Каково же было мое удивление, когда я увидел невысокую блондинку, очень милую и скромную. От нее веяло здоровьем и силой. Но вместе с тем она была удивительно женственна и казалась даже хрупкой.

Не скрывая своего удивления, я спросил ее, кто она такая. И девушка ответила, что она инже-

нер-теплотехник. Она в этом году окончила вуз и теперь здесь отдыхает, прежде чем приступить к работе.

Я спросил:

— Вы физкультурница?

Она, улыбнувшись, ответила:

— Немного. Как все у нас в институте.

Я сказал:

— Это здорово, что вы проучили хулигана.

Она ответила:

— Конечно, я понимаю, это нехорошо — бить человека. Но у меня не было другого выхода. Его поступок был настолько несоветский, что я не могла сдержать себя. Я его била как врага советской власти, а не как мужчину.

Я снова стал говорить девушке об ее мужестве, но она, кушая яблоко, протянула мне другое и сказала:

— Ну, что об этом говорить. Вот, кушайте.

И я стал есть яблоко, глядя на девушку. И где-то у меня в воображении окончательно таял образ интеллигента из старого мира, в очках, калошах и с зонтиком.

И, глядя на девушку, я подумал: «Как это хорошо и как замечательно, что у нас такая интеллигенция. И как хорошо, что здоровье и сила не

расходятся с разумом и сознанием».

С Новым годом

Позвольте поздравить вас с Новым годом, уважаемые граждане.

Желаем вам, так сказать, всяких благ. Чувствительно благодарим вас за те пожелания, которые вы мысленно произносите по нашему адресу.

И позвольте по случаю Нового года рассказать вам одну поучительную историю.

Не без задней мысли мы приберегли эту историйку для Нового года.

Желание предостеречь уважаемых граждан от подобных происшествий в наступающем году — вот что движет нас в нашем намерении рассказать под Новый год об этом факте.

Короче говоря, в одном учреждении неожиданно появился новый директор.

Прежний руководитель поехал в отпуск. Потом где-то что-то задержался по своим делам.

Конечно, в учреждении начались пересуды: дескать, где же это он, дескать, не перебросили ли его на другую, более низкую должность, или вообще что с ним.

И вот появляется в этом учреждении новый руководитель.

И тогда происходит общее собрание, на котором публика высказывает свои мысли, чувства и пожелания.

И один из служащих выходит на эстраду и тоже о чем-то говорит: высказывается и выражает надежды.

И в пылу своей речи он бросает упрек прежнему руководству, что вот, дескать, неважно работали, не сумели, запороли дело.

При этих своих словах оратор впивается глазами в лицо нового директора, желая прочитать, не зашился ли он, что так сказал, не навел ли тень на плетень.

Но он видит, что директор утвердительно кивает ему головой, как бы говоря: правильно, молодец, сообразил, как надо сказать, не то что там другие пороли чушь.

Увидя такое благословение начальника, ретивый оратор стал еще более углублять и развивать свою мысль.

Вот он развивает эту свою мысль и видит, что директор то и дело кивает ему головой, как бы говоря: молодец, собака, правильно загибаешь.

И, увидя такие многозначительные знаки, наш оратор совершенно, как говорится, сомлел от гордости и понесся на крыльях своей фантазии

в заоблачные дали, говоря, что таких людей, как прежний директор, надо не только в три шеи гнать, но надо сажать в тюрьму и так далее.

Тут выходят на эстраду еще два оратора и, глядя на директора, который грустно и утвердительно кивает головой, еще более прибавляют пару, говоря, что только новое руководство способно извлечь учреждение из того болота, в какое завел прежний начальник.

И тогда поднимается на эстраду сам директор и выражает свое возмущение по поводу речей трех предыдущих ораторов. Он говорит, что, напротив того, прежний директор был на большой высоте, что именно он вывел учреждение на столбовую дорогу и что в настоящее время он имеет еще более трудную и более высокую должность. И он с делом справляется с не меньшим успехом.

И тогда все с великим изумлением смотрят на директора. И все видят, что он то и дело кивает головой. И тут все начинают понимать, что у нового директора имеется нечто вроде нервного тика.

Причем если он спокоен, то он подергивает головой редко, а чем больше он нервничает, тем чаще кивает головой.

Находящийся в зале доктор этого учреждения тихо дает свои научные разъяснения соседям.

Соседи передают диагноз врача окружающим, и вскоре весь зал понимает, что произошло.

Три предыдущих оратора с тоской взирают на директора.

Один из них пытается произнести речь с места, крича, что его не так поняли.

Но директор закрывает собрание.

Ночное происшествие

Давеча иду ночью по улице. Возвращаюсь от знакомых.

Улица пустынная. Душно. Где-то гремит гром.

Иду по улице. Кепочку снял. Ночные зефиры обвевают мою голову.

Не знаю, как вы, уважаемые граждане, а я люблю ночью пошляться по улицам. Очень как-то свободно ходить. Можно размахивать руками. Никто тебя не толкнет. Как-то можно беззаботно идти.

В общем, иду по улице и вдруг слышу какой-то стон. Стон не стон, а какой-то приглушенный крик или голос.

Смотрю по сторонам — нет никого.

Прислушиваюсь — снова какой-то стон раздается.

И вдруг все равно как из-под земли слышу слова: «Родимый, родимый!..»

Что за чепуха в решете.

Смотрю на окна. «Может, — думаю, — разыгралась какая-нибудь домашняя сценка? Мало ли! Может, выпивший муж напал на жену или, наоборот, та его приканчивает?..»

Смотрю все этажи — нет, ничего не видно.

Вдруг слышу: кто-то по стеклу пальцами тренькает.

Гляжу: магазин. И между двух дверей этого магазина сидит на венском стуле престарелый мужчина. Он, видать, сторож. Караулит магазин.

Подхожу ближе. Спрашиваю:

— Что тебе, батя?

Сторож глухим голосом говорит:

— Родимый, сколько часов?

— Четыре, — говорю.

— Ох, — говорит, — еще два часа сидеть... Не нацедишь ли, — говорит, — мне водички? Отверни крантик у подвала и нацеди в кружечку. А то испить охота. Душно!

Тут он через разбитое верхнее стекло подает мне кружку. И я исполняю его просьбу. Потом спрашиваю:

— А ты что, больной, не можешь сам нацедить?

Сторож говорит:

— Да я бы и рад нацедить. Немножко бы прошел, промялся. Да выйти отсель не могу: я же закрыт со стороны улицы.

— Кто же тебя закрыл? — спрашиваю. — Ты же сторож. Зачем же тебя закрывать?

Сторож говорит:

— Не знаю. Меня завсегда закрывают. Пугаются, что отойду от магазина и где-нибудь прикорну, а вор тем временем магазин обчистит. А если я сижу между дверей, то, хоть я и засну, вор меня не минует. Он наткнется на меня, а я крик подыму. У нас такое правило: всю ночь сидеть между дверей.

Я говорю:

— Дурацкое правило. Обидно же сидеть за закрытой дверью.

Сторож говорит:

— Я обиды не строю. И мне самому вполне удобно, что меня от воров закрывают. Я их как огня боюсь. А когда я от них закрыт, у меня и боязни нету. Тогда я спокоен.

— В таком случае, — говорю, — ты, папаша, походил бы по магазину, размял бы свои ноги. А то, как чучело, сидишь на стуле всю ночь. Противно глядеть.

Он говорит:

— Что ты, родимый! Разве я могу в магазин войти? Я бы и рад туда войти, да та дверь в магазин на два замка закрыта, чтоб я туда не вошел.

— Значит, — говорю, — ты, папаша, сидишь и караулишь между двух закрытых дверей?

Сторож говорит:

— Именно так и есть… А что ты ко мне пристаешь, я не понимаю. Налил мне водички и иди себе с богом. Только мне спать мешаешь. Трещишь как сорока.

Тут сторож допил свою воду, вытер рот рукавом и закрыл глаза, желая этим показать, что аудиенция закончена.

Я побрел дальше. И не без любопытства поглядывал теперь на двери других магазинов. Однако ночных сторожей, подобных этому, я не увидел.

Домой я пришел поздно. Долго ворочался в постели. Не мог заснуть. Все время думал: нельзя ли изобрести какой-нибудь электрический прибор, чтоб он затрещал, если кто-нибудь сунется в магазин? А то пихать между двух закрытых дверей живого человека как-то досадно и огорчительно. Все-таки человек — это венец создания. И совать его в щель на роль капкана как-то странно.

Потом я подумал, что, вероятно, такие электрические приборы уже изобретены. Скажем, наступишь ногой на порог — и вдруг гром и треск раздаются. Но, вероятно, это еще не освоено, а может, и дорого стоит, или еще что-нибудь — какие-нибудь технические сложности, раз нанимают для этого живую силу.

Потом мои мысли спутались, и я заснул. И увидел сон, будто ко мне приходит этот ночной сторож и ударяет меня кружкой по плечу. И при этом говорит: «Ну что ты к сторожам пристаешь! Живем тихо, мирно. Караулим. А ты лезешь со своей амбицией. Портишь нашу карьеру».

Потом этот сон сменился другим, каким-то легкомысленным, с танцами и пением.

И утром я проснулся в довольно хорошем настроении.

Опасный поворот

Конечно, мухи приносят огромный вред человечеству.

Мухи мешают спать, мешают работать, портят продукты питания и распространяют заразные болезни.

Столь грозная опасность со стороны мух должна, казалось бы, подтолкнуть науку на борьбу с этим злом. Тем не менее научная мысль почему-то не пошла дальше липкой бумаги и мушиной отравы.

Нет, нельзя сказать, что научная мысль совсем уж дремлет в этой области. Не далее как в прошлом месяце в Госсанинспекции возникла дельная мысль в связи с мухами. Возникла хорошая и правильная мысль — уничтожить мух, которые остались еще в живых и сейчас летают в теплых помещениях. Это давало надежду, что летом совсем не будет мух или их будет мало.

Полученное это указание нашло отклик в сердцах сотрудников санинспекции.

Госсанинспектор Октябрьского района в своем обращении к директору Октябрьторгина так и пишет:

«Предлагается вам принять все меры для полного уничтожения мух до последней любыми разрешенными средствами, вплоть до механического уничтожения отдельных летающих экземпляров мух… Учитывая, что единичные оставшиеся живыми мухи летом могут явиться источником размножения многомиллионного потомства, необходимо отнестись с полной серьезностью к выполнению настоящего задания. Срок для выполнения настоящего требования установлен до 25 января 41 года».

Распоряжение правильное. Ничего против не скажешь. Стиль немного комичный, но он не затемняет дельную и толковую мысль — уничтожить мух в кратчайший десятидневный срок.

Но одно дело — мысль, а другое дело — осуществление этой мысли. Обычно находится человек, который начинает поворачивать любую хорошую мысль на свой прискорбный лад.

Так и тут. Начали расшифровывать постановление. Сразу почему-то решили штрафовать за каждую муху. Пришли к мысли, что надо брать по рублю за каждый «отдельно летающий экземпляр». Возникли прения, в процессе которых выяснилось, что эта цена за муху — мелкая, снижающая масштабы начатой кампании против

мух.

Решили штрафовать по десять рублей за штуку.

Человек прыгает с трамвая — и то платит пять рублей, рискуя потерять за эти деньги свою, можно сказать, драгоценную жизнь. А тут за какую-то паскудную муху в два раза дороже. Неестественно. Обидно.

Тем не менее решили удержаться на этом высоком уровне.

И вот наступило роковое число, после которого мухи должны были прекратить свое жалкое существование.

Началось энергичное обследование кухонь и столовых.

Санинспектора с хлопушками в руках обходили вверенные им учреждения и щелкали зазевавшихся мух.

Начали штрафовать даже с превышением против установленной таксы. Например, директора столовой № 42, у которого нашли пару мух, оштрафовали почему-то на двадцать пять рублей.

Под штраф попало еще несколько директоров. Некоторые из них уплатили солидные суммы. Остальные директора отделались испугом.

Кому-то вдруг пришла светлая мысль — не

только штрафовать, но и поощрять людей. Тот же самый санинспектор Октябрьского района предложил директору столовой № 6 организовать ловлю мух, платя любителям по десять копеек за муху.

Не знаю, нашлись ли любители ловить мух по такой цене. Но если нашлись, то они, вероятно, затаили в душе досаду на санинспектора за слишком низкие расценки. И действительно. Сам берет по десять целковых, а как платить — так гривенник.

В общем, мы пишем наш фельетон в разгар мушиных событий и поэтому не знаем еще, до чего дошла в этом деле человеческая мысль. Нет, мы не думаем, что штрафы прекратились и что мухи снова торжествуют. Скорей всего, нашлись еще какие-нибудь подступы и заходы во фланг и в тыл к мухам.

По-моему, эти санинспектора все-таки могут довертеть до того, что мухи возьмут и действительно прекратят свое существование. Начиная с потопа, мухи жили, и ничего особенного с ними не происходило.

Но не тут-то было. По десять рублей за мушиную голову — это что-нибудь да значит. Это — или мух не будет, или директора окончательно

разорятся.

В самом деле — надо снизить расценки на мух. Нельзя по десять рублей брать за штуку. Это уже абсурд получается. Тем более абсурд, что мухи крайне живучи и увертливы. За тысячи лет они прошли огонь, воду и медные трубы. Они нет-нет да и подведут человека под штраф благодаря своему стойкому существованию.

Более того — надежды на то, что мухи летом не возникнут или возникнут в малом количестве, если истребить летающих зимних мух, эти надежды, увы, неосновательны. Это есть мечты.

Я не считаю себя специалистом по мухам, но я краем уха слышал, что зимние мухи, лениво летающие в теплых помещениях, не таят в себе единственной опасности в смысле продолжения мушиного рода.

«Многомиллионное потомство» возникает не только от них, но и от тех молодых мушек, которые зимой находятся в состоянии личинок или, кажется, куколок.

В этом смысле природа более остроумна, чем можно предполагать. Природа предусмотрела все возможные происки санинспекции на этом мушином фронте.

Увы, летом все-таки мухи будут! Мушиный род

еще не угаснет, даже если санинспекция доконает-таки этих полудохлых зимних одров.

Конечно, может, мы не научно подходим к данному вопросу. Может, в этом деле существуют еще какие-нибудь тонкости. Но эти тонкости надлежит знать санинспектору в первую очередь, а уж нам — во вторую.

Что касается зимних мух, то истреблять их, конечно, можно и должно. Мысль светлая и дельная, что и говорить.

Истреблять их нужно, как сказано в отношении, «любыми разрешенными средствами, вплоть до механического уничтожения».

Но средство, на которое пошла районная санинспекция, — это уже не разрешенное средство, хотя и «механическое».

Короче говоря, нельзя брать по десять рублей за муху. Это уже опасный поворот в мыслях санинспектора.

Однажды ночью

Это истинное происшествие случилось, к сожалению, в Москве.

Два сотрудника эвакопункта были посланы за душевнобольным гражданином Корчагиным.

Они приехали в машине скорой помощи. Причем приехали ночью, даже под утро.

На лестнице было темно. И они по ошибке позвонили не в ту квартиру, какая им была нужна.

Дверь открыл некто гражданин П.

Конечно, вид у него был неавантажный. Ну естественно, человека подняли ночью с постели. Он был полуодет. Должно быть, в кальсонах, босиком. Волосы, вероятно, были взлохмачены.

Так или иначе, сотрудники, увидев гражданина П., сосчитали, что это и есть именно тот, за которым они приехали.

А тот, конечно, спросонок недоволен поздним визитом. Переминается с ноги на ногу, потому что дует.

Говорит:

— Никакого Корчагина тут нет. Что вы шляетесь по ночам! Будите людей. Сдираете их с постели.

Услышав эти речи, сотрудники окончательно убедились в том, что это душевнобольной.

Настроенные соответствующим образом, они ринулись к нему и стали хватать его за руки и за что попало.

Произошла короткая неравная борьба, в ходе которой несчастному крутили руки, пытаясь умерить его сопротивление.

П. поднял крик, полагая, что на него напали бандиты.

Этот крик не смутил верных работников психиатрии. Они схватили П. за горло и сжали так, что пронзительные крики вскоре прекратились.

П. стал хрипеть, мысленно прощаясь с жизнью.

Торжествуя победу, сотрудники повалили П. на пол и стали выволакивать его на лестницу.

Несчастный упирался, пытаясь с помощью рук и ног задержаться в дверях. Но это еще в большей степени вдохновило сотрудников на операцию по изъятию душевнобольного.

Между тем крики и вопли взбудоражили соседей.

Прибежали жильцы и увидели сцену, которая не оставляла никаких сомнений в том, что это бандитский налет.

Жильцы стали отбивать П. у сотрудников. И те под давлением превосходящих сил противника оставили свою жертву.

Мы не знаем, как долго длилась эта борьба и что при этом думали сотрудники, у которых отбивали их «пациента». Надо полагать, что они защищали его. Но потом сдались на милость победителя.

В общем, дело понемножку стало разъясняться. И теперь все стояли вокруг пострадавшего, у которого прекратился дар речи и от волнения, и главным образом оттого, что сотрудники повредили ему горло.

Жильцы сказали сотрудникам:

— В конце концов, это возмутительно! Мы квалифицируем ваш поступок как бандитизм.

Сотрудники сконфуженно разводили руками и не смогли что-либо ответить в свое оправдание.

Теперь жильцы, очевидцы этого дела, прислали нам письмо с просьбой привлечь к ответственности сотрудников эвакопункта — фельдшера и надзирателя.

Мы считаем это требование вполне законным, ибо в этом деле мы видим не только недоразумение.

Как выяснили врачи, у пострадавшего П.

повреждены голосовые связки и обнаружено кровоизлияние в слизистой оболочке горла.

Стало быть, сотрудники душили П. по всем правилам науки и с полным знанием дела. А это показывает, что сотрудники не раз и не два прибегали к подобному методу.

Нечто старинное и даже традиционное мы видим в этом отношении к душевнобольному. Пора окончательно расстаться с этой дикой традицией. И за это следует покарать.

Гражданину П. шлем привет и пожелание скорейшего выздоровления.

Хороший день

Примите, дорогой читатель, мое поздравление с наступающим Новым годом.

Пусть в этом году исполнятся ваши лучшие желания. Не сомневаюсь, что они направлены на разгром врага, на разгром фашистских захватчиков.

Пусть новый год будет годом расчета за их подлые, варварские преступления.

Что касается личных дел, то и в личных делах, читатель, я пожелаю вам всего, так сказать, наилучшего.

Не знаю, как вы, читатель, но лично я не запрашиваю у судьбы слишком многого. Я привык желать то, что в пределах возможного.

Среди дней наступающего Нового года я бы хотел иметь один такой день, который живо мне рисуется в моем воображении.

Будто я иду по улице. В руках у меня чемодан. Допустим, я только что приехал. И вот иду с вокзала. Навстречу спешат прохожие.

На остановке сажусь в трамвай.

С милой улыбкой кондукторша помогает мне войти в вагон. Она поддерживает меня под

локоть, чтоб я со своим чемоданом не поскользнулся на ступеньках.

Один из пассажиров, устанавливая мой чемодан в углу площадки, говорит:

— Вот теперь, папаша, поезжайте хоть на край света.

Кто-то из сидящих в вагоне машет мне рукой, кричит:

— Пройдите в вагон, дорогой папаша. Тут найдется для вас местечко. Потеснимся…

Обращаюсь к пассажирам, стоящим на площадке:

— Не откажите в любезности поглядеть за моим багажом.

Пассажиры говорят:

— Сосчитаем своей прямой обязанностью. Идите со спокойной душой. Не споткнитесь в дверях на своих полусогнутых.

Вхожу в вагон. Подросток лет четырнадцати встает со своего «детского места» и приятным баском говорит мне:

— Чем теснить остальных уважаемых пассажиров, садитесь лучше на мое место.

— Чудесный ребенок! — восклицаю я, растроганный. — А как же ты будешь затруднять свои неокрепшие детские ножки?

Кто-то из пассажиров говорит:

— Ноги этого подростка способны простоять сто км и больше. Садитесь, уважаемый, без лишней философии по вопросам детского возраста.

Подросток говорит:

— К тому же мне надоело сидеть. И помимо того, я сейчас схожу.

И вот я сажусь на его место. И в чудесном настроении еду и еду. И где-то гремит музыка…

Это немного, уважаемый читатель. Не правда ли?

Даже не надо мне места в трамвае. Любезный голос пассажиров мне приятней, чем многая другая музыка на свете.

С наступающим Новым годом, читатель.

Внимание – люди!

Примерно за год до войны произошло нижеследующее происшествие. На одной из ленинградских улиц машина сбила прохожего. Он упал и остался лежать возле панели. Машина ушла.

Некоторое время спустя прохожие, увидев лежащего, решили, что он пьян. Была суббота. Вечер. И такие легкие мысли могли, допустим, возникнуть.

Позвали милиционера. И тот отправил «пьяного» в вытрезвитель. Может быть, даже потер ему уши, чтобы привести в должный вид.

И только под утро выяснилась вся картина.

Ошибка, недоразумение. Но весьма досадная ошибка. Весьма досадное недоразумение. Ибо за этой ошибкой — невнимательное, небрежное, бездушное отношение к человеку.

Такой пример указывает, что в каждом отдельном случае надлежит подходить к человеку с особым вниманием. И надлежит поступать не по шаблону (валяется, значит — пьян), а всякий раз индивидуально.

Приведу еще один случай, опубликованный в свое время в калужской газете.

Колхозница Р. получила из больницы извещение о смерти своего мужа. Администрация больницы просила ее приехать за умершим.

Р. приехала в больницу. Но там ей показалось, что умерший не похож на ее мужа. Свои сомнения она высказала администрации. Но старшая медицинская сестра сказала: «Науке вполне известны такие факты, когда человек после своей смерти слишком меняется и делается непохожим на себя. Бывает даже, что он становится меньше ростом, что вы наглядно и видите на данном примере».

Поплакав, Р. положила в сани тело мужа и вернулась в свое село. Однако дома ее сомнения усилились.

Р. вернулась в больницу. Во время объяснения со старшей сестрой Р. увидела в окне своего мужа. Он, живехонький, сидел на койке и глядел во двор.

В общем, дело разъяснилось. Оказалось, недоразумение. Умер сосед по койке, а в канцелярии случайно отметили факт смерти не в том листке.

Мы снова видим ошибку, недоразумение, оплошность. Причем ошибку в таком деле, в каком не должно быть ошибок. Это же не шутка, не пустяк — отметить, что человек умер, в то время,

когда он жив. Этот пример показывает, что надо семь раз проверить, прежде чем начертать ответственные слова, относящиеся к человеку.

Следует сказать, что по сие время иной раз встречается такая небрежность, невнимательность, легкость в мыслях в тех делах, в которых требуется сугубая точность.

Общий отдел Красногвардейского исполкома в Ленинграде сообщает бойцу в ответ на его запрос о судьбе семьи: «Ваша жена и сестра умерли в 1942 году». Оказалось, что сестра жива. Она была эвакуирована из Ленинграда.

Красноармеец Иванов просил сообщить ему, где находится его мать. Отдел отвечает: «Мать умерла, а вещи все раскрадены».

Иванов не запрашивал о вещах. Тем не менее отвечающий счел своей обязанностью помянуть и такую деликатную деталь, отметив при этом, что вещи не пропали, а именно раскрадены. Быть может, он хотел внести успокоение, хотел, чтобы Иванов перестал тревожиться о вещах, поскольку их уже нет.

Дальнейшее показало, что мать Иванова жива и вещи целы.

Можно себе представить, какую печаль испытал товарищ Иванов, получив первое изве-

щение!

Ответы следует тщательно проверять. И писать их следует культурной, грамотной рукой. Не годится, например, что военнослужащий Скворцов получил такой ответ на свой запрос о семье: «По указанному адресу дом сломан».

Ошибочные, небрежные, неточные, легкомысленные ответы говорят прежде всего о непродуманном, невнимательном отношении к человеку.

И такого рода примеры тем более досадны, что рядом с ними мы все чаще и чаще видим примеры внимания, заботы, предупредительности, которая волнует и глубоко радует.

Перед нами письма, адресованные ленинградской городской милиции. Они написаны в знак благодарности за бережное и трогательное отношение к детям.

Надо сказать, что ленинградская милиция сделала в этом отношении немалое дело. В тяжелый период 1941–1943 годов милиция подбирала на улицах ребят, кормила их, заботилась о них. Более трех тысяч детей возвращено родителям.

При милиции был организован специальный детский адресный стол, на учете которого состоят тридцать две тысячи ребят.

Со всех концов Союза идут письма в адрес этого стола. Один из бойцов пишет:

«От всей души приношу благодарность за проявление внимания… Если бы вы знали, как это помогает бить фашистов».

Нет сомнения, чуткое отношение к людям вливает в них силу, энергию, радость. И они, в свою очередь, становятся внимательны и проявляют заботу и бережное отношение к окружающим.